ВМБ

Н. А. КРИВОШЕИНА

YMCA PRESS

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Н. А. КРИВОШЕИНА

ЧЕТЫРЕ ТРЕТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

YMCA-PRESS



ОСНОВАНА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

СЕРИЯ

НАШЕ НЕДАВНЕЕ

2

YMCA-PRESS

11, Rue de la Montagne-Ste-Geneviève – 75005 - Paris

Н. А. КРИВОШЕИНА

ЧЕТЫРЕ ТРЕТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

1984

I.S.B.N. 2-85065-038-2



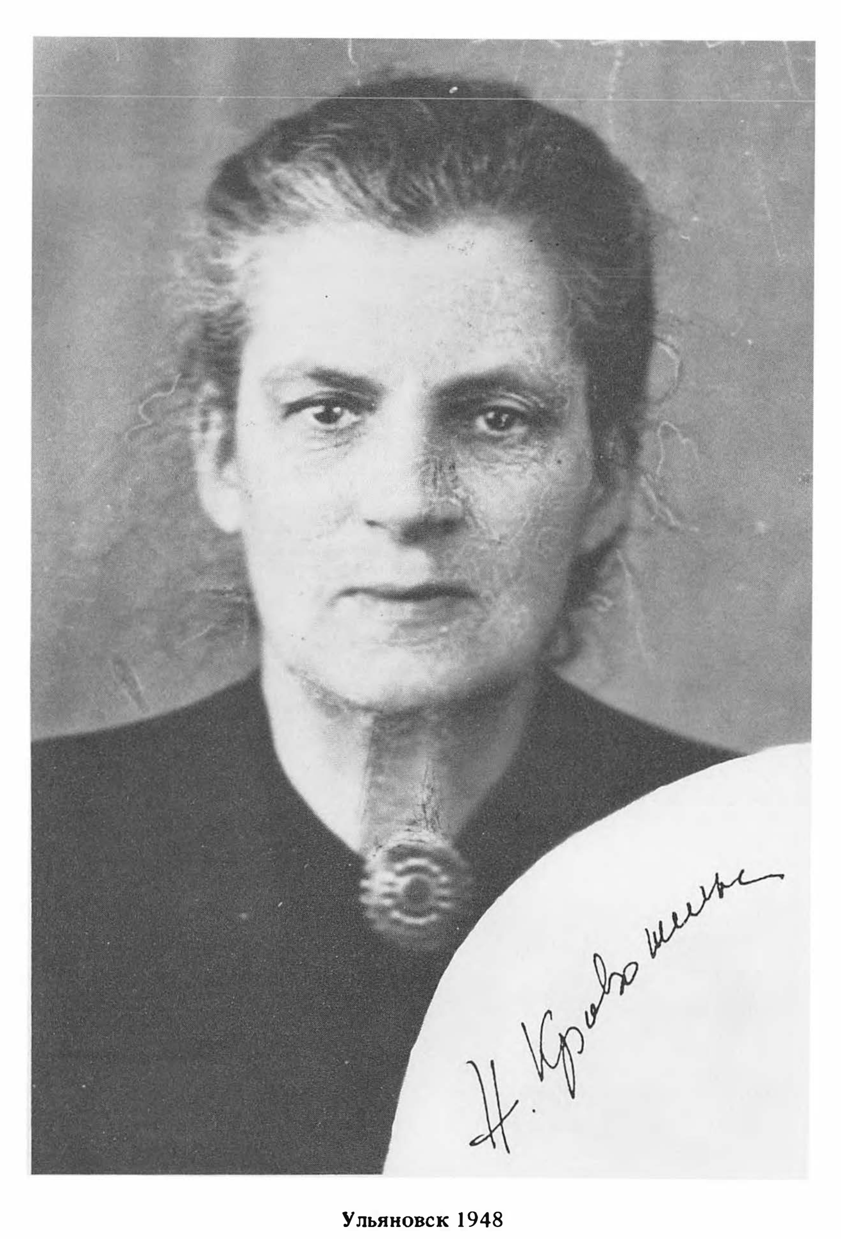
Алексей Павлович Мещерский
(1867-1938)



Нина и Наталья Мещерские
(Петербург 1914)



И.А. Кривошеин, штабс-капитан
коннойартиллерии (Крым 1920)



Ульяновск 1948

ОТ АВТОРА

Я родилась в век Ньютона, а уж давно перешла в век Эйнштейна. Блестящие паровозы моей юности, которые с такой элегантностью вкатывали на *Gare Saint-Lazare* или на *Victoria Station*, столь же роскошный поезд, составленный из спальных вагонов, стоят давно в музеях Министерств Путей Сообщения. Самый красивый лайнер, перевозивший избранную публику из Гавра в Нью-Йорк – *"France"* – на днях продан керосиновому магнату из аравийских песков... за ненадобностью – никто больше так в Америку не ездит, и дорого и долго, а бесконечность атлантических волн можно без всяких затрат увидеть на экране цветного телевизора.

Зажиться? Пережить свой век...? Да и сколько, собственно, следует или прилично человеку жить ? По Библии – семьдесят лет, а восемьдесят уже много. Однако всякий живет "сколько ему положено" – удобное, обтекаемое выражение, которое и не претендует дать более точный ответ на вечный вопрос каждого: зачем умирать, зачем смерть ?

Из ряда таких же вопросов ставится мне и иной : зачем писать воспоминания, или "мемуары" – дневник жизни? В общем – незачем. В каком-то возрасте люди нормально вспоминают : как было в детстве ? Каково было учиться, читать первые книги ? Неужели же я могла еще лет тридцать назад с наслаждением совершать прогулки по 20-25 километров и на следующее утро ощущать лишь легкую усталость ? Ну, и так далее... Выходит, в общем, что писать про свою жизнь – просто нормальная потребность для пожилого человека; *Voyage autour de ma chambre*, а тут – *Voyage autour de ma vie*. Есть ли при этом тайная надежда, что когда-то кто-то да и прочтет и... "весь ты не умрешь", и этот не родившийся еще кто-то на минуты чтения вдруг воскресит твою жизнь! Меня много, много раз просили друзья в Москве, когда я им рассказывала некоторые события из моей жизни – обязательно их запечатлеть и, если не письменно (что в Москве в сталинские, хрущевские и брежневские годы весьма мало рекомендовалось), то хотя бы наговорить на пленку. Тогда я от

этого только отбрыкивалась – наверно потому, что продолжала еще очень интенсивно жить; что же касается до того, чтобы рассказывать – я это любила, да и сейчас еще иногда схватывает такой приступ "рассказывания", но много реже...

Одним из самых пристальных слушателей моих был в моих бедованиях в Ульяновске (я от злобы и ненависти этот город всегда звала только *Oulianovsk-sur-mer)* в 1950-1954 гг. – милейший, добрейший, прелестный человек, умница, ученый "естественник" типа жюльвернского Паганеля – Александр Александрович Любищев. Ему же и вечная память, так как без него я бы, конечно, не осталась жива, и он, именно он, и вместе с ним и его жена Ольга Петровна – спасли меня от голодной или холодной смерти, от морального одиночества, граничившего с самой смертью, – открывши мне широко двери своего дома, тогда, когда я была ничем не лучше и не хуже библейского "прокаженного", и люди, встречаясь со мной, перебегали на другую сторону улицы.

«Only when one has lost all curiosity about the future has one reached the age to write an autobiography»*.

---

*) Evelyn Waugh's Autobiography: *A little Learning*, Sidwick and Jackson Ltd. London, 1973.

ВВЕДЕНИЕ

МОЙ ОТЕЦ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ МЕЩЕРСКИЙ (1867-1938)

Мои родители – и мать, и отец – оба были из обедневших и разорившихся дворянских семей.

Отец, Алексей Павлович Мещерский, родился в Смоленской губернии в имении Долгушка, которое дед, Павел Иванович Мещерский, получил за женой Верой Виссарионовной, рожденной Комаровой. О деде Павле Ивановиче знаю очень мало; был когда-то на Кирочной у нас дагерротип, и говорили : "Вот это дедушка Павел Иванович". Помню только, что на этом бледно-желтом снимке дед был уж далеко не молодой. Когда-то, верно в сороковые годы девятнадцатого века, он ушел из семьи из-за ненавистной ему мачехи; где потом жил, что, как – ничего не знаю; так же как и не знаю, почему у него не было титула, хотя казалось, что должен был быть. Было некое семейное предание, которое я слыхала от дядюшки, Александра Павловича, более других членов семьи интересовавшимся истоками семьи Мещерских. Будто при императоре Павле I пра-прадед служил в гвардии, жил в Петербурге, и завел роман с француженкой-актрисой. Она, будто, была в фаворе у императора, и он, узнав об ее измене и романе со скромным гвардейским офицером, повелел того разжаловать и сослать в Сибирь (а может и не в Сибирь, совсем не обязательно, чтобы так далеко ссылали). Когда Павел I скончался, этот предок вернулся из ссылки, женился (на французской актрисе), однако княжеский титул ему возвращен не был. Дворянство с окончанием ссылки возвращалось, но о восстановлении титула ни он, ни его сын не хлопотали – так оно и осталось. Точно такую же семейную историю я слыхала в 1916-17гг. от милейшего юного офицера 3-го стрелкового гвардейского полка Васи Мещерского. Вася появился на Кирочной у нас весной 1916 г. в числе нескольких офицеров, тоже попавших в наш дом уже в военное время. Его отец, полковник (в отставке?), был директором Гвардейского Экономического Общества, которое занимало целый большой дом недалеко от нас на углу Литейного и Кирочной. Сейчас бы попросту сказали "Кооперативное общество" или же короче,

"Кооператив"; в общем-то, это был отлично оснащенный универмаг. Там все было, и чтобы платить дешевле надо было назвать номер пая, но и без пая можно было все покупать. Мы, будучи еще гимназистками, всегда ходили туда с очередной гувернанткой покупать карандаши, тетради, акварельные краски — или же украшения для елки. Нам этот магазин очень нравился — что-то было таинственное и не вполне понятное в его названии "Экономическое общество"... Однако главный магазин Гвардейского Экономического Общества находился на Большой Конюшенной, где преобладали предметы офицерского обмундирования и обихода.

У нас, на Кирочной 22, была большая биллиардная комната, где стоял отличный светлого дерева английский биллиард, а вдоль одной стены шли высокие, светлые, со спинкой скамьи. Играли все охотно — в пятнадцать шаров, и эта комната была центром домашней вечерней жизни, так как в войну не полагалось ни танцевать, ни устраивать домашние концерты — никаких внешних проявлений веселья у нас дома не допускалось, и даже в большом зале зажигалось только одно бра и по вечерам царила полутьма. И вот как-то Вася Мещерский, нам никакой не родственник, сидя в этой биллиардной, рассказал уже знакомую мне историю про француженку-актрису, про ссылку пра-прадеда и про дальнейшую утерю княжеского титула. Он принес и показал интересную родословную Мещерских, где выходило, что три ветви сохранили титул, а три — потеряли его при Павле I.

Ключевский говорит, что все роды Мещерских произошли от хана Беклемиша (XIII век), о чем знали не только мы, но и все Беклемишевы. Когда дядюшка Александр Павлович продал в 1910 или 1911 г. любимое имение Герчики (Смоленской губ.) скульптору Беклемишеву и очень горевал, что расстается с Герчиками, Беклемишев его утешал, говоря: "Подумайте, ведь по-настоящему Герчики просто возвращаются мне, как старшему в роде!"

Когда я в 1952 г. поехала в Москву, чтобы устроить свидание с моим мужем Игорем Александровичем, который был взят МГБ в сентябре 1949 г. (в это время он уже был в "Круге Первом", в том самом, в Марфине под Москвой), я провела почти три недели у Владимира Николаевича Беклемишева, знаменитого биолога, академика, энциклопедиста в полном смысле этого слова. Когда я вошла в их квартиру на Песчаной улице, он меня приветствовал и добавил : "А вам, кстати, придется, пока вы у нас, меня во всем слушаться, — я ведь Беклемишев, и для вас старший в роде". На расстоянии стольких лет, почти дословно то же самое — от двух Беклемишевых, которые даже не были друг с другом знакомы.

Отсутствие княжеского титула при столь известной фамилии мало нас всех смущало: ведь были и Толстые, и Оболенские без титулов, был Кочубей с титулом — и без оного. Но было скучно на танцклассах, или позже на танцевальных вечерах, даже на прогулках или на катке в Таврическом Саду быть принужденной каждому

новому знакомому, будь он тенишевец, правовед, паж или студент, говорить и объяснять : "Я не княжна, вы ошибаетесь", и – на удивленное его лицо – вновь повторять : "Но, поймите, у нас титула нет!". Впрочем, никакого "комплекса", как теперь говорят, ни у меня, ни у сестры не было. Некоторых новых знакомых такое известие вполне очевидно разочаровывало: ведь старая дворянская Россия, где титул открывал многие двери, удивительно еще тогда уживалась с новой Россией, где дворянство как правящий класс уже изжило себя, и где начинало вполне четко уже жить и поживать совсем иного состава общество – с легкой руки советских учебников его принято называть "буржуазным".

Но новое общество после 1905 г. было много сложнее, и, конечно, в столь мало подходящий к России термин оно не укладывалось. "Буржуа" слово западное, естественно созданное западноевропейскими странами для себя, – у нас же очень скоро стало лишь бранной кличкой, пущенной в ход после революции : а настоящих "буржуев"-то, собственно, почти и не было.

Мой отец – один из создателей и строителей этого нового для России общества – общества инженеров, крупных строителей, ученых, шедших вместе (а не против, конечно) с новым слоем рабочих, мастеров, всякого рода и разряда купечества – крупного и помельче, всякого рода исследователей и изобретателей – да их всех не перечислить, новые силы России первых 20-ти лет этого века! И, конечно, остатки дворянства тоже внесли и свой опыт и свои традиции в эту замечательную эпоху. Теперь перехожу к семье моего отца, к его детству, к его фигуре, весьма новой тогда по стилю и примечательной.

Моя бабушка, Вера Виссарионовна Мещерская (Комарова) – одна из десяти дочерей Виссариона Саввича Комарова (еще у него было семеро сыновей). Он был женат дважды – первая жена была урожденная Богданович, вторая Доливо-Добровольская. Сам он был военный инженер, участвовал в Бородинском сражении, где был тяжело ранен, потом уволен в почетную отставку и служил начальником Белорусского почтового тракта. Семья Комаровых своим родоначальником считает некоего казанского татарина – Комаря, который после взятия Казани перешел на службу к царю Ивану Грозному, стал кравчим при царском дворе, крестился и стал называться Никита Комаров. Далее, вплоть до прадеда Виссариона Саввича, ничего про его предков мне не известно. Из его семи сыновей, которые, видимо, все были военные, пятеро дослужились до генералов и сражались на Кавказе и на Балканах. Один из них, Дмитрий Виссарионович, был боевой командир, всю жизнь прожил на Кавказе и много сделал для замирения этого края. Он женился на девице из Тифлиса (полугрузинке-полуазербайджанке), одно время был комендантом крепости Гуниб. Из его детей помню отлично

двоюродного дядю – Петра Дмитриевича Комарова, блестящего полковника Генерального Штаба, погибшего в Пруссии в августе 1914 г. Его труп нашли только через день с древком полкового знамени в руках; о его кончине тогда много писали, всюду были его портреты, даже были лубочные картины – "Геройская смерть полковника Комарова". Детьми мы его обожали, он был высокий, очень "спортивный", прекрасно играл в теннис, занимался атлетикой – с лица настоящий армянин. Был он полным атеистом, что очень нас с сестрой поражало, имел вечные громкие амурные похождения, его разговор был – искры и блеск. Но мы также знали, что он страстный игрок: когда у него бывал отпуск, он покупал себе билет в Монте-Карло, и в Петербург возвращался только после того как все начисто проиграет в рулетку. Когда мне было одиннадцать лет, он написал мне в альбом : "Нина, помни всегда, что загробный мир – это сказка для слабых душ". Моя мать была недовольна и сделала ему по этому поводу замечание. Но он от всего отшучивался; умел он жить легко, весело, считался в штабной среде "красным"; солдаты его дивизии (в Кишиневе, откуда он и пошел на войну 1914 года) боготворили его. Он относился к ним во всем иначе нежели полагалось : например, в Кишиневе, при казармах полка – устроил два теннисных корта для "нижних чинов", что было совсем уж что-то неслыханное!

Если я о нем так подробно пишу, то потому, что это одна из наиболее примечательных фигур того времени на семейном фоне. Его сестра, Ольга Дмитриевна Форш, стала потом, после революции, писательницей. В Петербурге она у нас, кажется, не бывала, и познакомилась я с ней уже в Париже, когда она приезжала на месяц с группой советских писателей в 1927 г.

Из семьи Комаровых, очень многочисленной, и с которой моя мать как-то, в общем, мало встречалась, мы еще довольно близко знали Виссариона Виссарионовича, сына Виссариона Саввича. Что он делал в юности, не знаю, помню его уже издателем газеты *Свет*. Это была газета, которую читали и любили в провинции, особенно же в среде священнической. Чем она замечательна, не скажу, но выходила самым большим тиражем в предвоенной России – больше *Нового Времени*, больше всех московских знаменитых газет! Сам Виссарион Виссарионович (женатый на дочери писателя Данилевского) был известный в те времена славянофил. В его доме бывали такие люди как Крупенский, Гишицкий – все связанные с политической жизнью в Сербии, в Чехии и т.д.

Они все были также тесно связаны с движением "Соколов" в Чехии, ездили в каких-то фантастических народных костюмах на слеты в Прагу (тогда еще в Австро-Венгрии) ; в большом доме на Старо-Невском, где во дворе помещались типография и редакция газеты *Свет*, вечно бывали всякие "братушки" – сербы, чехи, болгары. Кстати, перед войной 1914 года, каждое воскресенье приезжал в

отпуск в эту семью из Александровского корпуса – Александр Карагеоргиевич, будущий сербский король, тогда еще юноша.

Вот это те Комаровы, которых я знала более близко, особенных же сношений у моей матери с этой семьей не было. Однако в 1910 г., когда состоялся "съезд рода Комаровых", мы всей семьей на нем присутствовали, и об этом съезде стоит сказать несколько слов.

В эти годы, между 1910-1915 гг., внезапно во многих дворянских семьях вспыхнул интерес к истории и жизни своего рода – истоки, родоначальники, родство с другими через браки, наконец, гербы и геральдика. Что именно вызвало к жизни этот интерес ? Думаю, что общий расцвет всей культурной жизни, не что иное. В эти предвоенные годы состоялось несколько таких семейных съездов, например, был съезд рода Крупенских, про который мы знали, но, конечно, были и другие. Так, двоюродный брат моей матери, Владимир Владимирович Малама, напечатал в 1911 г. роскошно изданную книгу *Род Малама* – родословную роспись, семейный архив, генеалогическое древо. Эту книгу он преподнес моей матери – Вере Николаевне, урожденной Малама. К сожалению, увезти книгу из России моей матери не удалось, и она пропала на Кирочной 22, в нашем доме, – как, впрочем, и все остальное.

Теперь я узнала, что книга *Род Малама* имеется в Лондоне, в Британском Музее; другой экземпляр был у сына В.В. Малама, Федора Владимировича, проживавшего в Париже.

Съезд рода Комаровых состоялся зимой в большом зале в Петропавловской крепости, комендантом которой был один из дядей моего отца, Константин Виссарионович Комаров. Он был уже очень стар, в плохую погоду у него открывались старые раны на ноге, полученные им еще чуть ли не в Турецкую войну, – но голова была светлая. Торжественный ужин, на котором присутствовало человек 120-150, был накрыт в большом зале; стол для старшего поколения был полукруглой формы, близко от стены, и там все сидели только с одной стороны стола, лицом к залу и к другим нескольким столам; мы с сестрой сидели за столом третьего поколения; помню с нами двух дочерей Петра Дмитриевича – Нину и Лялю, двух девочек Соваж – все четыре были смолянки; был кто-то из младших детей Виссариона Виссарионовича, наверно младший сын Костя (впоследствии офицер Семеновского Полка; близкий друг Тухачевского – их связывала любовь к музыке, они часто играли вместе в домашней обстановке в 20-30 гг. В 1937 г. Костя Комаров был схвачен НКВД и вскоре расстрелян. Тухачевский, когда к нему прибежала за помощью жена Кости, отказался ее принять). Кто еще ? Не всех помню, да и не всех знала. Помню, рядом со мной сидел Павлик Мещерский, старший сын дядюшки Александра Павловича. В центре большого стола сидел К.В. Комаров в военном мундире, рядом с ним его сестра, последняя из десяти дочерей Виссариона Саввича. Фамилии ее не помню, знаю, что она жила во вдовьем доме в Смольном.

Во время этого банкета было произнесено несколько речей, по случаю и на тему; я запомнила только прекрасную речь Петра Дмитриевича, а также речь молодой барышни, лет 22-23-х, курсистки Екатерины Лопатиной; она, кстати, сидела за "взрослым" столом, среди Комаровых первого и второго поколения; сама была чрезвычайно красива – с очаровательной улыбкой и, главное, с чудным бархатным голосом. Ее выступление, видимо, было экспромтом; она от 3-го поколения Комаровых, где многие носили уж совсем иные фамилии, как и она сама, благодарила всех тех старших родственников и всех давно живших и ушедших, за доброе, славное имя, которое они создали нашему роду, за их многообразную работу на самых различных поприщах и обещала от имени молодого поколения продолжать многовековую традицию верности и служения. Все были в восторге от ее краткой и пламенной речи, от чудесного русского языка. Больше я потом никогда ее не видела, и ничего о ее судьбе в послевоенные годы не знаю.

* * *

Мой отец был младшим из четырех детей Павла Ивановича Мещерского; родился, как я уже сказала раньше, в имении Долгушка Смоленской губернии и прожил там первые десять лет своей жизни, примерно до 1877 г.

Жизнь в Долгушке шла все еще по старинке, дворовые люди были те же, что и до 1861 г. Темп жизни, образ жизни были еще почти дореформенными. Знаю, что дом был очень уютный, приятный, довольно обширный, деревянный; наверху, как полагается, находился большой мезонин, заваленный и заставленный; там было много интересного, и мой отец мальчиком любил туда ходить играть; он вспоминал о том, что там валялись всякие грамоты с печатями и гербами, старые портреты – никто этим всем добром не интересовался. Павел Иванович сам вел хозяйство, как будто с известным успехом, но был в эти годы уже немолод и малоподвижен. Сколько было земли – не знаю, но жили неплохо. Километра за два вниз было расположено еврейское местечко; мой отец часто ходил туда в гости к цадику – все его там очень любили, звали "наш Алешка". Цадик угощал мальчика рюмочкой пейсаховки и рассказывал всякие интересные штуковины из Каббалы, учил числам и их значению, и это от него мой отец считал всю жизнь самым "счастливым" для себя числом – 18, потому что это значило "полная жизнь", не плохо было и 9 – это было "полжизни", а вот хуже 17 не могло быть – оно означало просто "нет жизни"! Мой отец никогда не был суеверным, хотя бы уж потому, что был по-настоящему верующий человек, но эти числа остались ему навсегда : он быстро складывал сумму цифр на номере такси и, если оказывалость, что 17 – ни за что в это такси не садился. Также никакое важное дело, по возможности, 17 числа не начинал.

Когда отцу исполнилось семь лет, его родители были уже оба больны, занималась им старшая сестра Елизавета Петровна, и, в общем, он жил свободно и почти без всякой узды, но отца своего очень любил и почитал. Недалеко от Долгушки начинался лес на много верст, а за этим лесом стоял большой мужской монастырь; вот туда мой отец еще совсем мальчиком любил ходить в гости к настоятелю. Он брал с собой немного еды и летом, один, уходил по дремучему лесу, по тропинкам в этот монастырь, а ходу туда было верст сорок. Шел он почти сутки, и говорил мне, что страха у него никакого никогда не было, и он иногда даже спал в лесу. Придя в монастырь, шел к настоятелю, который его очень любил, сиживал у него долго, гулял вокруг монастыря с монахами, шел с ними в поле, в церковь, на службы и, пожив так недельку, мирно и без какого-либо сомнения шел домой; но дома тоже никому в голову не приходило о нем волноваться – ведь он ходил "на богомолье", и ничего и быть не могло. Надо думать, что злого хулиганья тогда еще в деревне почти не было, жизнь шла по давно заведенному православному календарю, все знали неписанный устав жизни; никому и в голову не пришло бы обидеть или просто напугать мальчика, шедшего одиноко по лесу в далекий монастырь, да еще к тому же помещичьего сына.

Осенью, когда кончалась уборка урожая, был в имении большой праздник, и все мужики, приодевшись, приходили и ждали выхода хозяина; когда же Павел Иванович уж больше почти не выходил, а старшего его сына Саши не было дома, то выходил ко всем отец; староста ставил его на опрокинутую бочку, и он раздавал крестьянам деньги, которые ему передавал староста. Потом выносили вино, всем наливались кружки, и моему отцу староста подавал тоже хорошую стопку водки. Он поднимал эту стопку, что-то им говорил всем, что тогда полагалось, и все пили, и он – с ними. Вообще же в жизни мой отец кроме "французского" красного вина никогда ничего не пил, да и то один-два стакана; чтобы он выпил хоть рюмку водки –этого не бывало.

Когда родители моего отца скончались, его старший брат Александр Павлович, который был лет на 12 старше его, стал его опекуном и отдал его в военный корпус в Москве, и мальчик жил в Дворянском пансионе. Я часто спрашивала отца о жизни в этом пансионе; об этом житье он сохранил хорошие воспоминания. Заведовали хозяйством в пансионе, а также и воспитанием учеников муж и жена, он был русский, она француженка. Уклад жизни был семейный, воспитанники не чувствовали себя одинокими или несчастными; одно, с чем они не могли примириться, это супы, которыми их кормила французская директриса : супы были чисто овощные, протертые и... без мяса. Мальчикам с волчьим аппетитом казалось, что французская Madame на них экономит и не дает им обычного борща с жирком и добрым куском говядины!

Что было с отцом в летние месяцы ? Очевидно, что он ездил домой в Долгушку, пока там в одну ночь и в течение получаса не сгорел милый старый дом. В каком году был этот пожар, не знаю, знаю только, что горело ночью, и с трудом удалось всем спастись, даже выбрасываясь из окон... Все семейное добро, все семейные реликвии на чердаке тоже, конечно, безвозвратно погибли. Когда отец был уже постарше, он ездил летом в имение к любимой им тетушке Эмилии Виссарионовне Волковой. У нас дома был прекрасный дагерротип, на котором изображена была Эмилия Виссарионовна, маленькая, худенькая, причесанная на пробор, в платье с легким кринолином – снято было еще в ее молодости. Отец мне часто говорил, что я поразительно похожа на эту тетушку, про которую он много вспоминал всяких историй.

Окончив корпус, отец решительно заявил директору корпуса, что никуда по военной линии не пойдет, а сейчас же подает прошение о принятии его в Петербургский Горный Институт. Директор корпуса, искренно привязанный к моему отцу, чуть не заболел от горя – самый блестящий воспитанник, окончивший корпус первым в своем выпуске и имевший поэтому право первым выбрать себе любую вакансию, и лучшую из всех предоставленных корпусу, – отказывается от военной карьеры навсегда, порывает с давней традицией комаровской семьи, и вообще делает что-то совсем непонятное и будет просто... штафиркой!

Но отец мой никакой склонности к военной службе не имел, и один из первых в своей среде понял, что будущее в России, как и всюду, за новой для страны тяжелой промышленностью, за новой техникой. Он жил студентом в Петербурге очень недурно (старший брат давал ему в месяц целых 75 рублей, что тогда было более чем достаточно), появились новые друзья – из них сейчас помню только фамилию Горяинова; был он в близких отношениях в этот период и с двоюродным братом Владимиром Леонтьевичем Комаровым.

Оба эти друга через несколько лет исчезли, и вполне окончательно, из жизни моего отца – Горяинов по каким-то чисто личным причинам (и о нем отец частенько вспоминал), а В.Л. Комаров – ввиду полного расхождения их политических взглядов. В.Л. Комаров стал потом ученым-ботаником, сделал после Октябрьской революции то что называется "карьеру" и позднее, в течение 12 лет, был президентом Академии Наук. Это был не только убежденный марксист (?), но и поклонник Сталина, которому он где мог и когда мог курил фимиам похвал.

Его имя отец никогда не упоминал, и только вернувшись в Советский Союз в 1948 г., я – уже там – узнала и поняла, что пресловутый президент Академии является моим двоюродным дядюшкой!

Будучи студентом, мой отец, как и все студенты тогда, ездил "на практику". Однажды он попал на Урал с двумя другими

горняками; они жили у хозяйки, которая никакой платы за комнату с них не брала – зато каждое воскресенье бедные студенты сидели и лепили ей пельмени на всю неделю, что-то около двух тысяч пельменей.

Ездил мой отец, будучи еще студентом, и за границу, в Бельгию и во Францию; он хорошо говорил по-французски и недурно по-немецки. Немцев недолюбливал и посмеивался над их торжественностью и помпезностью, а Францию обожал : ему все во Франции с юных лет было по душе, даже протертые супы, которые так не любил в Дворянском Пансионе в Москве.

Попал он на практику и в Екатеринослав, на какой завод – не знаю; он прожил там три месяца, там и встретил мою мать, Веру Николаевну Малама и, окончив Горный Институт, женился.

Первое место инженера отец получил на Богословском заводе, на Урале, где-то около Старого Тагила, в районе Екатеринбурга. Мне кажется, что этот завод, уже тогда довольно старинный, принадлежал семье Половцевых, но утверждать этого не могу. Директор был некто Ауэрбах, довольно известный в своей области специалист; характер у него был нелегкий. Завод шел плохо, и задачей моего отца было как раз поднять темп работы и упорядочить все производство. Впрочем, именно этим же мой отец впоследствии занимался на всех тех заводах, коих он по очереди становился директором : Сормовском, Коломенском, Выксинском, Белорецком и прочих.

После острой размолвки с Ауэрбахом отец с семьей чуть ли не в один день покинул Богословск и уехал в Петербург; одно время был без работы, потом нашел что-то незначительное, а потом как-то сразу получил предложение стать директором Сормовского завода, и мы стали жить в Сормове, где отец решительно начал перестройку заводской жизни, которая до этого шла по старозаведенным правилам. Новые темпы, новая техника, первая настоящая встреча с рабочим вопросом – никто над всем этим не задумывался, завод давал плохую продукцию, хирел. Мне трудно рассказать, каким образом отец в течение нескольких лет переменил в Сормове весь стиль работы: ввел строгую дисциплину, поднял экономику завода, заставил не только рабочих, но и всех инженеров работать сполна, с интересом и считать, что работа и ее успех – это главное на заводе, и не только там, но и в их жизни тоже. Вот это-то и было, мне кажется, то совсем новое, что проводил в жизнь мой отец – совсем другое, нежели прежнее отношение к работе завода и на заводе; всякое "чиновничество", какое бы то ни было чувство "службы" быстро кончились в Сормове под его руководством. Он сам появлялся на заводе не позже половины девятого утра, а частенько и ровно в 8 утра сам уж был в том цеху, где что-то не ладилось. Сопровождаемый инженером, заведывавшим этим цехом, и старшим мастером, он совместно с ними выяснял в чем дело, что́ неправильно и почему, осматривал подробно станок и тут же решал, что и как надо дальше делать.

Он всегда ходил по заводу пешком, без всякой охраны, даже в 1903-05 гг., следил за тем, чтобы получка выдавалась всем вовремя и аккуратно (что до него не было заведено), сидел в заводской конторе подчас и до 8-9 вечера, и через 2-3 года вся жизнь на Сормове стала "деловой", начали выпускать то, что сейчас принято называть "отличной продукцией"; так, знаю, что в 1903 г. паровоз Сормовского завода получил золотую медаль на выставке в Париже, а это было совсем новое явление; отец был счастлив, но считал, что это только начало. Как к нему относились на заводе ? Видно, первое время не понимали, что́ надо и почему надо. Рабочие жили бедно и плохо, почти все в знаменитом Канавино, поселке, близком к Сормову. Политические агитаторы быстро взяли моего отца на мушку, называли его извергом, кровопийцей, а Горький, который сотрудничал в *Нижегородском Листке*, – боюсь, что это не точное название газеты, – писал в передовицах : "Опять тиран вернулся из Питера…", и далее статьи в том же вкусе.

Всего за 4 или 5 лет директорства мой отец не только сумел поставить Сормовский завод в ряды первых в стране, улучшить работу и жизнь рабочих, но и построил им зал на 1000 человек для всякого рода представлений, перестроил старые цеха, сменил старые станки и, как и на всех заводах, где позже был распорядителем, выстроил большой храм. Тяжелые годы 1904-05 и на Сормове прошли нелегко : инженеров, которых не любили, вывозили на тачках, были забастовки, многолюдные сходки, выносились всякие, часто просто нелепые решения – однако моего отца лично никогда не трогали. Нижегородский губернатор Гольдгойер и нижегородская полиция умоляли его быть осторожным, но он вел свою линию, выходил один на многотысячные сходки, однако из задних рядов толпы, где, конечно, чаще всего были мастера и почти не было политиканствующих зачинщиков. Когда он доходил до другого конца толпы, то уже был окружен более старыми и солидными рабочими, и тогда начинались мирные переговоры.

В 1905 г. отец получил от семьи Струве предложение стать директором-распорядителем Коломенского завода, покинул Сормово, и мы переехали в Петербург.

Ровно через год отец соединил в одно акционерное общество Коломну-Голутвин с Сормовым и стал во главе этого, можно сказать, "концерна".

Дальше идут заводы Ижевский и Выксинский, также Белорецкий – каким точно образом эти заводы вошли в "концерн" Сормово-Коломна, не знаю, видимо, через нового директора-распорядителя, которым стал мой отец. В 1909-10 гг. он стал членом правления волжского пароходства, принадлежавшего семье миллионеров Меркуловых. Этот "послужной список" и сам за себя говорит; ясно, что человек, сумевший объединить воедино такое количество заводов и предприятий, был выдающимся организатором, инженером и

администратором. Конечно, просто сказать : вот это он и есть, "капитализм", во всей своей красе и расцвете! Стоило купить пакет акций – глядишь, дело и закрутилось! Ведь и Морозовы и Рябушинские были не хуже того ; но мне кажется, ни к чему сопоставлять эти семейные фабрики с гораздо более обширным кругом деятельности моего отца. Производя, например, на Сормовском заводе вагоны, паровозы, пароходы (а позднее к 1912 г. теплоходы – чуть ли не первые такого рода в Европе), а далее, через завод земледельческих машин "Работник", он невольно соприкасался со всеми важнейшими отрослями тяжелой индустрии в России с 1905 по 1918 гг.

Он сталкивался часто со многими правительственными учреждениями, Военным и Артиллерийским Ведомством, всякими приемочными комиссиями, с министерствами – Путей сообщения, Промышленности, Земледелия, а также с разного рода местными властями – губернаторами, всякого рода инспекторами, или местным архиереем, с соседним монастырем (как это было на Ижевском или Белорецком заводе, точно не помню, где монастырь, частично арендовал заводскую территорию под огороды, и тамошняя мать-игуменья постепенно стала верным другом и даже советником отца). Таким образом отец отлично знал русскую жизнь, а, бывая вечно то на одном заводе, то на другом, или присутствуя в Нижнем Новгороде на общем собрании членов правления и акционеров пароходства Меркуловых, видел он и тот быт, который в Петербурге уж давно исчез, – казалось, что его уж больше нигде и нет.

Постепенно (а со временем и все быстрее) отец стал богатым человеком, потом и чрезвычайно богатым. У него, конечно, не было несчетных миллионов, как у Юсуповых или Морозовых, но был "открытый счет" во всех банках страны : любой чек за его подписью был бы оплачен. Конечно, он и сам являлся акционером многих предприятий, а когда был основан в Петербурге Международный Банк, он оказался одним из его директоров. Во главе банка стоял Александр Иванович Вышнеградский, сын министра финансов в царствование Аленксандра III, сам богатый человек и крупный банковский и биржевый делец. Тогда отец сразу поднялся в разряд крупных капиталистов, "банкиров", – он вошел в группу лиц, которые были так ненавистны для многих, начиная от революционеров всех окрасок и кончая некоторыми дворянскими и "православными" кругами России.

Моя мать болезнснно воспринимала этот момент, она часто говорила : "Ты стал банкиром, это ужасно, не могла я этого предвидеть", – а Александра Ивановича Вышнеградского по-настоящему ненавидела, звала его "этот делец".

Интересная деталь : когда отец в 1917 г. покинул Петербург, разошелся и, позднее, развелся с моей матерью и, наконец, в 1918 г., уже будучи в Финляндии, женился на Елене Исаакиевне Гревс (девичья фамилия Достовалова, из семьи сибирских купцов), его вторая

жена, хоть была из совсем иной социальной среды, нежели моя мать, и на 25 лет моложе отца – так вот и она точно так же, как и моя мать говорила про Вышнеградского – теми же словами : "Акула, биржевый делец!"

В 1912 г. отец построил большой доходный дом – №22 по Кирочной улице, и зимой 1914 г. мы в него переехали, в квартиру, которая занимала полтора этажа, с внутренней лестницей.

Между тем, отец, став во главе стольких заводов, постепенно понял, что многое не так; с ужасом думал он о том, что будет в случае... войны. Эта мысль его преследовала.

Он один из первых, производя большинство товарных вагонов в стране, предвидел, что медленный ход товарных поездов может когда-нибудь стать роковым; он считал, что технически это легко поправимо, если переменить систему тормозов. Несколько раз обращался он с этим к министру путей сообщения Рухлову, но тот никак не хотел понять чрезвычайную важность этого дела, и тормоза на товарных составах оставались все те же. В Париже, в 30-ые годы, когда отец, бывало, многое при мне вспоминал, он говорил, что считает честного и доброго Рухлова одним из главных виновников военный катастрофы 1914-17 гг., так как именно из-за отсутствия новой тормозной системы военное снаряжение так медленно доставлялось на фронт, да и вообще нагрузка каждого вагона была из-за этого меньше, чем могла быть.

За несколько лет до войны отец начал обдумывать план переноса тяжелой промышленности за Урал и далее на восток; этот план мало был понят тогдашним правительством. В то же время зародился и план объединения тяжелой промышленности в некий "трест" : создание цепи заводов, снабжающих друг друга и упрощающих выполнение заказов.

В 1912 г. Сормовским заводом (по заказу Меркуловых) были спущены на Волжский пассажирский маршрут теплоходы, то есть суда с двигателем Дизеля. Это были роскошные суда, обладавшие удивительно легкой и точной маневренностью; тогда это был поразительный скачок в технике пароходства. Таких крупных теплоходов было спущено, кажется, шесть – *Бородино, Двенадцатый год, Кутузов*, и несколько других более мелкого тоннажа – один из них носил название *Алексей Павлович Мещерский*, и в кают-салоне висел большой портрет моего отца. Пожалуй, это были первые пассажирские теплоходы такого размера и тоннажа не только в России, но и в Европе, – впрочем, Волга, одна, конечно, и могла оправдать эксплуатацию подобных судов.

Хорошо зная Волгу, отец носился с мыслью о постройке военного завода вне возможной линии фронта. К сожалению, не знаю всех переговоров, которые в эти годы вел мой отец. Помню, однако, что он, отчаявшись, решил сам поднять это дело : в какой-то момент он обратился к английской фирме Vickers Armstrong, которая очень

заинтересовалась его проектом. Было основано акционерное общество, где была половина капитала Викерса, а половина – русские капиталы; крупные деньги были даны лично моим отцом. Так началось сооружение Царицынского военно-строительного завода.

Торжественная закладка завода состоялась в мае 1914 г. Вот уж можно сказать : лучше поздно, чем никогда. Моя мать, сестра и я, наша англичанка Miss Isaacs, мамина горничная Женя – все погрузились в Нижнем Новгороде на специально предоставленный нам теплоход (кажется, *Бородино*), на котором ехал товарищ морского министра Бубнов с дочкой, Петр Иванович Балинский (один из крупных акционеров) с женой, а также представитель Викерса, левантинец, мистер Франсис Бейкер. Это путешествие длилось дня три, и мы с сестрой, подружившись с дочкой Бубнова, веселились вовсю и всячески изводили очаровательного адъютанта Бубнова В. Яковлева. Все было очень смешно, весело и интересно. Теплоход был почти пустой – пассажиров не было, а только группа, которая ехала на открытие завода*.

Так начался Царицынский военный завод. Ко дню открытия кое-что уже было построено, но по-настоящему завод смог начать работать только в 1916 г., хотя, конечно, и до этого давал неплохую продукцию. Уже в Париже, в эмиграции, отец часто сокрушался о том, что завод был заложен так поздно.

Одним из последних достижений мирного времени была для моего отца как строителя постройка Дворцового Моста в Петербурге – заказ, полученный Коломенским заводом не без труда, по конкурсу, объявленному, думается, Петербургской Городской Думой. Отец чрезвычайно был доволен, что Коломенский завод получил этот заказ, – это было, вероятно, не так-то легко. Мост должен был быть построен к концу 1914 г., но началась война, все финансы ушли на военные заказы, и открытие моста состоялось лишь в 1915 г.; громкая церемония открытия, на которой должен был присутствовать государь Николай II, была заменена очень скромным молебном и освящением – без его присутствия.

Во время войны заводы, бывшие под руководством отца, работали во всю мощь на военные заказы (маленькое замечание иного характера про эти годы : на всех этих заводах в течение всей войны в потребительских лавках сохранялись для рабочих и служащих довоенные цены на все товары). Отец был избран товарищем председателя Военно-промышленного Комитета (а председателем

---

*) В. Яковлев замечателен тем, что он в Японскую войну тонул на броненосце "Петропавловск"; был дежурным офицером, взошел на капитанский мостик с адмиралом Макаровым, и через несколько минут опомнился, будучи уже в воде – после взрыва мины. Он не умел плавать и спасся действительно чудом; все это он нам подробно рассказывал.

этого комитета был… Красин – очевидно, тот самый, будущий полпред). Казалось, жизнь моего отца шла начиная с 1905 г. только вверх, в его руках была большая часть русской тяжелой машиностроительной промышленности, люди начинали его звать "русский Форд", да и сам он вполне к этому времени осознал свои возможности, понял, что его работа (а работал он всю жизнь с 8 утра до 8-10 вечера) может получить иную окраску и достичь всероссийского масштаба; к тому же он понял и силу капитала и считал, что с поддержкой банков, и объединив в большой единый трест взаимоснабжающие друг друга заводы, он сумеет вывести русское машиностроение на европейский рынок – из-под зависимости от немецких капиталов. Можно возразить, что ведь он сам обратился к Викерсу для постройки Царицынского Военного завода. К сожалению, русское правительство как раз и не давало воли частной инициативе, не придавало должного значения технической модернизации заводов, а также сперва мало и туго помогало А.В. Кривошеину проводить аграрную реформу, хоть он и занимал пост министра земледелия. Был ли мой отец "дельцом", "банкиром", "акулой" (или даже "архижуликом", как про него высказался В.И. Ленин в 1918 г.) ? Вернее всего, что он был вполне новой для России фигурой, представляя собой те творческие силы, которые только-только высвободились после 1905-го года, – а потому был многими не понят, другим казался ненасытным человеком, жаждавшим чуть ли не личного богатства и больше ничего. Ни от какого государственного учреждения он никогда не зависел, не был ни губернатором, ни министром, а всего достигал сам, своим талантом. Отец был действительно человеком XX-го века.

Наступил 1917 год. Он стал годом перелома не только для всей страны, но и переломным в жизни нашей семьи и, в частности, в судьбе отца.

Ему в этот год исполнилось 50 лет. Его брак с моей матерью был несчастливым и во всех отношениях неудачным. Не сомневаюсь, что многие женщины пытались его "поймать", однако никаких сплетен о похождениях такого рода вокруг его имени не было, а если что-то и происходило (много позже, уже живя в Париже, я узнала, что некая "amie", абсолютно никому неведомая, была в Москве довольно долгие годы), то наружу ничего не пробивалось. Отец, видимо, считал, что пока дочери не вырастут и не выйдут замуж, надо сохранить семью. Но во время войны в наш дом попали новые люди, и среди них Валериан Эдуардович Гревс, известный петербургский нотариус. Его контора на Невском, против Казанского собора, занимала целый этаж громадного дома.

Моя мать, по просьбе Марии Федоровны Щегловитовой (девичья фамилия Куличенко, из скромной дворянской екатеринославской семьи), стала во главе лазарета для тяжелораненых нижних чинов,

который содержался на средства служащих Министерства Юстиции; наша семья никакого отношения к этому ведомству не имела, кроме близкого знакомства с И.Г. Щегловитовым через его вторую жену — Марию Федоровну.

Служащим Министерства Юстиции должно было быть непонятно, почему этот лазарет из Ведомства попал к моей матери ? Дело, однако, было ясным : Мария Федоровна твердо рассчитывала, что моя мать будет невольно вкладывать крупные деньги, необходимые для ведения такого лазарета. Это, конечно, и случилось. Мария Федоровна была дама с сильным характером, служащие министерства ее побаивались, да и своей резкой, будто и "добродушной" манерой, своим острым языком и вполне "хозяйскими" замашками кого угодно могла смутить и повергнуть в трепет. Лазарет постепенно увеличивался и к 1915 г. стал совсем большим; там делались тяжелые операции, царил идеальный порядок, и персонал без всякой пошлой чувствительности прекрасно и разумно ухаживал за ранеными. Моя мать дома была тиранична и часто истерична, но могла быть и прекрасным организатором — это ее свойство ярко проявилось в данном случае. Мария Федоровна от этого лазарета позднее отошла, и он во всех организационных отношениях стал зависеть от принца Александра Петровича Ольденбургского, который стоял во главе Санитарного ведомства и был основателем Экспериментального Медицинского Института в России*.

Вот тут и появился Валериан Эдуардович Гревс, который вел все дела Ольденбургского, и был к тому же его юрисконсультом. Странный был человек, с иссиня-черными волосами, носил золотые очки и часто смотрел на людей в золотой лорнет онегинского фасона. Происхождения он был английского. Его дед поселился когда-то в Петербурге, отец был воспитателем и преподавателем английского языка в Училище Правоведения, сам Гревс учился в этом училище и, так как оно было под ведением Ольденбургского, оттуда, вскоре после того, как открыл свою нотариальную контору, он и попал в орбиту Ведомств, тоже бывших под началом у принца А.П. Ольденбургского.

Моя мать была им очарована, да и правда, это был исключительно блестящий человек, образованный, абсолютный при этом циник, великолепно владевший словом... Вскоре Гревс был приглашен к нам домой. Несколько позднее он представил нам свою жену, Елену Исаакиевну, рожд. Достовалову, на 18 лет моложе его; она была его третьей женой (а было их у него всего четыре, и все они

---

*) Принц Александр Петрович Ольденбургский (1844-?) — попечитель Императорского Училища Правоведения; основатель Императорского Института Экспериментальной Медицины; с 1897 г. председатель противочумной Комиссии; генерал от Инфантерии; член Государственного Совета; участник кампании 1877-78 гг. против Турции.

приводили ему своих детей от предыдущих мужей, так что разобраться кто там был кто – было почти немыслимо).

Елена Исаакиевна была типа кустодиевских красавиц: конечно, семи пудов не весила, однако была заметно полнее иных петербургских юных дам, с очень маленькими и изящными ногами и руками, со светло-пепельными волосами, причесанными на гладкий пробор, с прекрасным нежным цветом лица и серо-голубыми глазами... Походка, говор, манера сидеть за столом и есть с видимым удовольствием вкусные вещи и... особенно пить хорошее вино; нечто наглое в будто скромном ее облике давали ей особенную "земную" привлекательность. Она или покоряла, и навеки, мужчин, причем сразу же, в первый момент (что случилось с моим отцом, который в первый же вечер, когда ее увидел, решил, что разведется и на ней женится!), или же, наоборот, могла вызвать самые неприязненные к себе чувства, и тоже – бесповоротно.

Она родилась в Омске, в семье купцов-староверов Достоваловых; бабка еще живала в скитах, и переселились они в город сравнительно не так давно. Два ее брата учились в Кадетском Корпусе в Омске; старшая сестра вышла замуж за офицера и жила с ним в Ковно, а после смерти отца Исаака Авраамовича Елена Исаакиевна с десятилетнего возраста жила у старшей сестры в Ковно, где и кончила гимназию. Она мечтала о сцене, как многие провинциальные барышни, и уехала в Петербург. Одно время училась у Ходотова, ходила на какие-то лекции и вот, в 19 лет встретила Гревса на ужине у доктора Кубе. Через несколько недель она стала его женой, получила в полное управление его двух детей от первой жены, и двух дочерей его второй жены от предыдущих ее мужей, и сына Гревса – Павла Гревса – от этой же второй жены. Все жили вместе в роскошной квартире на Сергиевской, и вот внезапно провинциальная девица стала полной и безусловной хозяйкой и распорядительницей этого Ноева Ковчега. Там же жили и две собаки, кот и мартышка Дунечка.

Эти новые знакомые: он – темный, странный, вечно крутил вокруг правой руки тяжелую связку ключей – нечто вроде нервного тика, с лорнетом у прищуренных глаз, и она – несколько грузная, но с легкой походкой, всегда одетая в очень дорогие яркие платья, со своей светлой, цвета "saumon", головой, всегда в кольцах и дорогих ожерельях, – оба поражали своей наружностью и, вызывая толки и пересуды, казались чуждым, непонятным элементом в нашем кругу.

Но понемногу Гревсы стали у нас завсегдатаями, и мы тоже начали у них бывать (они жили на Сергиевской, а мы рядом, на Кирочной). Лазарет принимал все больше и больше тяжелораненых, война шла, и шла неудачно (хотя дальше Риги германская армия никогда не дошла, а до Царицына было еще очень далеко!). Уровень общественного настроения все понижался.

Но вот убийство Распутина – небольшой антракт – точно режиссер хотел дать публике передохнуть перед главным действием – и под

нашими окнами развернулась незабываемая картина: громадная солдатская толпа, стремительно направлявшаяся с криками к Таврическому Дворцу, к Думе... Началась Февральская революция.

Как прошли эти несколько февральских дней в нашем доме ? По-разному, как для кого, но все, конечно, понимали, что происходит нечто чрезвычайное, да и надо было быть слепым, чтобы этого не понять. С самого начала войны некоторые наши родственники – скорее молодые, хотя, впрочем, подчас и моя мать, – говоря о текущих событиях, употребляли выражение : ”Вот когда будет РЕ, тогда поймете, что..., тогда вспомните, что...” Произносить это слово целиком перед прислугой никак не следовало. Помню, весной 1915 г. моя старшая сестра сказала нашей горничной Стеше, чтобы та приготовила ей все для отъезда в Кисловодск, и перед ней появилось шестнадцать пар обуви, все шитые на заказ у лучшего сапожника Трофимова на Караванной, и моя сестра, вздохнув, сказала : ”Боже мой, что же я буду носить ? И надеть просто нечего!” И вот тут я ей прочла нотацию и кончила словами : ”Вот когда будет РЕ, вспомнишь эти все сапоги!”. Кстати, сестра моя была и осталась на всю жизнь чрезвычайно скромным человеком, но обувь – это главное щегольство, которое мы себе позволяли, будучи весьма строго и по-викториански воспитаны.

В одиннадцать часов утра 27-го февраля мой кузен, который жил в это время у нас и служил курсовым офицером в Павловском Военном Училище, позвонил начальству и доложил, что явиться не может, так как вокруг дома и до Невского по Литейному улицы запружены восставшими солдатами; что ему прикажут делать ? Начальник Училища ответил : ”Вы что, пьяны, поручик ? О чем вы говорите, какие солдаты ? Где ? В городе все мирно и тихо, советую не распускать глупых слухов!” И на этом повесил трубку.

Солдаты лавинами двигались под нашими окнами, также и по параллельным улицам – Фурштадской и Сергиевской ; были и офицеры. Мы стояли в большом ”фонаре”, в зале на втором этаже, оттуда все было видно в обе стороны; зрелище было и зловещее, и грандиозное. Прибежала мамина горничная Женни Граудинг, латышка, прослужившая у моей матери много лет, и сообщила, что во двор забежали и спрятались солдаты, человек двенадцать, бросают там оружие; говорили нашему швейцару Федору (бывший матрос с ”Штандарта”, служил у нас лет десять, но вскоре оказался грубым предателем), что их заставляют идти со всеми, а некоторые даже добавляли, что с утра у них в казармах появились незнакомые им офицеры.

Где-то стреляли, скорее со стороны Невского и Николаевского вокзала, но это было от нас еще далеко.

Первые два дня Февральской революции я почти целиком провела в ”фонаре”; когда начинали близко стрелять, а это тоже

случалось, хотя редко, я садилась на корточки и пережидала, потом опять вскакивала, чтобы не пропустить ничего; мать и сестра тоже стояли тут, но я была, видимо, любопытнее, чем они.

События, происходившие в эти два-три дня в нашей семье, как-то не сразу дошли до меня. Старшая сестра была гораздо ближе к матери – с малых лет ее любимица – и понимала, что происходит; я же скорее наблюдала со стороны ссоры между родителями, иногда чуть ли не публичные, которые так ужасно отравляли всю нашу юность.

На второй день, то есть 28-го февраля, когда в нашем квартале стало резко беспокойнее и когда в Думе происходили всем ныне известные события, отец исчез из дома. Никто не знал, где он – вплоть до вечера. Сестра не выходила из маминой комнаты, я была одна наверху; часов в десять утра в верхней парадной позвонили, я открыла и увидела пожилую даму в черной кружевной мантилье. Она мне сказала шепотом, по-французски : "Я старая приятельница вашей бабушки, пустите меня, умоляю вас!" – и я вдруг поняла, что это Мария Федоровна Щегловитова. Я ее, конечно, впустила; целый день скрывала ее в биллиардной, и под вечер она ушла. Ни мать, ни сестра об этом тогда не знали.

Видно, у мамы был тяжелый истерический припадок, сестра от нее не выходила, я наверху металась, чтобы никто из прислуги не увидел Марию Федоровну – был страшный и смутный день. Наконец, появился отец, и сразу прошел к себе.

На следующий же день как-то стало известно, что он вызвал по телефону Елену Исаакиевну, она к нему вышла, и они долго гуляли по сугробам неубранного снега (уже Петербург был Петроградом, и прежней аккуратности и чистоты на улицах давно не было), прятались от выстрелов и от солдат, а их было много на наших именно улицах; отец убеждал ее немедленно бросить Гревса и уехать с ним в Москву.

Как только восстановилось движение по Николаевской железной дорогс (а может быть оно и не прекращалось ?), отец уехал в Москву, купил там особняк Кусевицкого в Глазовском переулке и тут же переехал туда жить; к нему переехала Елена Исаакиевна, привезя с собой Бобу Гревса, мальчика 9-ти лет, сына Гревса от его второй жены, и Асю Гревс, дочь Гревса от его первой жены; сразу завелись там две собаки, ряд приживалок, и... мой отецпочувствовал себя, наконец, вполне счастливым, покинув в течение трех дней старую семью и, главное, первую жену, с которой никогда не был счастлив.

Как-то сразу произошел раскол и у нас на Кирочной – сестра стала целиком на сторону мамы, осудила отца; я, мало высказываясь, отца не осудила, считая, что достаточно он вытерпел семейных ненастий и бурных сцен за двадцать лет и что он имел право, наконец, выбрать себе другую судьбу.

Отец оставил моей матери в полное владение доходный дом на Кирочной, чем она, конечно, была вполне обеспечена. Вскоре и я, и моя сестра вышли замуж. Отец приезжал на обе свадьбы.

О жизни отца в Глазовском я мало что знаю, да и то уж только по рассказам Елены Исаакиевны в Париже, в эмигрантские годы ; кое-что слыхала в те же годы от Захарова. от Аси Гревс, жившей тогда тоже в Глазовском; ясно, что жили широко, все было, что надо, и больше того.

Но были и события, о которых я тогда просто не знала, да и не слыхала даже, и тоже узнала о них только в Париже, и опять-таки главным образом по рассказам Елены Исаакиевны. Понятно, что отца тогда арестовали – скорее непонятно, почему его не расстреляли, хоть и грозили ? Вот про последнее обстоятельство я знаю побольше – конечно со слов моей мачехи (как я вскоре за границей начала звать Елену Исаакиевну). В то время, то-есть в Глазовский период, я ее вообще не встречала, дав слово матери, что никогда не войду на Глазовский, – главным образом под влиянием старшей сестры.

Но, когда я ездила на свидание с отцом в мае 1918 г. в Москву, Елена Исаакиевна попросила меня через одного служащего в конторе Коломенского завода (на Мещанской ?), чтобы я с ней переговорила на улице, и я виделась с нею полчаса около какого-то памятника. Москву я тогда совсем не знала, да и после Петербурга она мне показалась непонятным городом, хотя, надо признать, что была чрезвычайно живописна в удивительнейшем революционном беспорядке и пестром тряпье.

* * *

Уже в ноябре 1917 г. Ленин решил попытаться привлечь некоторые группы русских капиталистов и промышленников к сотрудничеству с Советской властью – для налаживания и организации производства тяжелой промышленности, причем оставлял за Советами контроль и общее руководство.

Такое сотрудничество должно было принять форму "государственного капитализма", предполагалось устроить смешанные общества из собственников и акционеров предприятий с одной стороны и Советской власти с другой.

4 декабря 1917 г. на собрании Петроградского Совета Рабочих Депутатов Ленин рассматривал осуществление национализации промышленности и говорил о "государственном капитализме", как об одной из переходных форм к полной национализации.

Предложение вступить в общества нового типа было сделано ряду лиц (например, группе Стахеева) и, в первую очередь, отцу. Не веря в долговечность Советской власти и видя в этом предложении возможность спасти заводы от полной национализации и разрухи,

а также, верно, думая расширить свой давний план "треста" и на другие предприятия, отец согласился вести переговоры по этому вопросу с представителями советского правительства. В ходе переговоров отец составил последовательно несколько проектов устава для намечаемого "национального общества объединенных металлургических, механических, машиностроительных, судостроительных, паровозостроительных и вагоностроительных заводов". В каждом последующем проекте ему приходилось все уменьшать и ограничивать права и участие капиталистов и, соответственно, увеличивать долю и контроль Советской власти. С советской стороны эти переговоры велись, главным образом, Ю. Лариным, может быть участвовал и кто-то еще, но я этого не знаю.

В апреле 1918 г. эти переговоры были прекращены; Советской власти нужны были служащие, а не советники или сотрудники. Мой отец был тут же арестован и посажен в Бутырки, а 18-го июня того же года Сормовский и Коломенский заводы были национализированы; в ноябре та же судьба постигла и остальные заводы, входившие в намеченный отцом трест.

Можно ли упрекать отца за попытку спасти в этот момент тяжелую промышленность России от национализации и полной гибели? Он считал, что Советская власть долго продержаться не может, и необходимо все сделать, чтобы на какое-то время сохранить *status quo*, чтобы следующее, настоящее русское правительство получило нечто, с чего можно снова начать – и продолжать работу русской промышленности*.

Моя мать поехала в Москву на свидание с отцом в начале мая 1918 г. – я была очень против этого, считала, что такая поездка не принесет ничего положительного, отцу же может быть тяжелой и неприятной. Но мама, конечно, поехала; как законная жена, свидания она добилась быстро и также быстро вернулась в Петроград. Никаких подробностей или сведений я от нее не узнала, да она и вообще считала, что нечего меня держать в курсе чего-либо – отношения наши никак не улучшались по мере того, как я взрослела.

Я решила сама поехать в Москву и в конце мая или июня отправилась в путь. Поезда ходили нормально – во всяком случае о поездке никаких воспоминаний не осталось. В Москве я остановилась в конторе Коломенского завода у очень милого и приятного управляющего и пробыла там неделю или чуть больше.

---

*) О всей этой акции почти ничего не написано. Краткие сведения, которые я выше привожу, взяты из статьи П.В. Волобуева и В.З. Дробижева "Из истории Госкапитализма в начальный период Социалистического строительства в СССР, переговоры советского правительства с А.П. Мещерским о создании госкапиталистического треста". Эта статья была напечатана в сентябре 1957 г. в журнале *Вопросы Истории*, № 9.

По Москве я ходила всюду одна – на Лубянку, в Кремль, на свидание с отцом в Бутырку, – если не знала дороги, спрашивала на улице; народу всюду было множество – совсем иная публика, нежели я видала в Петрограде, просто сами лица были другие. Я первый раз была по-настоящему в Москве. Вид Красной Площади, густо засыпанной, как ковром, шелухой от семечек – все время там было необыкновенное количество народа – меня потряс. Да, всю эту неделю в Москве я была в состоянии транса, все казалось так ново... Мысль о том, почему я сюда приехала, что мой отец сидит в тюрьме, – все казалось нереально. Ведь это уже через многие годы Советской власти слово "сидит" стало обычным, тогда этого еще не было. Я решила, что обязательно добьюсь чего-то, что сумею так хлопотать, что чего-то обязательно "дохлопочусь", что сумею изменить к лучшему судьбу отца; мною двигала главным образом мысль о несправедливости по отношению к отцу.

Я, конечно, знала, что кого-то, других, многих уже арестовали, что некоторые офицеры, царские министры уже погибли. А тут вот уж реально, первый раз в жизни пошла искать управы по тюрьмам, по начальникам – совершенно вслепую, и целые дни металась по Москве в этой нереальной обстановке, причем была сама в "шоковом состоянии", как теперь говорят.

Сперва я побывала на Лубянке в ВЧК (какая-то малая Лубянка), где выдавались пропуска на свидания к заключенным, был какой-то двор, там сидел очень страшного и театрального вида человек за совсем небольшим столиком; очередь была длинная – кто с передачами, кто без; человек, выдававший пропуска, отвечал грубо, кратко – велел мне прийти через день.

Но я решила не ожидать, не тратить времени и не следующий день поехала... в Кремль, куда, как я узнала, необходимо было получить пропуск. У ворот Кремля стояли солдаты с винтовками, но всего двое, и совсем молодые парни. Я просила их пустить меня в Кремль, но они сказали, что без пропуска никак нельзя; я не уходила и повторяла: "Пропустите, товарищи, мне по очень важному делу". – "Всем по важному. А что у тебя за дело? " Вот тогда я впервые услыхала это "ты", которое в Петрограде никто на улице не сказал бы. "Да мне похлопотать" – "А о чем тебе хлопотать-то?" Тогда, увидев, что или пройду теперь, или уж никогда, отвечаю : "У меня отец арестован, я из-за этого приехала, уж вы пустите". И они меня пустили, сказали : "Ну иди, чего там, уж раз отец, понятно".

Я попала в кремлевский двор и сообразила, что надо идти в большое белое здание. Вошла туда свободно : часовые, видимо, думали, что у меня есть пропуск, поднялась на второй этаж, там на площадке сидела за столиком барышня.

"Ваш пропуск?" – Отвечаю : "Видите, я прошла так, я бы хотела поговорить с товарищем Бонч-Бруевичем про моего отца: он по ошибке арестован, я нарочно приехала из Петрограда, позвольте

мне подождать немного". – "Поймите, – говорит барышня, – здесь нельзя быть без пропуска, я не могу вам позволить здесь оставаться". Так мы говорим каждая свое, но вот издали по коридору – мерные тяжелые шаги, и медленно, в длинной шинели чуть не до пола, в характерном для тех времен шлыке на голове, с оружием через плечо подходит очень высокий дежурный... Кто? – мне кажется, красный курсант. Молчание, дежурная барышня бледнеет, очень ровным официальным голосом курсант обращается ко мне : "Предъявите ваш пропуск". Молчу, не двигаюсь; секунды, и вдруг дежурная говорит : "Пропуск у меня, товарищ, я уж взяла его". Молчание, секунды – и курсант также медленно и четко продолжает свой караул по кремлевскому коридору. Сажусь на стоящий недалеко стул, опустив голову; потом гляжу на дежурную, благодарю ее глазами. Все спокойно, и я опять подхожу к ней : "Ведь я пришла, чтобы увидеть здесь товарища Бонч-Бруевича, он хорошо знает мою родную тетю, я хотела бы его попросить об отце, он наверно согласится меня выслушать". Барышня отвечает : "Посидите немного, он каждую минуту должен быть". Благодарю и сажусь; дежурный курсант, к счастью, больше не появляется.

Через несколько минут вижу, как по лестнице поднимается высокий немолодой человек в пенсне, с бородкой – это лицо я отлично узнаю, неоднократно видела фотографии в газетах (В.Д. Бонч-Бруевич в то время был секретарем Совета Народных Комиссаров). Вскакиваю со стула, иду ему навстречу и говорю : "Можно мне вас побеспокоить, Владимир Дмитриевич? Я дочь Алексея Павловича Мещерского, вы ведь, я знаю, знакомы с моей тетей Ольгой Павловной. Очень, очень прошу вас меня выслушать". Бонч-Бруевич, видно, поражен, но отвечает очень вежливо, наклоняясь ко мне, – я ведь была очень мала ростом. "В чем же дело ? Ваш отец арестован, я знаю, но что вы хотите?" Отвечаю с жаром, что отец не может ни в чем быть виноват, что не понимаю, как же это он уже много недель в тюрьме ? Это же ужасно! Наша беседа длится недолго; Бонч-Бруевич снова двигается по коридору, очевидно в свой кабинет, и повторяет: "Я здесь просто ничего не могу поделать, вы напрасно думаете..."

Он ушел, и я иду вниз по широкой лестнице в освещенный ярким солнцем двор и подхожу к воротам, и с ужасом думаю – а вдруг солдаты уже не те ? или пришел их старшой ? Но они все на месте, ведь времени прошло, в общем, немного. "Ну что, говорят, была у кого надо ?" –"Была, была, отвечаю, спасибо вам, что пропустили".

На следующий день еду на свидание в Бутырскую тюрьму, около десяти утра. В трамвай влезть невозможно, вагоны до отказа набиты, толпа втискивается молча, жестоко, но я никак не в состоянии протиснуться и вскочить. Рядом со мной два солдата, оба бородатые, но не старые – они тоже пока еще не влезли. Прошу их : "Товарищи, помогите мне влезть, а то я очень спешу". Они смеются:

"Все спешат, не ты одна!" – "Да мне на свидание, в тюрьму, там отец, а у меня пропуск пропадет". – "Вот ты бы так и сказала, это дело другое". Подходит опять трамвай, один из них подхватывает меня за талию, другой работает кулаками, и мы все трое вносимся будто по воздуху в трамвай. Дальше я опять прошу их помочь мне выйти, они охотно всех расталкивают, спускают меня на тротуар и навеки исчезают из моей жизни в дребезжащем вагоне.

Впервые в жизни – зловещая тюремная тишина, позвякиванье ключей, где-то недалеко от приемной – звякнут, а потом опять полная тишина. Впервые в жизни переступаю тюремный порог. Сперва свидание идет через решетку. Я совсем теряюсь, говорю то слишком громко, то слишком тихо; через четверть часа румяный молодой тюремщик объявляет, что свидание кончено выхожу назад в проходную (это слово я тогда, конечно, не знала, это уж из последующего опыта... чуть ли не тридцать лет спустя, в той же Бутырке!), дежурный говорит мне неожиданно : "Подождите". Моментальная паника – неужели не выпустят? Молча стою, жду. Через несколько минут он снова вынимает ключи, отворяет дверь в помещение, где я только что была, – стоят два стула посередине, на одном из них сидит и ждет отец. Я до того поражена, что буквально немею; дежурный уходит, ключ щелкает. Мы сидим вдвоем с отцом, и свидание длится около часа; отец одет как обычно, очень чисто выбрит; лицо, однако, напряженное, но он и смеется и шутит. Что говорит ? – Только все незначительное: расспросы, ответы... Как ты? Как живешь? Где сестра? Наконец спрашиваю : "Это что же, у всех такие свидания?" Отец смеется : "Что ты, что ты! Это уж дело рук Елены Исаакиевны, деньги ведь сейчас всем нужны. Ну, а этот товарищ с ключами – он ведь сормовский рабочий".

Свидание кончается, будто и долго длилось, да как-то было неловко все время – вроде как на вокзале... Я мало говорю про семейные дела. "А деньги у тебя есть?" – отвечаю: "Да, ничего, не очень много", и он сует мне в руку сто рублей.

Выхожу на улицу и что-то дальше про этот день ничего не помню, сразу слишком много всего, и все непонятное, весь мир вверх ногами.

Вечером все рассказываю управляющему конторой на Мещанской, он в ужасе. Но я уже, закусив удила, продолжаю в том же духе; через день опять иду в Кремль. Все повторяется; другие часовые, тоже очень молодые, после почти подобного же диалога, как и в прошлый раз, позволяют мне войти без пропуска в Кремль... Та же лестница, та же барышня, но я заранее узнала от управляющего фамилию и имя кремлевского следователя, который ведет папино дело. Спрашиваю барышню, где его кабинет, она показывает – вот та дверь, однако, сейчас его нет. Почему я остаюсь в коридоре одна? Барышня куда-то ушла; тут же подбегаю к кабинету следователя, ведущего дело моего отца, открываю. Сперва заглядываю – никого нет, и я вхожу и тихонько закрываю за собой дверь. Кожаное кресло,

большой письменный стол, перед ним стул, на стене портрет Ленина и, кажется, Маркса. Сажусь и жду, на часы не смотрю, не до этого; проходит не меньше десяти минут; дверь резко распахивается, и с портфелем в руках очень быстро в кабинет входит сам хозяин кабинета, очень темный, смуглый, с черной бородкой. Останавливается и громко, с испугом в голосе вскрикивает : "Кто вы ? Что вы здесь делаете?" Он стоит как вкопанный – от удивления. Говорю: "Я – дочь Мещерского, приехала, чтобы просить об его освобождении, прошу меня выслушать, и т.д.". Он идет к своему креслу, овладев собой, и довольно резко и сурово ведет беседу – мне приходится больше молчать. Я понимаю, что мне пора уйти, интервью кончается кратким и внушительным назиданием этого очень страшного на вид следователя (прокурора?) : "Ваш отец виноват в тяжких преступлениях, он будет отвечать по всей строгости наших законов, советую о нем больше не хлопотать, все равно ничего не изменится", – и я очень смущенно ухожу из кабинета. Прохожу мимо дежурной барышни в коридоре и кланяюсь ей, как знакомой, да и ее мое лицо больше не удивляет, – вот я уж во дворе, прохожу ворота, – "Спасибо, товарищи, что помогли пройти". Но их уже не двое, а четверо; те, кто пропускали меня, говорят : "А мы ждали, а то ведь эти-то тебя не знают – могли и не выпустить".

Вечером, после моего подробного отчета, управляющий сообщает мне, что Елена Исаакиевна очень просит меня с ней повидаться и будет завтра ждать в полдень у такого-то памятника.

Мне странно видеть Елену Исаакиевну на улице, в Москве, – я привыкла ее видеть вполне мирно у нас на Кирочной, а теперь в этом свидании что-то воровское. Она одета в черное, выглядит очень авантажно, держится просто; говорит, что сама ведет всякие переговоры, не стоит лишними визитами вызывать все это дело наружу и создавать вокруг него шум. Отвечаю, что завтра уеду домой, – думала, что надо побольше ходить и хлопотать, а, впрочем, она, видимо, права. Расстаемся холодно и прилично.

Возвращаюсь в Петроград, жизнь идет своим чередом; каким-то образом я все же знаю, что отец все лето продолжает быть в тюрьме; но наступает осень 1918 г., жизнь уж становится похуже, но ничего, еще терпимо. Числа 15-го –20-го октября узнаю от доктора Вилли Ясенского, женатого на одной из бесчисленных приемных дочерей Гревса – Зоре, что мой отец освобожден из тюрьмы, завтрашний день еще проведет в Петрограде, и чтобы я непременно завтра с утра пришла его повидать у Ясенского на квартире, – он дает точный адрес, чтобы уж никого по дороге не спрашивать.

Еду, как указано, в дом – на каком-то неведомом мне канале, адрес вспомнить не могу. Дверь открывает Зора, жена Вилли, и проводит меня в комнату, где меня уже ждет отец. Он несколько осунулся, лицо желтоватое и очень серьезное, без всякой улыбки. Он уже две недели, как вышел из тюрьмы, но никто не знает, что он

в городе и чтобы я, конечно, никому не говорила (особенно маме), и что завтра с утра он, Елена Исаакиевна и Боба Гревс, и его старшая сестра Ася — все переходят границу в Финляндию, недалеко от Белоострова. Значит прощаемся надолго, навсегда ? "Что ты, что ты, — восклицает папа, — этому скоро конец, уже силы собираются в Финляндии, в Эстонии, на Юге России. Я скоро вернусь, — уверенно говорит папа, — и тогда улажу все семейные дела".

На прощание отец мне говорит : "Только ни за что не покидай Петрограда, даже если и голодно: в большом городе есть шансы выжить — в провинции или в деревне тебя сразу заметят, и там ты погибнешь". Мы прощаемся, и я вскоре узнаю (от кого ? может быть от д-ра Ясенского или от папиного секретаря Захарова), что вся группа благополучно перешла в Финляндию.

Я, конечно, в то время не знала и не понимала даже отчасти, как же это мой отец был освобожден, да еще кому-то "на поруки" ? Но тогда, в Петрограде, я не пыталась узнать — да и у кого было спросить ?

В Париже Елена Исаакиевна — здесь она жила с моим отцом вплоть до его кончины в 1938 г. — не раз рассказывала мне историю освобождения отца. Однако перед тем, как перейти к удивительной истории этого освобождения, хочу сейчас, через столько лет, постараться критически подойти к моему поведению во время моей поездки в Москву. Я и тогда, когда в 1918 г. вернулась в Петроград, была несколько смущена своими, так сказать, "подвигами" в Москве... А сейчас все эти легкомысленные и, в общем, безответственные мои походы в Кремль кажутся мне не то "лихачевством", не то "гусарством", которые могли в итоге только ухудшить положение отца. А ведь несмотря на какое-то внешнее его "благополучие", когда я его видела в Бутырке и он казался вполне спокойным, — положение его было очень серьезным : его ждал очень строгий приговор — скорее всего, расстрел.

Конечно, двигал мною в основном ужас того, казалось, непостижимого положения, что мой отец... в тюрьме! Это казалось мне тогда чем-то чрезвычайным, чем-то таким, что в нашей жизни просто не было предвидено, что вообще случиться не могло! Отношение к русскому правосудию, как к самому справедливому и честному в мире, еще твердо держалось; не сразу можно было осознать, что все коренным образом изменилось, и такое замечательное учреждение, как русский суд — тоже; что ни у какого следователя, да и нигде, нельзя уже искать правосудия! Мною двигало, конечно, и ущемленное сознание — то, что сейчас обычно зовется *inferiority complex*, и этот "комплекс неполноценности", видно, точил меня и толкал : "Иди, не бойся, бояться нечего, да и стыдно — докажи, что ты тоже равноценный член семьи, а не какое-то ненужное никому существо". Вот я и хотела кому-то что-то доказать. Впрочем, главным было все же искреннее и наивное желание чем-то помочь в деле

освобождения отца моего из тюрьмы. Сейчас, в 1978 г., рассказы и моих походах в Кремль могут показаться сказками...

Елена Исаакиевна была в курсе переговоров, которые отец вел с Лариным, и она вполне понимала, что означал его арест, когда переговоры провалились. Знаю от нее, что она хлопотала всюду и была раз или два принята Красиным, который в это время был в Москве. Очень скоро, однако, чекисты стали ее шантажировать через каких-то подставных лиц и требовать деньги за освобождение отца*. Подробностей не знаю и не помню, однако к осени 1918 г. террор усилился, в тюрьме режим становился страшнее, следствие подходило к концу, и становилось все яснее, что развязка одна : расстрел. Насколько я понимаю, следователь давил на моего отца, чтобы он все же согласился на условия, поставленные Лариным во время переговоров о Промышленном Трестс и когда понял, что отец мой ни в чем не уступит, все дело сразу приняло иную окраску.

К Елене Исаакиевне уж прямо на Глазовский стали приходить чекисты; они настойчиво требовали денег за освобождение отца; сумма выкупа все увеличивалась, а угрозы расстрела звучали все чаще. Тогда Елена Исаакиевна, отчаявшись, пошла в Кремль к какому-то видному по тем временам комиссару и сообщила ему о шантаже, которому она подвергалась. Сперва этот комиссар только отвечал, что это невозможно, что все это – выдумка; однако, Елена Исаакиевна не побоялась ему назвать имена тех двух чекистов – она пошла "в открытую".

Переговоры ее длились и, каким-то образом оба чекиста ничего не подозревали. Наконец, комиссар предложил Елене Исаакиевне, что он все это дело проверит и выведет на чистую воду, и, если это все неправда, – она сама понимает, что ожидает и ее, и моего отца.

В ВЧК Елене Исаакиевне была передана очень крупная сумма денег; все номера купюр были записаны, и она обязалась именно эти деньги передать шантажистам, назначив им свидание дома, на Глазовском.

Она так и сделала, да и отступать уж нельзя было. Особняк на Глазовском был заранее оцеплен стражей, а в гостиной, где должно было произойти решительное свидание, поставили в углу ширму, за которой сидела стенографистка и еще какой-то вооруженный товарищ. (Насколько я знаю, во всех переговорах в Кремле и ВЧК большую роль играл некто Якулов – меньшевик, юрист, который

---

*) Об этом деле подробно рассказывает А.И. Солженицын в *Архипелаге ГУЛаге*, т.1, стр. 319-327, под заголовком "Дело Косырева". Все данные, приведенные А. Солженицыным взяты из книги *За пять лет (1918-1922)* Н.В. Крыленко – Обвинительные речи по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном революционных трибуналах – ГИЗ, М. 1923.

тогда еще имел право голоса и был "своим человеком"; он-то и хотел доказать кому надо в Кремле, что ответственные чекисты занимаются тем, что требуют чуть ли не пятьсот тысяч рублей за какое-то фантастическое "спасение от расстрела"!)

В назначенное время оба шантажиста пришли, и Елена Исаакиевна, держа перед собой большую кипу меченых денег, нарочно повела с ними торг – чтобы стало ясно, что все ее заявления в Кремле не были выдумкой и клеветой. Она мне говорила, что буквально не помнила себя от волнения и страха – ведь тут жизнь моего отца была поставлена на карту – ну, да и ее жизнь тоже. Она уверяла чекистов, что приготовила деньги – вот они, но всей суммы сразу не собрать, ведь бриллианты, хоть и есть, реализовать не легко; просила взять пока крупный задаток, а все сполна будет через несколько дней... Говорила, что все время отлично слышала, как поскрипывал карандаш стенографистки, и с ужасом думала о том, что случится, ежели за ширмой кто-то чихнет!

Наконец торг окончился, и Елена Исаакиевна громко сказала условленную фразу, вроде : "Значит условились, вот столько-то тысяч, а остальные (скажем) триста тысяч – на будущей неделе". Те оба ответили, что согласны, идет, – и взяли меченые деньги. Оба шантажиста были сразу же задержаны у калитки, через которую они выходили, и тут же их повезли на расследование всего дела – будто к самому Крыленко.

Через несколько дней отец был освобожден и вернулся на Глазовский; Елена Исаакиевна всегда мне рассказывала так, что выходило, будто бы отца выпустили на поруки Якулову. Через 10-15 дней они все, то есть отец, мачеха, Боба и Ася Гревс уже были в Петрограде, где пробыли два дня в полной тайне и тут же ушли в Финляндию. Вызывали ли по поводу этого удивительного дела моего отца или Елену Исаакиевну для дачи показаний – просто не знаю, думаю, что нет. Что стало с Якуловым? Этот вопрос меня долго мучил – нс поплатился ли он за ту свою благородную роль, которую он сыграл в освобождении отца? Во всяком случае, так рисовалась мне эта его роль по рассказам Захарова, который тоже подробно знал все это дело – в то время он жил в Москве и часто бывал на Глазовском.

* * *

Несколько слов о моей судьбе и жизни в Париже. В 1923 г. я развелась с моим первым мужем, Николаем Ивановичем Левицким. Все время, что длился развод, жила у отца в Париже, твердо решив, что никогда больше замуж не выйду. Однако в 1924 г., 1-го июня, я вторично вступила в брак – с Игорем Александровичем Кривошеиным.

В доме моего отца мы стали постоянными посетителями. Я целиком вошла в его новую семью; жизнь здесь шла не без ухабов и всяких трудностей – у всех: у отца, у Елены Исаакиены, да и у меня был свой "характер". Однако, в общем, уживались мирно.

Жизнь отца в эмиграции? – Что ж, обычная жизнь эмигранта. Он думал, что получит крупные деньги от Викерса в Лондоне, но ничего, конечно, не получил, и дело ограничилось тем, что Франсис Бейкер – ставший за это время сэром Франсисом – пригласил его к себе на дачу и был так же мил, как преждс в Царицыне.

Первые годы отец и мачеха жили в полной уверенности, что вот-вот вернутся на Глазовский, – а там все еще жили верные мачехе ее камеристка Дуня с мужем Петром, и старались сохранить все то, что с собою не было вывезено – а хранить было что.

Свои драгоценности Елена Исаакиевна сумела вывезти; все это постепенно продавалось и проедалось. Сперва был *pied-à-terre* в одной из самых роскошных гостиниц Парижа, потом квартира, тоже недурная, но уже поскромнее. И наконец отец и Елена Исаакиевна поселились в скромной, но приличной квартире, полученной ими в городском доме, в одном из муниципальных домов дешевого тарифа. Отец годами работал как "ingénieur-conseil" на каких-то предприятиях, ездил по делам в Бельгию, в Барселону, и, хотя с трудом, но концы с концами сводил. Народу у них в доме бывало все меньше, устраивать приемы становилось уже трудно.

Отец воспитывал Бобу Гревса, которого он очень полюбил, а Боба ведь всегда думал, что Елена Исаакиевна его родная мать. Он учился в Англии, кончил экономический факультет в Кембридже, в 21 год получил британское подданство и потом много лет работал в Александрии.

Когда отец понял, что надежды вернуться нет ? Думаю, после Кронштадского восстания. Он тогда все бросил, поехал с Еленой Исаакиевной в Гельсингфорс с тем, что вот-вот... – и он через Белоостров вернется домой. Этого не случилось.

С советской стороны моим отцом продолжали интересоваться; в 1925 или 1926 г. к нему подослали некоего Владимира Богговута-Колломийцева, который был видным советским агентом; он представился эмигрантом, членом Союза воспитанников Алексанровского Лицея, членом Монархического союза и так далее, и сумел ловко втереться в дела, которые вел мой отец для фирмы, в которой работал. В один прекрасный день, он вынул из кармана готовый советский паспорт на имя отца – с предложением советского правительства вернуться в Москву и, как выразился Колломийцев, "стать там полным хозяином и диктатором во главе всей промышленности", которую без него-де никто не может никак наладить. Отец дал Колломийцеву решительный отказ куда-либо ехать, кого бы то ни было встречать и просил его больше не появляться. Этот Колломийцев позже снова всплыл в момент похищения Кутепова, и некоторые

французские газеты указывали на него как на одного из организаторов этого похищения. Но... все дело было очень скоро замято, и Колломийцев канул в Лету.

Мой отец прочно осел, когда переехал в последнюю свою, удешевленного типа, квартиру в районе *Porte Champerret*. По вечерам он часто играл в бридж – тогда бридж был в моде; иногда ходил в клуб *Haussmann*, коего был членом, и там тоже играл в бридж; карты он очень любил, в винт научился играть уже в восемь лет, но азарту никогда не поддавался, даже шутя.

Работал он по электронике, по телефонным поставкам в Китай – и чуть не уехал в Шанхай в 1926 г. Дома было чисто, прилично, Елена Исаакиевна ухаживала за ним отменно, все у него всегда было вычищено, выглажено; если приходили гости – угощение было прекрасное, пусть даже подчас и скромное, когда с деньгами приходилось туго. Почти каждое лето отец ездил на курс лечения в Виши. Францию он знал давно, и ему жизнь здесь очень нравилась; были и французские друзья, не только русские эмигранты.

Последние годы отец страдал сахарной болезнью и принужден был соблюдать строгую диету. Он скончался в ноябре 1938 г., проболев всего три дня, а в сущности просто не пережил "мюнхенских событий". Он понимал, что война неизбежна, и все повторял: "Неужели еще раз пережить полный крах всего, нет, на это уж нет больше сил!"

На его похоронах было очень много народу, служил о. Василий Тимофеев (в церкви Карловацкого толка, где отец годами был прихожанином); в надгробном слове о. Василий особенно остановился на том, что покойный не только был по-настоящему верующим православным, но и "строителем храмов", – не было, кажется, ни одного завода под началом моего отца, где он не построил бы храм.

Когда-то Тэффи такими словами начала один короткий рассказ: "Есть человек, и есть его родственники". Вот так случилось и после смерти моего отца: главный "человек" исчез – и распалась парижская семья; мои кузены Мещерские, дико рассорившись со всеми, порвали сразу и с мачехой, и со мной; вскоре Елена Исаакиевна уехала в Грецию к дальним родственникам и застряла там на всю войну; Боба Гревс, которого я очень любила, жил уж в Александрии – и весь наш парижский клан распался.

Через год, когда я жила летом с пятилетним сыном Никитой в *Ellincourt-Ste-Marguerite*, в чудное, тихое сентябрьское воскресенье – над деревней в три часа дня раздался тревожный набат, и местный "tambour" пошел по улицам нормандского села, выкрикивая приказ о всеобщей мобилизации.

*

Мой отец, несмотря на то, что был вполне человеком 20-го века, вместе с тем, всегда сохранял черты и манеры дореволюционного времени. Он был обычного среднего роста, несколько плотный (он сильно курил, а потом, в 32 года, в один день курить бросил, и сразу – не то чтобы потолстел, но раздался); одевался очень просто и строго, но в Петербурге заказывал платье у лучших портных (сперва у чеха Калины, а потом у француза Henri), волосы всю жизнь .стриг бобриком; бороду всегда брил, но носил небольшие, английского фасона усы; чрезвычайно близорукий, он постоянно носил пенсне, которое уже в эмиграции сменил на очки в роговой оправе.

Лицом был определенно татарского типа, с заметными скулами, глаза небольшие, но взгляд – пристальный, даже, можно сказать, тяжелый; цвет лица желтоватый; ходил несколько неуклюже, боком; в еде был скорее скромен, хотя и имел свои определенные вкусы: так, зеленый салат, который у нас в Петербурге ежедневно подавался за завтраком, всегда сам заправлял за столом оливковым маслом и французским винным уксусом. За завтраком всегда пил минеральную воду *Evian* и стаканчик французского вина *Château Laffitte*; за столом сам сидел очень чинно, чего требовал и от нас, детей; с особым уважением всегда относился к хлебу на столе, и по возможности всегда его "преломлял" рукой, а не резал ножом – считал, что это предмет священный, и что ножом его трогать нельзя.

Детьми мы его видели редко, особенно в Сормове, когда мы с сестрой жили по своему особому детскому расписанию; но когда он обедал в большой столовой, подчас очень поздно, нас водила к нему наша швейцарская бонна, Mademoiselle Emma, с которой отец всегда вежливо и любезно пошучивал, и нам давал на особой ложечке кусок сахара в черном кофе из чашки, и этот кусочек назывался "un canard".

За всю жизнь я всего несколько раз слышала, чтобы он повысил голос; впрочем, бывали с ним внезапные припадки бешенства, когда он начинал кричать или выгонять кого-то – помню, что я случайно, еще девочкой, услыхала, как он, ужасно рассердившись, выставлял из прихожей, просто даже выталкивал, какого-то мастера, явившегося к нему в пьяном виде.

Отец не признавал никакого чинопоклонства, хотя, наверно, плохо бы воспринял, если бы его где-либо не посадили по правую руку от хозяйки. Он считал, что обязан со всеми говорить ровно и терпеливо, расизма не признавал ни в каком виде; однако сейчас, вспоминая его, его манеры, его молчаливость, когда ему не хотелось или неинтересно было с кем-то говорить, – думаю, что он все же был по натуре сноб, сам себе не отдавая в этом отчета!

Он хорошо знал Европу – часто бывал в Германии, во Франции и в Бельгии еще до войны; но лучше всего он знал заводскую и город-

скую Россию, а также, по воспоминаням своего детства, деревню — и крестьянскую, и помещичью. Каковы были его политические убеждения? Как ни странно, но точно я этого не знаю, думаю, однако, что он вполне искренне считал, что монархический строй все же лучше всего подходит России.

Отец с юных лет страдал боязнью пространства, с возрастом она все усиливалась. Он страдал также от жестоких мигреней, особенно по воскресеньям, и какой-то немецкий врач ему сказал, что это классический случай "Sonntagsmigräne", которой страдают люди по воскресеньям, когда все расписание дня меняется.

Он отлично знал литературу, особенно ценил Жуковского, иногда и нам читал его переводы вслух; из Некрасова многое помнил наизусть и любил вслух прочесть *Кому на Руси жить хорошо* или же *Русские женщины*. В музыке любил старую сентиментальную оперу, и выше всех певцов ставил Федора Стравинского, обладавшего поразительным басом, который был любимцем студентов, когда отец учился в Горном Институте.

Таким образом, по своим вкусам, понятиям, отношению к искусству, к обществу он был типичным человеком конца 19-го века — со свойственной ему декламацией, народничеством, отсутствием интереса к новым, не вполне понятным формам; в работе, в делах, в проведении в жизнь любого делового или промышленного плана — это был вполне новый для России человек, динамичный и умелый; не хочу этим сказать, что он один был таков, — конечно, были и другие.

Но среди этих новых людей он, пожалуй, один проделал путь от помещичьего сына, проведшего детство в смоленской глуши, до того, что стал во главе почти всей тяжелой промышленности России. Если бы не революция, и если бы его план промышленного треста осуществился, то, думаю, он далеко оставил бы за собой Форда, с которым его сравнивали. Но этому не суждено было осуществиться.

В 1910 или 1911 г. отец был на большом благотворительном вечере в Дворянском Собрании в Москве; одним из "аттракционов" был шатер, где гадала цыганка (конечно, это была дама московского "света"). Отец, дав соответствующий чек, вошел в шатер, где сидела в роскошном цыганском наряде молодая дама в черной маске. Она ему предсказала, что его ожидает вскоре удача во всем, что, возможно, будет ему исключительное положение и роль — а затем новая жена, новая семья; потом, позже, почему-то он принужден будет уехать далеко — в страну, где вокруг всюду море, будет там жить скромно и бедно, все состояние уйдет, и никогда больше он в Россию не вернется...

Отец тогда только посмеялся гаданию светской дамы, показавшемуся ему неправдоподобным — в ту пору он и не думал о разводе или о какой-нибудь новой семье, а покинуть Россию и начать

жить в стране, где "со всех сторон море" — тоже звучало нелепицей. Однако это предсказание сбылось, и ждать было недолго!

В какой-то мере, скромная жизнь, которую он вел последние 8-10 лет в Париже, была счастливее прежней — это в плане, конечно, личном; с Еленой Исаакиевной ему было жить веселее; разношерстная семья, составившаяся из детей Гревса, тоже была забавной; он много работал, да иначе и нельзя ему было, так как все драгоценности Елены Исаакиевны были бездумно проданы в первые годы эмиграции; но никогда я не слышала, чтобы он жаловался на усталость или на то, что дела с разными поставками мелкой техники — скучны и однообразны; он вообще не жаловался на судьбу — вздыхать и сетовать было не в его духе. Первые годы эмиграции он как-то участвовал в разных политических объединениях, был членом "Торгово-Промышленного Комитета", ходил на заседания. Но со временем от всего этого отошел.

Мне хотелось запечатлеть его образ, его фигуру — не банальную, не вполне привычную, но в какой-то мере очень характерную для его эпохи.

ЧАСТЬ I

РОССИЯ. 1895—1919

ФРАНЦУЗСКОЕ ДЕТСТВО В СОРМОВЕ

Мои детские годы начинаются и кончаются для меня в Сормове, в директорском доме – до этого я почти ничего не помню, кроме отдельных картин или фраз.

Смутно помню няню Елену – только ее лицо и, главное, голос, который рассказывает и рассказывает, и ворожит. Из ее сказов ничего не сохранилось в памяти, кроме бесконечного заговора от лихоманки, – слов почти не осталось, только одна концовка :

Идут навстречу девы,
Девы, чьи вы?
– Иродовы дочери!

Мне было четыре года, когда няню Елену заменила Mademoiselle Emma, швейцарка из Невшателя, прожившая всю жизнь в России. Она была уже немолода в то время, мы с сестрой были ее последними воспитанницами. Мадмуазель Эмма́ спала с нами в нашей спальне, с нами обедала и пила чай в нашей детской столовой; она же с нами гуляла, и когда мы подросли – учила писать и читать... по-французски. С ее приходом наша детская жизнь сразу как-то устроилась, узаконилась и изменилась. Появились белые пикейные платья, а также ужасные папильотки – на них пребольно на ночь накручивались волосы, а утром был особый обряд – сниманье папильоток и накручиванье на гладкую полированную палку *(un bâton!)* локонов! На верху головы закручивался крутой "кок", в который продергивался бант в виде бабочки, а локоны в строгом порядке распределялись вокруг головы и вдоль щек. Было утреннее здорованье, вечернее прощание, абсолютно приличное сидение вокруг стола за едой. Словом, вся жизнь пошла по некоему ритуалу, которого до этого не было – сюда включались и прогулки, и грядки в саду в "нашем"

уголке, который назывался ”le coin des lilas”. Когда немного подросли, начались обязательные вечерние чтения книг, которые мадмуазель Эммá читала нам вслух и, надо сказать, прекрасно читала! Мы очень скоро вполне вошли в этот размеренный европейский ритм детской жизни, вперед знали, что будет, как пойдет день, и иной жизни и иного уклада и распорядка уж больше и не мыслили. Наша мать ни с чем не спорила, мадмуазель Эммá сумела наладить с ней хорошие отношения, и так как мы жили совсем отдельно в своих четырех детских комнатах, то наш мир почти не соприкасался с тем, что происходило вокруг; так началось мое французское детство, которое, вместе с тем, и тесно связано с жизнью громадного завода, с его особыми звуками, уханьем, толчками тяжелого молота, гудком утром в 7 часов, а также и с чудной музыкой волжских пароходов и их глубоких голосов.

Директорский дом был старенький, деревянный, с крытым крылечком, сенями и, конечно, мезонином. Внизу было восемь комнат, из них поменьше – три наши, плюс большой игральный и гимнастический зал в мезонине; большая столовая внизу была просторная, длинная – на Пасху или под Новый Год там помещалось более шестидесяти приглашенных. Но самой приятной комнатой был кабинет отца; там, на большом письменном столе, стоял телефон, на полу лежали две медвежьи шкуры, на которых иногда разрешалось играть, что было превесело и создавало совсем особое настроение, – но, главное, там был чудный громадный камин. Он часто горел по вечерам, и когда у нас, бывало, гостил мой дядюшка, Николай Николаевич Малама, мамин брат (артиллерийский офицер, его часть одно время стояла в Нижнем Новгороде), то он привозил из города каштаны, и их калили на огне в камине и тут же ели горячими, доставая их из огня особыми щипцами. Это тоже было очень интересно, а заодно можно было послушать ”взрослые разговоры”.

Наша мадмуазель Эммá привезла с собой удивительную клетку с колесом, в которой жила ее любимая белка Бэллá-Беллá; клетка стояла в нашей детской столовой, и я помню, как я любовалась бегающей в колесе белочкой – мне казалось, что в этом было что-то сверхъестественное, что это особая белка, а другие не умели бы так шибко бежать в круглом проволочном барабане. Вскоре и у нас появились свои зверьки (кроме всегда жившего у нас пуделя Боя, который был умница, добряк и был старше моей сестры на год). Сперва канарейки, купленные на ярмарке в Нижнем; кенар чудно пел свои трели, и они вили в белых шторах нашей спальни гнезда. Дальше появились попугайчики из породы ”неразлучных”, а потом и морские свинки, жившие в клетке в саду. Все эти друзья носили, конечно, только французские имена.

Мы с сестрой много проводили времени в саду, который был не так уж велик, но и далеко не мал. Там была большая оранжерея, где выращивались артишоки, ранние овощи, а также цветы и зеленые

растения; с весны в саду появлялось несколько грядок, где тоже былы цветы и, конечно, огурцы и помидоры. Был и наш уголок, где нам отвели две грядки; мы с сестрой всегда сажали редис, но он, по-моему, ни разу не взошел.

Когда мы начали подрастать и начали (обе очень рано) читать, сразу появились красные с золотом книжки *"Bibliothèque Rose"* с повестями графини де Сегюр, дочки Ростопчина, того самого, который сжег Москву в 1812 г. Про этот жанр детской литературы не мало уж говорено; это были рассказы, написанные – почти все – в царствование Наполеона III, когда французская буржуазия наслаждалась своим благополучием в тени Тюильрийского дворца. В этих книгах все благородные дети добры и отзывчивы, все "нувориши" вульгарны и злы; но были и несчастные, бедные рабочие или крестьяне, и им надо было носить лекарства и бульон из курочки... Все это мы слушали по вечерам в чтении Mlle Emma, и нам казалось, что мы тоже живем где-то во Франции, среди этих девочек в кринолинах и их добродетельных мамаш. У нас тогда появилась такого же слащавого и лживого рода литература – например, Чарская, которой мы в возрасте 9-12 лет зачитывались. Но мы и пели, и танцевали в нашей детской, и все это были французские песенки, хороводы, французские считалки, поговорки, детский театр Гиньол; да оно и понятно – в первый раз я попала на целое лето во Францию, на Атлантический океан, в Аркашон, в возрасте шести лет. Там, на пляже, а потом в *Royan*, мы знакомились с детьми "нашего круга", и там, естественно, продолжались те же игры, те же хороводы, что и дома в Сормове. Наши мамаши сидели под палатками на пляже и вязали крючком ненужные галстучки и воротнички или украшения на кресла. А к осени мы возвращались в Сормово и все шло заведенным порядком.

Мы ходили каждый день на прогулку по "мосткам", шли мимо цехов, где стучали, вздыхали и шипели машины; на грязной и плохо вымощенной улице жалкие лошади, понукаемые мрачными мужиками в тулупах, тащили тяжеленные части будущих машин; мальчишки, лет 12-ти - 14-ти, тоже грязные и замусоленные, в латниках, клепали на огне раскаленные докрасна гайки и с шипением ловко остужали их в чане с водой... Это зрелище было для нас, детей, вполне обычным, вполне нормальным, иногда случалось, что возница застревал на дороге со своим грузом, и тогда жестоко нахлестывал клячу, чтобы она вытащила тяжелые дроги; помню, я начала как-то громко плакать и кричать : "Ne battez pas votre cheval, ne battez pas le cheval, je dirai à papa, je dirai à papa!" В более дальние прогулки, например, к берегу Волги, нас сопровождал громадный наш дворник Алексей Рябов, одноглазый, с хитрой и милой физиономией. Он был личный друг нашей мадмуазель. Когда мы уж уляжемся, она прикрывала дверь в нашу столовую и там сидела и распивала крепчайший кофе с сухим печеньем и сыром. Часто на столе появлялась из угла мышка

— она прыгала на стол и получала кусочки сыра прямо из рук мадмуазель. Вот тут-то и приходил Алексей, он вежливо стучал из коридора и потом, переступив порог, но никогда не входя целиком своим громоздким телом в столовую, вполголоса заводил с мадмуазель Эмма́ бесконечную беседу обо всем, обо всех заводских новостях и сплетнях, а уж он точно знал, кто у кого был сегодня в гостях, что у кого подавали к обеду, был ли какой намек на роман, или же, что говорят в мастерских, — это он, конечно, тоже знал, — и что в Нижнем, а особенно, если ярмарка. Он, держа шапку в руках, стоял, облокотившись о притолоку, и наконец, обсудив с мадмуазель все текущие события, уходил к себе — куда ? не знаю, но, как будто, он по ночам сторожил дом. Откуда я знаю про эти ночные собеседования ? Да просто подглядела; я всю юность, а в детстве особенно, очень плохо и мало спала, всего боялась (то есть ночью, днем, наоборот, была весьма решительна и храбра) да и страдала в 7-8 лет приступами детского ревматизма. Несколько раз я выходила из кроватки, хотя борта были очень высокие, и тихонько босиком подходила к щели в двери, которая нарочно оставлялась, чтобы я не боялась темноты. Вот так я и видела эти две фигуры — Алексей у двери и мадмуазель за столом в своей обычной блузе с напуском на резинке — часто за спиной у нее спала белка Бэлла́-Бэлла́ — стол, кофейник, и их приглушенные голоса.

У нас с сестрой были, конечно, на заводе и друзья. Там, в отличных домах жили многие семьи инженеров, но я помню только некоторых. Наши же друзья были Миша и Нина Лесниковы, они вечно у нас бывали, а мы у них; они, как мы, говорили по-французски, ездили летом за границу, и мы с ними играли в нашем саду во все летние и зимние игры, ставили детские спектакли, все, что тогда естественно полагалось. Помню, как давали мы вчетвером спектакль в зале нашего дома в пользу каких-то "погорельцев", это считалось очень хорошо и нужно; я была моложе всех, в то время мне было всего шесть лет, и потому исполняла немую роль; ставили интермеццо из оперы *Пиковая Дама*. Моя старшая сестра играла пастушку, Нина Лесникова — пастушка, а Миша — царя. Все они пели, и вполне прилично, и танцевали, я же была негритенком, который носит за царем драгоценности на подушке, чтобы соблазнить пастушку. Мне очень нравился голубой шелковый костюм и белый тюрбан на голове; лицо мне чем-то намазали — оно было совсем черное, и на нем выделялись толстые красные губы.

Но, бывало, мы с сестрой и жестоко дрались, не хуже мальчишек, но это случалось редко и, в общем, мы жили дружно: мне было внушено всеми, что она старшая, а потому я должна ее во всем слушаться — что я и делала. Дальше, должны были слушаться мадмуазель, и уж редко, когда дело доходило до моей матери. А иногда, — это уж в виде особого исключения — какое-то событие выносилось на суд папы; мы ужасно этого боялись, умоляли ему не говорить...

а он как раз никогда резко не бранил, и уж просто никогда не наказывал. Вот такая иерархия подступа к родителям, в которой все старшие механически считаются лучше тебя и "лучше знают" — теперь давно кончилась. В этой системе было много плохого, но, конечно, как и во всякой системе, и положительное что-то. Мы твердо знали, чтó нельзя и чтó можно, чтó полагается и чего "не делают" и — знаменитая категория поступков: *"ça ne se fait pas"*. Мы знали, что по этому принципу людей и судят. Почему так не полагается ? Ну, потому!

Эта школа манер, образа мыслей, говора и речи, уменья высказываться — словом, все то, что французы подразумевают под непереводимым словом *comportement**, — все это вколотили нам на всю жизнь, и вот, когда вдруг за поворотом, абсолютно противно всему этому французскому детству, на нас оскалилась реальность — то это в каком-то смысле спартанское детство с присущей ему иерархией ценностей очень помогало и поддерживало — даже в самые зловещие минуты. Не надо забывать и того, что с малых лет нам внушалась и вся православная традиция и обиход: мы ходили каждое воскресенье и все праздники к обедне, с девяти лет говели и понемногу постились — все это было частью обычной нашей детской жизни. Нас учили не быть гордыми, ко всем относиться ровно и почеловечески (грубо ответить горничной или няне считалось просто непозволительно, за это строго наказывали), учили и честности, и взаимопомощи — словом, тогда социальные добродетели как бы вполне совпадали с тем, чему нас учил на уроках богословия наш батюшка, отец Виктор. Когда стали постарше и переехали в Петербург, где, конечно, наш особый мир уже не был так отгорожен от текущей жизни, то, кроме того, что нам были запрещены любые ругательства или грубые слова (впрочем, мы их почти и не знали — неоткуда было), — два слова вообще нам запрещалось произносить: слово "поп" и слово "жид".

* * *

Была ли я счастлива в детстве? Как сказать... Этот период жизни для меня тем хорош, что он написан как бы одним росчерком пера и окончился с переездом в Петербург в 1905 г.: образ жизни и окружение полностью переменились. Как я тогда скучала по Сормову, по его привычной мне звуковой действительности; как мне нехватало большого деревянного дома с его лестницами, приступочками, внезапными и не вполне понятными коридорами,

---

*) поведение вообще, вся повадка.

прогулок "по мосткам" – я долго-долго не могла привыкнуть к городу, и уж даже не знаю сейчас, когда именно вдруг поняла, что Сормово далеко, оно уже только в памяти, а то, что я так теперь люблю и без чего, кажется, и жить невозможно – это наша Кирочная улица, прогулки в Таврический сад, на Набережную, изредка и на Невский, где так все красиво! Заходы в кондитерскую Тэрнó на Литейном, где разрешалось съесть два пирожных и где невозможно было решить, какое лучше выбрать... Или же походы на Караванную, в магазин Петó, где было все : кисти, карандаши, краски, альбомы для раскрашивания, и еще маски, чтобы костюмироваться, какие-то диковинные игры-загадки вроде калейдоскопов, или рожа черного негра под стеклом, и нужно было, чтобы белые зубы-бисерины вскочили в его толстый, красный рот.

Чудный мир Петербурга стал частью нашей жизни – и когда вдоль по Кирочной шел Преображенский полк, мы с сестрой впадали в телячий восторг, кричали "ура!" и махали бородатым рыжим солдатам.

* * *

Чем была жизнь в Сормове для моих родителей ? Думаю, что это было лучшее время в их неудачной совместной жизни; тут мой отец окончательно стал на ноги и сумел завоевать репутацию способнейшего и вполне современного управителя большого коллектива. Он относился к своим обязанностям директора большого завода с подлинным интересом и увлечением и, я думаю, с чувством полной ответственности – особенно в этот острый предреволюционный период.

А моя мать ? Мне кажется, что как никогда в жизни больше, она тут была на месте и вполне сумела себя проявить, будучи центром общественной жизни – и не в глухой провинции, вроде первых лет замужества на Урале, но и не в столице, где играть какую-то роль было уж много труднее или даже почти недостижимо.

А тут жизнь сама указывала ей и место среди других инженеров и их жен, и то, что от нее ожидалось. Она сама выросла в южном городе (Екатеринославе), в очень скромных условиях, однако жила с родителями "на горе" – это была городская часть, где жило свое местное дворянство – кто богаче, кто беднее, но все были одного "клана". Несомненно, как и все провинциальные барышни, она мечтала выйти за гвардейского офицера, за "лицеиста", или "правоведа" – а вышла замуж за инженера! Это было как будто не то, и слыхала я, что бабушка Надежда Викторовна, окончившая в свое время Екатерининский Институт в Петербурге, не очень была этим браком довольна; правда, жених был из дворянской семьи, но "инженер" – тут что-то было новое, а потому и не вполне подходящее.

В бытность свою в Сормове моя мать сумела действительно стать "leading lady": она была высокого роста, хорошо сложена, лицом менее красива, нежели ее братья и старшая сестра, но недурна, говорила хорошо по-французски и немного знала немецкий. Но, главное, ей нравилось быть центром общества на заводе, и это ей отлично удавалось; к тому же она хорошо играла на рояле, по-настоящему любила музыку, и наш дом очень скоро стал небольшим музыкальным центром. Да и приемы начались, сперва скромные, нечто вроде немецких "Kaffeeklatsch", а дальше – больше: играли по вечерам в винт на несколько столов, ужинали, все дамы старались приодеться; тут моя мать вполне умела задавать тон – она всегда неплохо одевалась, а как только стала ездить летом с нами и мадмуазель на пляжи во Францию - переняла французскую моду. На Волге же в то время царила московская мода.

Отец построил на заводе большой зал для спектаклей, и очень скоро молодые инженеры и их жены начали с увлечением там ставить любительские спектакли, которые имели громкий успех у рабочих. Начались дома музыкальные вечера. Дом был большой, да и сад с двумя садовниками, где мать проводила много времени – она всю жизнь любила возиться с растениями; было и свое хозяйство, куры, утки, индейки, были экипажи, выездные лошади, кучера – словом, ей было где себя проявить, и, мне кажется, она была очень удовлетворена своей ролью "первой" в деревне, пусть это и не был гвардейский полк, о котором она, вероятно, мечтала в Екатеринославе. Когда мы уехали в Петербург после 1905 г., такого "кружка", симпатичного и приятного, на заводе с новым директором уж не создалось, и мою мать там долго вспоминали.

А я? Ведь речь идет все же обо мне. С раннего детства я знала, хоть и без точных мыслей сперва, а потом, годам к семи, и все определеннее, что я почему-то не то, что моя старшая сестра. Во-первых, она в детстве была и красивее, и привлекательнее, и складнее, чем я: высокенькая, с красивым овалом лица, с очень большими светлокарими глазами, волосы длинные, тонкие и очень легкие для прически. Я была почти ненормально мала ростом, со сросшимися черными бровями, что придавало мне вид буки, вечно чем-то болела – то детским ревматизмом, то ангинами без конца, то корью с тяжелыми осложнениями, или, уж в Петербурге, нескончаемыми бронхитами; к тому же я с первых произнесенных мною слов четко картавила – борьба со злосчастной буквой "р" омрачила многие годы моей юности, так как считалось, или точнее моя мать считала, что я отлично могла бы и не картавить. Волосы у меня были шапкой крутых кудрей, и причесывать меня в детстве было целой процедурой, и я обычно к концу ее начинала громко плакать и даже, о ужас! – вырывалась из рук мадмуазель Эмма́ или заменившей ее позже немки Fräulein von Jaglitz.

Словом, мы были совсем разные сестры – и по наружности, и по складу; старшая, Таля, по типу вся в семью моей матери – Малама: флегматичная, очень неглупая, но однодум, красивая, скромная и во всем весьма близкая к поколению моей матери, а потому, очевидно, и ей созвучная; в детстве, да и всю жизнь было у нее железное здоровье и физическая выносливость, она не только восприняла но и вполне приняла психику и мышление моей матери. И я – маленькая, никогда до положенного мне роста так и не доросшая, кудрявая, картавая, вечно больная, с ранних лет непонятно почему восстававшая против всех суждений и приказов матери, игравшая тайком в куклы до четырнадцати лет, не выносившая никогда, даже в детстве, летней жары, когда и мама, и сестра считали, что чем жарче, тем лучше... Да что и перечислять, я была вроде чужак для матери, наружность имела не то мещерскую, не то комаровскую: от ее семьи ко мне почти ничего не перешло, а сросшиеся черные брови явно указывали на упрямый и злой характер.

И очень быстро получилось, что все мое детство за мной присматривали няни, гувернантки или же просто горничные: они замечали, что у меня опять жар, опять болит горло, и они же одни приносили поесть или меняли компрессы, которыми тогда лечили. Они же меня и утешали, а я была очень "ревая". Мысль о том, что я приемыш, вполне сформировалась в моей детской голове еще в Сормове, и мне уже было тогда лет семь (первый чевовеческий этап у Шекспира, в его *Seven Ages of Man*); ну, а после чтения вслух нашей мадмуазель книги Гектора Мало "Без семьи", чтение во время которого мы все трое плакали, мне стало окончательно ясно, почему такая разница во всем, и я решила уйти. Несколько дней я тайком собирала печенье, шоколад, еще что-то; это было в мае, когда рано светает, и я встала часов в шесть утра, сама оделась, что было еще не совсем привычно, взяла свой пакетик, без помех вышла в сад и пошла по аллее к калитке, и уже слезы начали накипать. Вдруг, около калитки вырос старший садовник Антон – милый белобрысый латыш – он всегда очень ласково и вежливо с нами беседовал. "Куда это вы, барышня?" – спросил он меня с удивлением и сразу загородил собой калитку; я потихоньку начала плакать и говорила: "Я знаю, Антон, ведь я чужая, я поняла это и теперь решила совсем уйти куда-нибудь, я не хочу мешать", и тут я уж совсем расплакалась. Антон уговаривал меня шепотом, чтобы никого не разбудить, и также незаметно стал меня возвращать к дому.

Узнал ли кто-нибудь в доме о моем неудавшемся "уходе"? Думаю, что мадмуазель Эммá может быть знала, но больше, конечно, никто, и Антон меня не выдал. Это был какой-то кризис в моей детской жизни, после чего для меня все уж шло иначе.

И вот тут хочу еще раз вспомнить мадмуазель Эммá – многим я ей обязана. А случилось в конце концов нечто совсем дикое и непонятное – она нас покинула и уехала от нас; я даже и до сих пор

не знаю, куда, и... я этого не заметила! Много раз в жизни я себя потом спрашивала : как же это могло случиться ? — Ведь я ее ужасно любила и считала, очевидно, что она всю жизнь у нас проживет : поэтому я, наверно, и не поняла, что она не только уж уехала, но и навеки исчезла из нашей жизни.

Лето, когда мы покинули Сормово, мы прожили на даче под Коломной, в нескольких километрах от города.

Дача была большая, фруктовый сад со старыми яблонями, чудные куртины с розами, своя березовая роща — словом, нечто вроде небольшого поместья. Мы обе были в восторге от этой дачи, катали вовсю на велосипедах, гуляли, ходили в какой-то недалекий лес за земляникой и дикой малиной. И вот вдруг я поняла, что какая-то особа, видно рижская немка, пожилая уже, полная, удивительно слащавая и антипатичная занималась нами и даже пыталась нас учить английскому языку! Сперва я просто ее не замечала; спросила как-то раз маму: "А где же мадмуазель Эммá ?" — Мама ответила, что мадмуазель устала, больна и поехала лечиться, — на этом я и успокоилась — что же, вылечится и осенью вернется...

Но время шло, и, думаю, уж было начало июля, когда меня охватил внезапно страх, что я чего-то не знаю, что случилось что-то ужасное. Я побежала к маме в комнату, ворвалась — чего делать, конечно, не полагалось, — и начала громким голосом — чего тоже не полагалось — спрашивать, требовать: где же мадмуазель Эммá, где же она теперь, и, главное, почему же она нам ни разу не написала! Я, верно, была в невообразимом волнении, и мама отвечала мне спокойно, что мадмуазель, увы, стала совсем старенькой, что мы же с сестрой последнее время ее плохо слушались, и что она уехала от нас совсем, что мама ей сама об этом всем сказала, и что мадмуазель Эммá теперь живет "на покое". Это последнее выражение показалось мне совсем ужасным : где это, что это — "на покое" ?

Мама объяснила, что наняла ей хорошую квартиру (теперь думаю, что это было в Нижнем), платит ей "пенсию" на всю жизнь, и мадмуазель Эммá ни в чем не нуждается.

Я провела целый день в полном ошеломлении, и сердце мое заливало острое, яркое чувство ненависти к этой противной, новой "гувернантке", мы с сестрой никогда мадмуазель Эммá не считали гувернанткой — она просто была частью нашей жизни, нашей детской половины, и мы никогда ее не обсуждали, как не обсуждали самих себя. Прошло дня два-три, и я решила, что я эту новую особу с препротивным именем Ирма просто-напросто как-то прогоню, и тогда ее не будет. Как это сделать ? План явился не сразу, а пока я его подробно обдумывала, — я стала очень послушной и... скромной *(modeste)*, и даже сама же Ирма это, видно, тоже заметила и начала меня хвалить, что было совсем уж непереносимо!

В чудный жаркий день в саду на скамейке сидели моя мать и эта Ирма (кажется, Ирма Даниловна), и мне почему-то показалось,

что они говорят обо мне. Сердце полыхнуло, я побежала в дом, схватила в буфете острый ножичек для лимона, спрятала его в кармане передника (мы летом носили передники, чтобы не слишком пачкать светлые платья) и шмыгнула к грядкам, где алела чудесная клубника "Виктория", – некоторые ягоды были просто огромного размера. Я долго выбирала и, наконец, выбрала самую большую и пузатую ягоду, сорвала ее, и, спрятав под передником, побежала назад в темноватую столовую. Там, на том же буфете, стояли судочек, солонка и перечница : я аккуратно срезала ножиком верх ягоды, так что можно было сделать род крышечки, потом выдолбила мясистое нутро громадной клубничины, стараясь ее не сжимать и не помять, и наполнила туго все это пустое нутро толченым перцем. Поставив судочек на обычное место, осторожно прикрыла ягоду отрезанной крышечкой с зеленым хвостиком, положила ножичек в ящик и, взяв ее нежно "пальчиками" и сделав самое доброе лицо, пошла в сад, подошла к Ирме и подала ей клубнику с маленьким, почти игривым реверансом, сказав при этом : "Voilà, Mademoiselle, quelle belle fraise. Je l'ai cueillie pour vous!" На что Ирма, расплывшись в улыбку, ответила, как ей и полагалось : "Oh! Merci, mon enfant!", взяла у меня ягоду, и, повернувшись к маме, сказала вполголоса, как видно продолжая разговор (обо мне) : "Vous voyez, Madame!" – и целиком положила клубнику, начиненную перцем, в рот...

Несчастная Ирма! Она, действительно, чуть не задохлась, побагровела и, чихая, кашляя и заливаясь слезами, выплюнула, наконец, злосчастную ягоду! Я стояла, окаменев, – а что дальше, плохо помню; однако пришла я в себя в комнате на мезонине, где, очевидно, никто не жил, и куда меня посадили одну, а дверь заперли на ключ. Уже почти смеркалось, когда замок щелкнул и вошла моя мать; я встала и слушала ее упреки и выговоры, уж на этот-то раз вполне заслуженные. Она меня довольно долго отчитывала и сказала, что я не выйду, пока не попрошу у Ирмы прощения... Но когда она уж хотела уйти (а я все время тупо молчала), я вдруг разразилась громкими рыданиями с выкриками и бормотаньем, потом упала, начала биться головой о пол и кричала, кричала все одно : "C'est bien égal, je vais la tuer, je vais la tuer! C'est bien égal, je vais la tuer, je la déteste!" Я без конца кричала эти фразы, билась, каталась по полу и дошла до полной одури и бессвязности.

Это, наверно, было очень страшно, особенно по своей неожиданности – ведь такой сцены за всю нашу детскую жизнь не случалось. Я все же помню, что меня поднимали, уложили, чем-то поили – должно быть валерьянкой, и я тут же заснула, просто куда-то провалилась.

А утром я проснулась от того, что пришла за мной горничная Маша, помогла мне одеться, причесала и повела пить утренний кофе на веранду. Никто ничего мне не говорил, а я? – Вся вчерашняя сцена от меня куда-то ушла, и я была совсем обычной и даже спокойной.

Потом побежала в сад, играла в любимую игру с тяжелым литым мячом, который надо было толкать толстой палкой, и весь день прошел отлично, легко.

Только во время ужина я заметила, что... Ирмы нет; где же она? Верно ждет, чтобы я извинилась, и дуется? Но нет, когда ложились спать, была опять только Маша; я ее шепотом спросила: "А где она?" – и Маша ответила: "Уехала – еще вчера вечером, не бойся, не вернется".

Так случилось, что до переезда в Петербург мы с сестрой жили на Хуторе (как называлась дача под Коломной) вольно и почти беспризорно, и было до конца – приятное, веселое лето.

ПЕТЕРБУРГ

В Петербурге мы первые годы жили в доме Ратькова-Рожнова на Кирочной 32: там было две соединенные квартиры. В той части квартиры, которая выходила во двор, был длинный коридор, и я умудрялась несколько лет продолжать там свою любимую игру с тяжелым мячиком и палкой, а когда никто не видел, играла в единственную еще оставшуюся куклу. До пятого класса мы учились дома; у нас была классная комната с партами и черной доской, все шло по гимназической программе плюс уроки французского, немецкого и английского. Два воскресенья в месяц к четырем часам дня мы ехали на Итальянскую улицу, в дом министра юстиции, где Мария Федоровна Щегловитова устраивала танцкласс для своей падчерицы Нюры Щегловитовой. Дни танцкласса были для меня сплошным счастьем. Когда мы со своей Fraülein Jaglitz, снявши шубы и ботики внизу в швейцарской, всходили в легких розовых или голубых платьях, в туго натянутых светлых чулках и обутые в белые лайковые туфли (а иногда и черные лакированные, но это, увы, было редко – мне они казались особенно шикарными) и в белых, правда очень тонких, нитяных перчатках (вот их я просто ненавидела, и сразу после урока стягивала с рук) – вверх по шикарной и торжественной лестнице, и уже слышалось, как тапер за роялем разминает руки и что-то наигрывает, и вот-вот сейчас войдем в зал – эти минуты были каждый раз особенными.Что бы ни было на неделе – сейчас был праздник: любимые танцы, чай за длинным столом и потом нескончаемые игры, где разрешалось бегать, кричать и шуметь вволю по всему первому этажу.

Таким же праздником было для меня и учение в гимназии (гимназия княгини Оболенской, Басков пер. 8); кроме математики, в которой я никогда просто ничего не понимала (только с геометрией было полегче – помогали чертежи), все остальные предметы мне казались интересными, и тут я обычно получала отличные отметки. У нас были великолепные преподаватели – пожалуй, лучшие в Петербурге! Из них на всю жизнь осталась в памяти Евгения Петровна Струве (девичья фамилия – Фоминых). Она нам преподавала не только русский язык и русскую литературу "на высшем уровне" (неприятное современное выражение – однако тут оно подходит), она еще учила нас жизни, пыталась предупреждать о том, что, может быть, дальше не все будет так нарядно, так изящно и прилично в нашей судьбе; она учила нас также употреблять по-русски разно-

образный и живой словарь... Та ученица, которая, не дай Бог, начинала ответ со слов: "Это тогда, когда...", дальше уж и не могла отвечать – Евгения Петровна ей сразу говорила: "Садитесь".

Мы учили два иностранных языка в гимназии: немецкий и французский, и оба преподавателя – Иван Иванович Фидлер и Monsieur Lerat – вели уроки с блеском. На этих уроках я была всегда из первых; помню, как в шестом классе мы на голоса вслух читали *Марию Стюарт* Шиллера – и все – все отлично понимали.

А, главное, были подруги и были перемены – и тут уж на большой перемене я веселилась вовсю в громадном зале – окружающий меня гомон голосов, хождение "в обнимку", которое, в общем, разрешалось... Все было чудно, все было громоотводом от, пожалуй, слишком строгого домашнего уклада.

Были и другие счастливые минуты, и тут я должна отдать должное матери. Когда мне было одиннадцать лет, а сестре тринадцать, у нас уже имелись абонемент на Вагнеровский цикл в Мариинском, абонемент на концерты Зилоти в Дворянском Собрании, а позже и на концерты Сергея Кусевицкого. Одно из самых страшных наказаний для нас было – "не пойдешь на концерт!", этого мы опасались больше всего. Мы всегда сидели на "красных диванах" в Дворянском Собрании, вдоль стены на уровне пятого или шестого ряда – это были отличные места, и я ужасно гордилась тем, что там сижу! Через несколько лет Зилоти случайно узнал от нашего друга, пианиста Гавриила Ивановича Романовского, кто мы, и воскликнул: "Ну, наконец-то я узнал, кто эти девочки в бантах!"

Когда мы были с сестрой в шестом классе, у нас по воскресеньям стала появляться учительница рисования Екатерина Александровна Вахтер; ей было лет за пятьдесят, была она со следами былой красоты, но уже увядшая – тихая, скромная, и всем у нас она понравилась, ее начали приглашать к завтраку после урока, и она стала своим человеком в доме. Через некоторое время она ввела в наш дом своего друга, довольно известного художника Яна Францевича Ционглинского. Это был человек обаятельнейший, энтузиаст по натуре, с громким говором, высокий, плотный, с чисто польским лицом и ярко выраженным польским акцентом. Он сразу всех очаровал – ведь до этого ни одного поляка у нас никогда не бывало, да и он был первый настоящий художник-богема, которого мы близко узнали. Вскоре за ним появились и другие поляки: красавец Заремба с шапкой серебряных волос, инженер Тадеуш Францевич Шимкевич, и все эти люди внесли свое особое нечто – они были иной культуры, хотя и обрусевшие, однако лучше умели оценить вещи и, особенно, искусство – вкусы у них во всем были иные. Они все играли – кто на рояле, кто на скрипке – и стали принимать живое участие в музыкальных вечерах в нашем доме. Ционглинский был чистой воды импрессионист, писал приятные, яркие этюды, особенно в Италии, куда часто ездил.

У него была в Петербурге студия и немало учеников, а в 1912 г. он был избран членом Академии Художеств и получил в Академии чудную мастерскую. Мы вскоре были как-то вечером туда приглашены – мастерская была громадная, и Ян Францевич радовался, как малый ребенок. Кроме этюдов на стенах были развешены и чудесные испанские афиши боя быков; в качестве мебели стояло несколько кухонных табуреток, деревянный грубый стол и посередине мастерской – роскошный рояль Стейнвей. Вид из окна мастерской на вечерний Петербург был прекрасный.

Через Е.А. Вахтер к нам попал и ее племянник Александр Рубцов, странный и диковатый молодой человек, ученик Академии Художеств, а он, в свою очередь, привел совсем уж удивительное существо, тоже ученика Академии, латыша Матвея – это была, видно, его фамилия или псевдоним – я так никогда и не разобрала. Он почти всегда молчал, стоял в сторонке, садился за стол на "наш" конец и чаще всего рядом со мной – видно я его ничем не пугала.

У меня был, как и полагалось девице, альбом, и вот все они мне в альбом делали рисунки и писали стихи. Матвей одним из первых в России переводил древние китайские стихи и печатал их в каком-то очень изысканном альманахе, про который мало кто знал. Увы, мой альбом в революционную заваруху потерялся, и все эти рисунки, как и чудесные стихи Матвея, пропали. Много позже, уж в 1918 г., я попала на выставку современного искусства в галерее недалеко от Сенатской площади: там я, увидев несколько полотен Матвея, буквально бросилась к хозяйке галереи, весьма эффектной даме, чтобы купить – но оказалось, что все немногое, что осталось от этого талантливого художника – либо в музеях в Риге, либо в частных коллекциях. А сам он где ? Он от нас как-то внезапно исчез, и после смерти Ционглинского и отъезда Рубцова в Тунис* – негде было и узнать. Оказалось, что он в конце войны умер от голодного тифа; он всегда ото всех скрывал, насколько сильно он нуждался, и вот еще совсем молодым погиб. Навсегда мне эта смерть осталась укором – как же мы не знали его беды, не угадали, не помогли ?..

Так шла жизнь. У нас бывало интересное общество, музыкальные вечера в нашем доме были всегда неплохи, и вот как-то один из видных представителей юридического мира (большинство из них попадало в наш дом через Щегловитовых, у которых моя мать постоянно бывала, и где тоже много музицировали), некто В.Н. Корсак, Генеральный Прокурор Петербургской Палаты, человек немолодой, высокий и торжественный, привел к нам и представил своего племянника, молодого композитора и пианиста, уже начинавшего греметь в Петербурге, и этот племянник был...

---

*) А. Рубцов уехал в Тунис в 1913 г., и так и прожил там потом всю свою жизнь.

СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ

Мы с сестрой только что вошли в переднюю после гимназии, а тут сразу позвонили, лакей открыл и вошли Корсак и Прокофьев. Я была страшно смущена – на полу валялась школьная сумка, я была еще в коричневом гимназическом платье и черном переднике, да и на ладони левой руки синело громадное чернильное пятно. Корсак мне сказал что-то вроде "ну вот, познакомтесь, это наш Сережа", и я молча сделала реверанс Прокофьеву и подала ему руку, старательно пытаясь скрыть левую.

Потом мы с сестрой переоделись в домашнее платье и, причесавшись, вышли в гостиную. Мы уже знали о Прокофьеве, но вряд ли тогда было ясно, что к нам в дом попал один из величайших композиторов и музыкантов нашего времени, – именно "нашего" в прямом смысле слова – он был одного поколения со мною и сестрой. Играл ли он у нас в это первое посещение ? Думаю, что да, но это было как-то так, официально – пришел молодой человек, еще никому и неизвестный (как это думала тогда моя мать), ну и пусть сыграет и покажет, что он умеет...

Тогда Прокофьеву было 19 лет, он был высокого роста, очень худощавый и узкоплечий, небольшая светлая голова на несколько длинной шее была хорошей округлой формы; на первый взгляд лицо его казалось некрасивым, особенно низ лица. Зато светлые серые глаза поражали пристальностью взгляда и каким-то особенным блеском.

Все наши "кавалеры" (употребляю это уж, собственно, вышедшее из употребления слово, но тогда, в те годы, которые можно назвать последними годами "ancien régime", это было еще совсем обычное и привычное слово – у каждой девочки-подростка были такие "вздыхатели", которые "ухаживали", которые были "неравнодушны", ну, а девочки делали равнодушное лицо, и все это было абсолютно чинно и скромно) – все они были в мундирах – либо Правоведения, либо Пажеского Корпуса, либо Морского, а этот молодой музыкант был в визитке и полосатых серых брюках, с белым платком – углом в левом кармашке и (о ужас!) был надушен духами Guerlain! Словом, это было невиданное для нас явление, однако привел его Корсак, а мать его была Раевская – сказать тут было нечего.

Когда они оба уходили, Прокофьев внезапно сказал мне тихонько, уж почти выходя в прихожую : "А кляксу на левой руке я отлично видел!" Мне это очень было обидно, я нашла, что это ничуть

не мило, – ну, видал и молчи, и это чернильное пятно довольно долго стояло между нами.

Но он начал у нас бывать – сперва скорее на музыкальных вечерах, и первое время был между взрослыми и нами. Он уже и тогда, в юном возрасте, был избалован преклонением, которым его окружали в Консерватории – и его преподаватели, как Есинова или Лядов, считавшие его музыкальным гением, и консерваторские девицы. Это была совсем особая категория девиц, ничего общего с нами, собственно, не имевших, ни гувернанток, ни "частных учителей", как мы; ходившие завтракать в "столовку" и жившие совсем иной, самостоятельной и независимой жизнью; так вот эти девицы окружали Прокофьева, бывали на всех его концертах или публичных экзаменах, не стесняясь и не без визга громко его вызывали, без конца звонили ему по телефону – словом, создавали вокруг него атмосферу восторга.

Единственный сын матери, которая его слепо обожала с малых лет. Поняв, что он не только вундеркинд (Прокофьев был в виде исключения принят в Петербургскую консерваторию тринадцати лет), а и будущий великий музыкант, – он был уверен, что все для него, а если что и не дается, то тем хуже, сами потом жалеть будут! Как многие талантливые люди, он обладал громадной работоспособностью: если он свое рабочее расписание не выполнил, то никуда не выходил, и ему редко приходилось "нагонять" упущенное время: таких пропусков у него, собственно, почти и не было.

Что еще сказать про юного Прокофьева тех лет ? Он умел и по-своему развлекаться, играл иногда в бридж с молодой компанией, особенно у Олега Субботина, сына видного инженера, с которым он у нас познакомился, и бывал у него вплоть до конца войны 14-го года. Олег был постарше нас всех и даже Прокофьева, красив, скромен, но без особого своего характера.

Ходил он несколько лет подряд заниматься гимнастикой в общество "Сокол", был там популярен и даже сочинил для своего сокольского отделения прелестный веселый марш, под который гимнасты проделывали свои упражнения. Постепенно, с быстро растущей славой, его окружали и разные богатые молодые люди как, например, Борис Захаров, или же Борис Башкиров – интеллигентные и образованные младшие сыновья именитого петербургского купечества. Были, конечно, среди его друзей и музыканты как, например, Мясковский, старше его лет на десять, которому Прокофьев много помогал, особенно в оркестровке его произведений.

Мне было лет четырнадцать, когда Прокофьев попал к нам в дом.

Постепенно мы к нему привыкли, и слава его, как музыканта, в нашем доме вполне утвердилась – однако всегда казалось, что он что-то делает не так, не обычно – может даже внезапно кому-нибудь нагрубить; мы звали его между собой "марсианин", но его появления

у нас, все более частые, стали обычны. У нас тогда часто бывал пианист Гаврила Иванович Романовский – моя мать начала брать у него уроки на рояле; ему было лет за сорок, не меньше; был он сыном священника, играл приятно и проникновенно, и нередко участвовал в маминых музыкальных вечерах. В его репертуар входили обычно Григ, Чайковский, Шопен, а иногда Бах или Лист. Давал он два-три концерта за сезон, обыкновенно в малом зале Консерватории, жил уроками музыки, был богема и кутила, и не прочь выпить, однако слыл в довоенном Петербурге одним из признанных пианистов. И вот, в 1912 г. или весной 1913 г. Романовский под влиянием моей матери согласился исполнить на своем концерте две пьесы Прокофьева; это было в первый раз, что на чьем-то концерте, да еще известным пианистом, исполнялись вещи Прокофьева. Народу было на концерте много (в малом зале Консерватории), были, конечно, и музыкальные критики, и царило общее настроение ожидания. Романовский сыграл две вещи: кажется, *Ригодон* и еще, может, *Мимолетности*; успех был, стали вызывать: "Автора, автора!". Прокофьев вышел и, став перед первым рядом, как-то смешно и боком поклонился. Мама в антракте прошла за кулисы к Романовскому (которому она как раз подносила в чудном букете тяжелый золотой портсигар); туда же влетел и Прокофьев; он подошел к Романовскому и очень громко, как-то особенно растягивая слова, сказал ему: "Неплохо, неплохо, Гаврила Иванович, я никак не думал, что вы так хорошо сыграете!" Романовский, который был чрезвычайно вежлив и щепетителен, да еще страдал комплексом неполноценности – как человек, выбившийся сам из "поповичей", – буквально затрясся и побледнел от такого комплимента! Маме пришлось долгое время улаживать этот инцидент, а Прокофьев только ухмылялся и был доволен. Летом того же года на вокзале в Павловске, куда съезжалось много настоящих любителей музыки, он исполнял свой первый концерт для фортепиано – ему и шикали и свистали, кричали: "Это не музыка, а бред", а другая часть публики безумно аплодировала и вызывала его; он был в восторге: "Вот это славно, это лучше всяких статей в газетах!"

* * *

Мы окончили гимназию, и на лето была снята прекрасная дача в Гурзуфе посреди парка. Там стояло в зальце недурное пианино, а в полуподвальном помещении было две больших прохладных комнаты для гостей, а если и их не хватало, то в соседней гостинице нанималась комната.

Лето было жаркое; мы и купались, и ходили всей компанией на дальние прогулки в горы, а по вечерам ездили в красочных шарабанчиках, запряженных быстрыми татарскими лошадками,

с ухмыляющимся молодым татарином на особом сидении сзади — в Суук-су, на пари́ : кто скорее прокатит туда и назад? Словом, лето было сказочное, в цветах, в кипарисах, с лунной дорожкой на море по ночам. Мы только что кончили учиться, стали сразу барышнями, у нас по очереди гостило много интересных людей и... конечно, все, буквально все, были влюблены. Это лето — какой-то особый, легкий и волшебный период в нашей семейной жизни — возможно потому, что семейная эта жизнь проходила все время на людях, и не было времени для "упреков, попреков и намеков".

В Гурзуф приехал к нам гостить знаменитый тогда исполнитель вагнеровских опер, Иван Васильевич Ершов : в свое время его к нам привел Ционглинский, его друг и страстный поклонник. Несколько позже приехал и Прокофьев, ну, а помимо них приезжали на короткое время милые правоведы (наши обычные зимние танцоры), например, некий вечный студент Сергей Базавов (о котором, может, и следует вспомнить в серии кратких записей, которые хотелось бы мне сделать о разных отдельных людях, попавших в поле зрения за долгую жизнь).

По вечерам Ершов вполголоса напевал под аккомпанимент мамы любимые им романсы Брамса или Чайковского; иногда Прокофьев внезапно подсаживался к пианино и играл нам то, что мы тогда особенно любили, — конечно, Вагнера — увертюру к *Таннгейзеру*, или к *Мейстерзингерам*, или Шумана – *Карнавал*. На скамеечке в парке около нашей дачи каждый вечер сидели любители музыки в надежде услышать знаменитых тогда исполнителей. Часов в десять вечера, когда спадет жара, на громадном балконе подавался холодный ужин, а под конец появлялись блюда с вишнями или клубникой и, что еще вкуснее, две огромные плошки с домашней ледяной простоквашей.

В конце лета я получила первое в жизни предложение от человека, старше меня на 15 лет, — в шестнадцать это казалось ужасно много; мой претендент до этого бывал только у мамы на приемных днях, иногда играл на музыкальных вечерах, и только весной начал подсаживаться и ко мне, но я мало на него обращала внимания. Это был Кирилл Осипович Зайцев, сын богатого петербургского домовладельца, человек умный, тонкий, окончивший Политехнический институт в Петербурге и Гейдельбергский университет, по специальности экономист. Он был небольшого роста, красив, с прекрасными синими глазами. Его мать была еврейка и красавица; этого своего старшего сына она не просто любила, а прямо-таки боготворила.

Когда Кирилл Осипович мне вечером в парке сделал предложение — самое настоящее, с объяснением в любви, я пришла в полный восторг — оказывается, и мне делают предложения! Я была горда сверх меры.

Но Кирилл скоро уехал, сказав, что все это пока секрет, и приехал внезапно Прокофьев, да еще кто-то из маминых знакомых;

вот тут сразу моя судьба впервые резко столкнула меня с Прокофьевым. Он как-то таинственно для всех и незаметно начал за мной ухаживать. И я все это лето жила в угаре от того, что я нравилась, что кругом все красиво -- чудный, сказочный, экзотический Крым, редкий момент расцвета перед началом – уже теперь столь близким – настоящей "взрослой" жизни, с ее утратами и обидами.

Мы вернулись в Петербург в начале сентября : вскоре мама меня позвала к себе и строго спросила : "Что это за слухи, будто Кирилл Осипович тебе в Гурзуфе сделал предложение ?"

Слухи не слухи, а он, как видно, поговорил со своей maman, а та откуда-то уж все знала, и даже то, что, как только ее любимый сынок уехал, в Гурзуфе начался флирт с Прокофьевым; ну и пришла она к маме в полном волнении : "Она же еще только девочка, да вот какая легкомысленная!" Я ужаснулась, ни в чем я не была способна разобраться, Кирилл не появлялся – а некоторое время спустя мы с ним встретились в Эрмитаже, сидели на скамейке в каком-то зале и... оба поняли, что все это не серьезно, и уже кончено, и оба плакали. В конце сентября мы уехали за границу до начала февраля – дом наш на Кирочной 22 еще не был до конца отделан, и там работали английские и французские мастера... И краткий эпизод с Кириллом ушел в прошлое и, собственно, не оставил следа. Да и Прокофьев тоже вроде вылетел из памяти... Началась скучнейшая жизнь в Швейцарии, где моя мать решила лечить старшую сестру у знаменитого доктора Кохера, специалиста по щитовидной железе; сестра моя просто-напросто была совсем здорова, а Кохер просто-напросто зарабатывал недурные деньги. Мы с сестрой скучали без всяких друзей или знакомых в обществе нашей бывшей гувернантки Fraülein von Jaglitz, которая у нас была теперь в качестве dame de compagnie; да еще была с нами мамина собака, избалованная, уж немолодая, грузная, знавшая себе цену, и мы ее терпеть не могли. Я, не переставая, болела, кашляла, злилась и, сколько могла, дерзила.

Наконец в начале февраля мы вернулись в Петербург в новый дом и успели прихватить конец бешеного и развеселого светского сезона зимы 1913-1914 г. Появился снова и Прокофьев, но, казалось, Гурзуф забыт; он приходил довольно часто и вот, как-то уж весной сам предложил давать мне уроки музыки.

С этих уроков все и пошло; вряд ли я была очень замечательна как ученица, играла средне, все учительницы музыки от меня давно отказались, но я начала понемногу сама играть и кое-чего добилась. Уроки были два-три раза в месяц и, в общем, проходили строго, как следует : меня мало поражало, что человек, имя которого уже гремело, вот так попросту приходит давать мне уроки. Прокофьев шутя звал меня своей Кларой Вик, я все же делала какие-то успехи – иногда, уходя, он меня целовал; иногда по вечерам звонил мне по телефону, но это было очень принято – в Петербурге так же любили болтать по телефону, как в шестидесятые годы в Москве!

Лето 1914 г. мы жили в Кисловодске, на верхнем этаже очень большого каменного дома на Красной Балке, совсем уж почти за городом. Прокофьев прожил у нас месяца полтора, спал на тахте в гостиной, где стояло пианино и где он по утрам занимался оркестровкой *Симфониетты*. Кто тогда в доме знал о какой-то всепоглощающей любви, которая тут вспыхнула? Думаю, что наша англичанка, Miss Isaacs, которая это лето жила у нас и много с нами ходила, особенно в дальние прогулки, в степь, на Синие Камни, и ездила с нами в Пятигорск – та все знала, но она вела себя по-дружески, маме ничего не сказала; замечала и знала и моя сестра и, кажется, была не очень довольна, она не представляла себе, как это все кончится. Уроки мои с Прокофьевым летом оборвались, но иногда он сажал меня за пианино, заставлял играть какую-нибудь вещь, особенно сонаты Моцарта, и не раз подсаживался к пианино и тут же играл вместе со мной в правой руке импровизации, как бы свой новый аккомпанимент – второй голос к вещи Моцарта... Получалось чудесно, что-то совсем в новом стиле; думаю, что Моцарту понравилось бы. Эти импровизации, конечно, остались незаписанными...

Началась война, и в конце августа мы вернулись в Петербург, а Прокофьев уехал еще раньше. Его пока еще не призывали, как единственного сына, но многие из наших друзей почти сразу пошли на войну; барышни начали записываться в общины Сестер Милосердия; старшая сестра окончила двухмесячные курсы Георгиевской общины и стала работать в большом лазарете для нижних чинов при Святейшем Синоде. Почему именно там? Не знаю – может быть потому, что было близко от Кирочной, на Литейном проспекте, и что там в основном работали монашки – все это был мамин выбор. Тут уж никаких флиртов не предвиделось, это было для моей матери главное – как можно дольше сохранить мою сестру дома; она и тогда уже понимала, что как только мы обе улетим из дома – все рухнет!

Эту зиму я начала плохо, по вечерам была небольшая температура, я кашляла, и по совету врача стала жить в Царском Селе, у моей старшей двоюродной сестры и ее мужа, но, конечно, часто приезжала в город, а Прокофьев бывал часто в Царском Селе в небольшом деревянном доме, где мои родичи снимали полдома у вдовы художника Каразина. Осенью он ездил в Италию, где его встречали как знаменитого уже композитора "de la nouvelle vague". Там Прокофьев познакомился с Дягилевым и Стравинским и впервые вел серьезные переговоры о новом балете *Алла и Лоллий* – для постановки в Париже.

Что же было с "романом"? Любовь, взаимная, с провалами и высотами, кружила нас и мучила; мысль о браке уже явилась и до поездки в Италию, но я так боялась, такой для меня был ужас, что надо сказать об этом маме, что этот с детства все еще не изжитый страх сковывал мой язык, да и сразу было предчувствие, что, если

скажу, ничего хорошего не будет. Прокофьев, еще раньше написав свой первый знаменитый *Ригодон*, посвятил его мне, но из озорства написал : "Посвящается Фяке". Я не была довольна; это глупое имя "Фяка", вроде какой-то собачьей клички, было мне дано дома за то, что все, что я делала, было будто бы не то, и от "бяка" и "фэ" — это и началось. Осенью 1914 г. Прокофьев сказал мне, чтобы я ему написала слова для романса, а если ему подойдет, то чтобы нашла ему сюжет для оперы или балета.

Я была этим предложением очень счастлива, сказала, что будет не "романс", а "портрет", и именно мой. Я еще твердо не знала что, — но очень скоро пришла мысль написать про "Гадкого утенка", я достала несколько изданий этой сказки и, главное, конечно, пыталась как можно лучше составить текст, который выразит горестное одиночество утенка. Мой текст был готов уж через две недели; я его переписала начисто и подарила Прокофьеву со словами : "Вот мой текст, делай с ним, что хочешь!"

Через две-три недели музыка "Гадкого утенка" была уж написана; Прокофьев был в восторге от этой вещи, говорил, что мы будем вместе работать; очень скоро это произведение было исполнено нашей знакомой камерной певицей Жеребцовой-Андреевой в ее концерте, с примечанием в программе : "Первое исполнение" (тогда слово "премьера" применялось только к первой постановке театрального произведения). Прокофьев на манускрипте написал посвящение: "Нине Мещерской".

Концерт Жеребцовой остался для меня праздником. Малый зал Консерватории был наполнен публикой до отказа, были и всякие видные люди из музыкального мира — например, П.П. Сувчинский, издатель прекрасного журнала *Музыкальный Современник*, Каратыгин, критик и вечный сотрудник *Музыкального Современника* и, конечно, масса консерваторской молодежи. Жеребцова была прекрасная певица, с большой музыкальной культурой и уменьем фразировки.

Гадкий утенок имел сразу шумный успех; Каратыгин, узнав, что это я написала текст специально для Прокофьева по сказке Андерсена, подошел ко мне и сказал, что он в восторге от этого несколько неожиданного для романса сюжета в прозе.

Вскоре Дягилев вызвал вторично Прокофьева в Италию, там его ожидала европейская слава — он приехал экстренно в Царское Село и потребовал, чтобы сейчас же скорее венчаться и ехать вместе в Италию, где его ждет Дягилев.

Но — как ехать ? Ведь война, и, видно, она будет длиться долго — все так страшно! Но он, со свойственной ему резкостью и властностью, требовал, почти приказывал : сейчас, завтра, скорей — все объявить родителям и уезжать в Италию!

Я вернулась в Петербург на Кирочную и... скандал разразился сразу, как гроза летом на Илью Пророка — неумолимо и,

я почувствовала, что все безнадежно, я уж знала – все пропало. Годами и годами я вытравливала из памяти все, что было, старалась забыть совсем, навсегда всю эту несправедливость и отчаяние, в котором я потом прожила столько лет. Всегда ли первая любовь должна сопровождаться вот таким полным крахом, как было с Прокофьевым – как только все узналось, и должно было войти в рамки обычных, принятых социальных отношений ?

Мои родители были поражены оба : как это так, они ничего не знали ?! Конечно, брак с "артистом" им казался нежелательным. "Но ведь он уже и сейчас известен во всей России!" – говорила я. Этот довод мало на них влиял – сегодня знаменит, а может быть, завтра уже выйдет из моды... Тут, пожалуй, моя мать была сговорчивее; отец же такого жениха вообще не принимал всерьез. Но главный вопрос : отъезд в Италию, сразу же, через 2-3 недели ? Тут никакие доводы не могли помочь. Да и почти сразу оказалось, что Прокофьева вот-вот призовут, и тогда он уж конечно никуда не сможет ехать. На что он возражал : "Таким музыкантам, как я, не место в армии, я в жизни должен делать одно : писать музыку. Это я буду делать в Италии или где угодно". Наконец дошло до резкого объяснения Прокофьева с моим отцом.

В доме назрел острый конфликт; в наше время сказали бы, что это "conflit de générations". Сейчас я не в состоянии подробно и хронологически точно изложить события этих страшных для меня дней... Дошло, наконец, до того, что Прокофьев после резкого объяснения с моим отцом перестал у нас появляться, но мы говорили по телефону, и мне было ясно : нашла коса на камень, скрестились двое сильных и самодовлеющих людей – мой отец и Прокофьев, и ни один из них не уступит!

Прокофьев мне сказал, чтобы я убежала из дому, к его матери, что он найдет священника, который нас сразу обвенчает (это мне казалось маловероятным – я без разрешения отца не могла быть повенчана, и вряд ли без всяких бумаг или паспорта – а у меня его не было – кто-либо в Петрограде согласился бы совершать обряд). Но время истекало, и я решилась тайком уйти из дома, и вечером, очень по-глупому вышла в переднюю, чтобы выскользнуть на улицу. Как только я подошла уж к двери, меня сзади схватил наш швейцар Федор, поднял на руки и внес назад в квартиру с какими-то словами, вроде: "Куда это вы, барышня так поздно, так что барыня не велели выпускать". Дальше уж случилось то, что наверно было мне на роду написано: я сидела неподвижно на стуле, задыхалась, почти без голоса кричала сестре : "Это ты одна знала, как ты могла, как ты могла..." Моя мать была, видно, не на шутку перепугана, старалась мне объяснить, что она узнала с утра, будто Прокофьев призван в армию и, конечно, уехать за границу больше не может; что отец мой оскорблен и будет непреклонен, что она взяла билеты на следующий день в Екатеринослав, куда меня и увезет недели на две, чтобы все успокоилось...

Мы уехали в Екатеринослав, и я там оставалась у кого-то из семьи Малама; за это время Румыния объявила войну России, и проехать в Италию стало вообще невозможно. Меня привезли назад в Петроград, я еще, кажется, раз говорила с Прокофьевым по телефону, но все было кончено.

Больше я никогда в жизни не встречалась с Прокофьевым, и позднее, уж живя в Париже (с 1924 по 1948 г.), даже не ходила на концерты, где могла бы его встретить, – считала, что так лучше, во всяком случае, для меня... Один раз только Нина Павловна Кошиц предложила мне с ним встретиться у нее. Это было в 1926 г., я тогда работала в русском ресторане-кабаре "Самарканд", который отчасти принадлежал и мне с мужем. Там была сносная музыкальная программа, а, главное, первоклассный пианист и аккомпаниатор Владимир Евгеньевич Бюцов, привлекавший своей игрой много "клиентов"; в их числе была и Н.П. Кошиц. Она одно время по два-три раза в неделю приезжала вечером в "Самарканд", ужинала, а потом по просьбе публики охотно пела – пела прекрасно, незабываемо, а Бюцов был одним из лучших аккомпаниаторов, которых я когда-либо слышала. Я стала иногда бывать у Кошиц, но мне там не очень нравилось – привлекал же, конечно, талант хозяйки дома. Она была интересна, блестяща, очень остра на язык, а когда она начинала петь – было одно очарованье. Как-то весной, сидя в ресторане, она пригласила меня к своему столу, и вдруг сказала : "Приезжай ко мне на днях вечером, будет Прокофьев, я с ним про тебя говорила, он хочет с тобой повидаться". Я ответила уклончиво, сказала : "К чему это ? Он женат, я уж два года, как вторично замужем. Или получится ненужный, пустой разговор, или... Нет, довольно, я уж достаточно из-за него намучилась, хватит!" Но Нина Павловна стала меня уговаривать (все это было исключительно ее инициатива), говоря мне : "Ну, приди и все, я ведь всю эту прежнюю историю знаю, ну что ж, что женат, а ведь может..." и так далее; думаю, что искренно хотела "устроить мою жизнь". После нескольких таких приглашений я, наконец, дала условное согласие, да мне и трудно было вечером уйти из "Самарканда", вся зала была на мне : подавание, обслуживание, программа, публика; я ведь каждый вечер два раза обходила все столики, и такой личный контакт с "клиентами" создавал особый дух в зале – некоего семейного приличия. Впрочем, если бы я действительно решила пойти, как было условлено, к Нине Павловне, то, конечно, освободилась бы и пошла... Я уж была вполне взрослым и решительным человеком и, если бы считала, что можно и стоит снова встретиться, то уж, конечно, никто и ничто мне бы не помешало, и никакой швейцар не перехватил бы меня по дороге! Я все устроила, чтобы уехать из ресторана в тот вечер, и вела с собой всякие переговоры, но, конечно, с самого начала отлично знала, что не пойду. И не пошла.

Через несколько дней Нина Павловна была опять вечером в "Самарканде" и, когда я к ней подошла, сразу спросила : "Что ж ты не приехала ? А он тебя весь вечер ждал, думал, ты приедешь".

Нина Павловна Кошиц вскоре уехала в Голливуд, где открыла студию пения; Прокофьев уехал в 30-х годах в СССР и, когда я тоже туда попала в 48-ом году, он уж был болен, жил на раскошной даче на Николиной горе под Москвой, подаренной ему советским правительстом; там он и умер от удара в день, когда было объявлено о смерти Сталина.

Когда-то, в 1920 г., когда я покинула Петроград и ушла пешком через лед Финского залива в Финляндию, и дальше в эмиграцию на 28 лет – я отдала на сохранение одной моей приятельнице, тоже бывшей ученице гимназии кн. Оболенской, рукопись Прокофьева, которую он мне подарил, – это была его первая опера *Маддалена*, написанная в возрасте двенадцати лет. Когда он ее привез мне в Царское Село и отдал, то сказал : "Вот самое драгоценное, что у меня есть, я ее написал в двенадцать лет и тогда же начисто переписал. Храни ее всегда, кроме тебя никому бы не отдал". Но я переходила Финский залив пешком, ничего взять с собой не могла, и с отчаянием отдала рукопись Прокофьева этой девушке, армянке, дочери знаменитого петербургского психиатра – по всему чувствовалось, что ее семья никогда из страны не уедет. Живя в Ульяновске, я в 1952 г. все же сумела ее найти и послала к ней одного знакомого с письмом – он ехал в Ленинград и обещал к ней зайти. Он был у нее два раза, сперва она отвечала уклончиво, а когда Прокофьев скончался, заявила, что в тот же день, как узнала о его смерти – отослала рукопись *Маддалены* вдове композитора... Но ведь было две вдовы – первая, Лина Ивановна, с которой Прокофьев развелся и которая тогда еще была в лагере Потьма, и вторая, Мирра Мендельсон, с которой он жил на Николиной.

Так я никогда ничего точно и не узнала про *Маддалену*; писать Мирре Мендельсон было неловко; в Музее Прокофьева, где находится собрание всех его рукописей, одной моей знакомой сообщили после нескольких ее запросов, что рукопись *Маддалены* у них имеется в каталоге.

Так вот, даже этот поистине царский подарок я не сумела сохранить.

*

Музыкальная пьеса *Гадкий утенок* в первом же издании была посвящена певице Жеребцовой-Андреевой, первой исполнительнице. То же случилось и с *Ригодоном*. Кое-какие отклики на эти события можно найти в книге И. Нестьева *Жизнь Сергея Прокофьева*, появившейся в Москве в 1973 г. Но это все сведения отрывочные, и даже не вполне точные.

Вот несколько кратких отрывков из книги Нестьева : "Другой петербургский салон, в котором бывал молодой композитор, принадлежал богатому промышленнику, инженеру А.П. Мещерскому, руководителю крупнейшего машиностроительного концерна "Сормово-Коломна". Супруга хозяина, дама с высокими интеллектуальными претензиями, приглашала на свои художественные "среды" самое рафинированное общество столицы. Здесь иногда играл и Сережа Прокофьев, дружививший с 17-летней дочерью Мещерских, гимназисткой Ниной. Его искренне смешили петербургские монстры, посещавшие салон, и он с жестокой иронией изображал в своих издевательских импровизациях то томно вздыхающего сентиментального барина, то молодящуюся старуху, щебечущую, словно птичка. Возможно из этих импровизаций родилась музыка фортепианных *Сарказмов*".*

"... Зима 1914-15 г. ознаменовалась сложными событиями в личной жизни 23-летнего композитора. Его привязанность к Нине Мещерской постепенно переросла в большое чувство, и молодые люди всерьез готовились соединить свою судьбу. Предполагалось, что они немедленно обвенчаются и вдвоем отправятся в Италию, где Прокофьева ждал его заказчик С.П. Дягилев. Однако, родители девушки решительно воспротивились их замыслу, рассматривая поездку на Запад – в условиях разгоравшейся войны – как безумную авантюру. (Они вообще считали Сергея "неподходящей партией"). Дело дошло до неудавшейся попытки бегства Нины из родительского дома. Это было началом их разрыва. Самолюбивый юноша, оскорбленный неудачей, решил разом разрубить запутанный узел. В начале февраля он один отправился в рискованное путешествие, увозя с собой законченный вчерне клавир "скифского балета". Отношения с Н.А. Мещерской были прерваны навсегда".

В книге есть и выдержки из статьи Anna de Lozina – это никто иная, как дочь И.Г. Щегловитова, вторым браком бывшая замужем за Лозино-Лозинским; она была близко знакома с нами в Петербурге. Видимо, она тоже плохо переносила властную манеру моей матери, как в свое время я – ее мачеху, Марию Федоровну Щегловитову. То, что она говорит о создании *Сарказмов*, мне кажется мало достоверным, никогда в свое время я такого объяснения не слыхала. "Салон" моей матери был чрезвычайно пестрый, были там люди и скучные, однако были многие и более живые, и более современные. Сам Нестьев отмечает, что "на свои художественные среды она приглашала самое рафинированное общество столицы".

---

*) См. об этом в воспоминаниях Анны де Лозина, бывшей подруги Н.А. Мещерской – итальянский журнал *L'approdo musicale*, Roma-Torino, 1961, статья *Gli anni verdi di Prokofiev*, стр. 107-111 (прим. И. Нестьева, *Жизнь Сергея Прокофьева*, Советский композитор, Москва, 1973, стр. 101 и 108.

Сведения об отъезде Прокофьева за границу в 1915 г., как я уже сказала выше, неправильны.

Кто подробнее всех наших современников мог все знать о "неудавшемся сватовстве" – это Элеонора Дамская, в то время ученица Консерватории и близкая приятельница Прокофьева. Не знаю, оставила ли она какие-либо воспоминания об этой эпохе. Нестьев ссылается на беседу с сестрой Элеоноры В.А. Дамской. Ни та ни другая никогда у нас в доме не бывали.

ДВОРЦЫ – ЕКАТЕРИНСКИЙ И МРАМОРНЫЙ

И не слышны голоса и шаги,
Или почти не слышны...
Георгий Иванов

Мне пришлось работать в "СКЛАДАХ" – так тогда называли помещения, где добровольно изготовляли пакеты с перевязочным материалом или подарками для действующей армии. Такие склады возглавлялись обычно какой-то высшей Организацией или Дамой, а работали там, главным образом, девицы из высшего света или же как-то связанные семьями с этими организаторами. И, хотя мои родители (да и вся наша семья) были совсем далеко от Двора и к общению с придворным миром вовсе и не стремились, однако некие связи с этим миром все же были; да вообще разрыва между так называемым буржуазным кругом и придворным уже почти не существовало. Так будущий король Югославии Александр Карагеоргиевич, когда учился до войны в Александровском корпусе в Петербурге, проводил воскресный отпуск в семье моих троюродных братьев и сестер, детей Виссариона Комарова (Комаров, как и другие его братья был известный славянофил и участвовал в войнах освобождения славян).

Житейски все это было нормально, но бывать при Дворе – это уж было другое дело. Да нас туда никто и не приглашал!

В 1916 г. мы все лето до сентября жили в Царском Селе, в очень большой даче, на дороге ведущей к Павловску. Лазарет, которым заведовала моя мать, был на лето перевезен куда-то неподалеку от Царского Села, и мать по этому поводу имела дело с Величковским, а также и с кн. Путятиным, который был, как мне кажется, дворцовым комендантом, и с его женой – с ними мы и вообще были знакомы, хоть и не близко: вернее, мы с сестрой всюду встречали путятинских сыновей – Гулю и Алика.

Как оказалось, княгиня Путятина стояла во главе "Склада" в Екатерининском Дворце, где готовили пакеты и подарки нашим "серым героям". Она и предложила маме, чтобы я начала ежедневно, от 4 до 6 вечера, работать в Складе. Мне не очень-то это улыбалось, однако слоняться целый день одной по саду было хуже всего – и... мне быстро сшили из тоненького батиста белый халатик, который мне очень понравился, и вот числа с 15-го июня я пошла работать в Склад.

Входить надо было с громадной площади перед Дворцом; я пришла точно вовремя и кн. Путятина, поджидавшая в вестибюле, ввела меня в просторное помещение – дверь была прямо из этой прихожей. Здесь стояло два длинных стола, довольно далеко друг от друга, на столах были разложены марля в больших картонных коробках, ножницы, нитки... Вскоре барышни, работавшие здесь, уж были все налицо – всего нас было пятьдесят человек. Кн. Путятина указала мне на стул и ушла сама к другому столу; ровно в 4 часа мы все начали работу : кроили из марли и катали вручную бинты; это дело мне показалось сразу совсем диким – уж не корпию ли щипать, как делала бабушка в Турецкую войну? Ведь уже тогда существовали отличные ручные машины для резки бинтов, их надо было завести две-три, не больше, и за два часа несколько человек могли нарезать и скатать бесконечное количество бинтов, ну а укладывать пакеты надо было уж, конечно, вручную... Нелепость этой работы меня поразила тогда же – не то, чтобы я сейчас так думала, в век сложных роботов и компьютеров... Все-таки я была дочь крупного инженера, детство провела на заводе среди грохота машин, тех самых, которые, как предполагалось, принесут счастье человечеству.

Девицы громко переговаривались, смеялись, все они были в хорошеньких белых халатиках; в общем, было не скучно, но меня неприятно поразило, что русской речи почти не было слышно – говорили по-французски, по-английски и, что казалось уж совсем удивительным... по-немецки! Рядом со мной, слева и справа, стулья оставались свободны, напротив меня тоже оставалось место пустым... Ну, верно, кто-то не пришел или заболел.

Ровно в половине пятого два ливрейных лакея стали на подносах разносить чай – чай был в отличных фарфоровых чашках, горячий, сладкий, и к нему на небольшом блюдце было каждой по две булочки из царской пекарни. Эти булочки ввек не забыть, до того они были легки и вкусны. Минут через десять чайную посуду ловко и незаметно убрали, часы на стене прозвонили пять ударов, и в эту самую минуту дверь из вестибюля резко раскрылась и один из ливрейных гигантов внушительно и особым голосом провозгласил : "Кня́жны идут!" * Воцарилась абсолютная тишина, и в дверь из прихожей вошли гуськом, одна за другой, Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Все, конечно, встали, и Великие Княжны стали обходить столы, здороваясь с каждой за руку, – им делали совсем небольшой реверанс... Потом Ольга пошла вглубь комнаты и села во главе второго стола, а Татьяна села против меня, Мария

*) Во Дворце про Великих Княжен говорили "Кня́жны", а не "Княжны́" – в отличие от всех остальных княжен, которые могли тут быть, чтобы никак уж не спутал кто.

с левой руки, а Анастасия с правой, и я внезапно оказалась как бы в "царском треугольнике".

Великие Княжны принялись старательно за работу с марлей и бинтами, все пятьдесят барышень умолкли и тоже предались работе – воцарилось молчание и полная, ничем не нарушаемая тишина; заговорить в присутствии Великих Княжен было, конечно, невозможно, обращаться к ним самим – запрещено старинным придворным этикетом. Вот так и молчали за обоими столами, молчали все, включая и княгиню Путятину, и ее сына Алика, – и в этой тягостной тишине прошел целый час. Часы опять прозвонили : шесть часов. Первой встала Великая Княжна Ольга, поклонилась сидящим за ее столом кивком головы – все встали и сделали легкий реверанс; Ольга подошла к нашему столу, в это же мгновение поднялись и ее сестры – все сидящие за нашим столом одновременно встали, сделали реверанс, Великие Княжны Татьяна, Мария и Анастасия слегка нам поклонились. Дверь в вестибюль раскрылась как бы сама собой, и они вслед за старшей сестрой, не спеша, но как-то незаметно исчезли в раскрытую дверь. Прошла минута, меньше, и Склад разразился говором и смехом : стали двигать стулья, закрывать картонки на столе, убирать ножницы – через пять минут Склад опустел, работа кончилась.

Целых два месяца я ходила каждый день после обеда работать в Склад, ничего другого мне жизнь в это время не предлагала. Сестра с утра уезжала в город работать в хирургическом отделении лазарета для тяжелораненых под ведением Св. Синода и возвращалась в Царское Село часам к семи вечера. Мать моя после обеда сразу уезжала на машине в свой лазарет, где-то близко от Царского – я оставалась на даче одна; жила тогда у нас наша английская гувернантка, вроде как бы уж на покое и, конечно, прислуга. И я одна билась день и ночь с отчаянием, которое не оставляло меня ни на минуту после провала моих планов, когда зимой 1915 г. разбился проект брака и поездки в Италию.

Я посещала Склад исправно, понемногу привыкла, катала бинты не хуже других девочек, кое с кем там познакомилась и вела приятную болтовню, однако все больше по-русски – мне казалось, что во время такой тяжелой войны это было более прилично... Церемония чая мне очень нравилась: ведь могли нас этим чаем и не угощать – дескать, придетете домой и попьете! Это было и вкусно и, вместе с тем, экзотично – распивать чай в Екатерининском Дворце! Как и все, ровно в пять часов я замолкала, вставала, делала уже привычный "реверанс" и усаживалась поудобней, чтобы целый час почти не шелохнуться. Рассмотреть моих соседок, Великих Княжен Марию и Анастасию, было мне трудно в силу самой примитивной вежливости – не могла же я крутить головой и заглядываться на них... Но как только я поднимала глаза, тут же взгляд мой встречал Великую Княжну Татьяну, и оторваться от нее было трудно, так она

была привлекательна и хороша собой! Строгий принцип, внушенный нам с детства английской miss: "Child, don't stare!" (не смотрите ни на кого в упор!) я тут применяла плохо, хотя, конечно, не "уставлялась в упор", а ловчила, взглядывала, будто искала бинт или ножницы. Описывать ее не стану, да и любой портрет бывает обыкновенно неудовлетворительным — ведь осталось много фотографий именно этого периода... Лучше же всего я видела ее руки на столе, и руки эти были прекрасны : на правой руке был тяжелый золотой браслет с крупным уральским сапфиром посередине и такое же кольцо — зимой я как раз точно такие же браслет и кольцо подарила сестре, она их очень любила и постоянно носила. Такие золотые вещи тогда стали очень в моде и были весьма декоративны; носить настоящие бриллианты барышне не полагалось, а вот полудрагоценные камни — вполне можно было. Словом, если многое оставалось непонятным, то эти браслет и кольцо были знакомы и понятны, и мне ужасно хотелось сказать Великой Княжне что у моей сестры тоже такие браслет и кольцо...

За два месяца молчаливый ритуал катанья бинтов всего один раз был нарушен: в этот день вдруг открылась дверь в противоположном углу, позади другого стола, во главе которого сидела Великая Княжна Ольга, и Алик Путятин вкатил большое инвалидное кресло — в нем сидела фрейлина Орбелиани. Все четыре Великие Княжны вскочили со своих стульев; мы, конечно, тоже встали, и княжны подошли к фрейлине Орбелиани, одна за другой сделали ей глубокий придворный реверанс и поцеловали ей руку; Ольга и Татьяна сказали несколько слов в ответ на какие-то вопросы, заданные фрейлиной; они говорили по-французски и, хоть это было от меня на известном расстоянии, я впервые услыхала их голоса. Разговор велся очень тихо. Две-три минуты, и Алик, завернув кресло-каталку, увез фрейлину Орбелиани внутрь Екатерининского Дворца; там жилых помещений не было — значит, она откуда-то в этой коляске приехала, а Алик ее только встретил у входа в парк.

Ну, и еще было раз : Великая Княжна Анастасия (а она выглядела тогда еще совсем девочкой : волосы распущены на спине, на лбу челка) случайно под столом задела меня ногой, вся вспыхнула от такой неловкости и очень мило, обернувшись ко мне, произнесла по-французски: "Oh! je vous en prie, excusez-moi" , — на что я машинально ответила, не прибавляя "Ваше Высочество": "Oh! mais ce n'est vraiment rien".

Я знала, что Государыня иногда посещала Склад в Екатерининском Дворце, но уже прошло два месяца, как я туда ежедневно ходила. От того, что я ко всему там будто и привыкла, неестественное молчание не казалось более понятным, напротив, вопросы становились все навязчивее: почему с нами нельзя разговаривать? Ну, хотя бы о самых обычных вещах... Мне иногда хотелось поговорить об этом с кем-нибудь из окружающих меня барышень — а что им

кажется, нормально это так? Но никогда я на это не решилась и до сих пор жалею. Подчас мне казалось, что им тут что-то понятно, а мне вот нет... Словом, какая-то обида накоплялась, и, как я много позднее узнала, не у меня одной.

В этот день, который стал последним днем моего присутствия в Складе Екатерининского Дворца, знакомая девочка Катя (фамилию забыла) сообщила мне, что завтра Склад посетит Государыня, которая уж давно что-то не была... "Ну, а как же делать глубокий реверанс и целовать руку около стула? Это ведь не очень ловко." – "Да нет, сказала Катя, надо только немного отойти от стула, и отлично".

Я вернулась домой, и по дороге уж решение мое было твердо принято. Вечером, как только мама вернулась из своего лазарета, я зашла к ней в комнату и заявила, что завтра в Склад не пойду, так как будет Государыня, и мне придется целовать ей руку, а этого я делать не собираюсь, просто не стану... А после этого в Склад возвращаться уж будет мне неловко... Ну и поэтому я туда больше не пойду. Это было так неожиданно, что мама оторопела; она пыталась меня уговорить, а, главное, все задавала один вопрос : почему ? почему ? Я молчала, глядела исподлобья и, наконец, воскликнула : "Она немка!! Не хочу и не буду ей руку целовать!"

Была ли я такой уж патриоткой или же набралась революционных или социалистических мыслей ? Чтобы понять, надо вернуться в атмосферу тех дней, наполненную слухами, шепотом, сплетнями про "Гришку", про "Немку"... Ведь это всего за полгода до Февральской революции, когда, собственно, все уже было кончено, все было безвозвратно – но мы еще этого не знали, только ощущали себя на краю пропасти...

Княжне Путятиной мама послала записку, или позвонила по телефону, что я неожиданно заболела. А в середине августа мы уехали в Кисловодск, в санаторий Ганешина. Там было шумно, масса народа, множество богатых беженцев из Польши – там же жил В.Э. Гревс с Еленой Исаакиевной, там же мы тогда познакомились с кубанскими миллионщиками Николенко; в столовой за соседним столом сидели Станиславский, Лилина, Качалов, еще кто-то из столь же знаменитых артистов Художественного; словом, ярмарка житейской суеты кипела – веселая, забавная, с пикниками, с поездками в горы на тройках.

Когда вернулись в Петербург (ненавижу : Петроград, уж тогда бы лучше: Санкт-Питербурх!), я очень скоро попала на работу в другой склад, а именно в Мраморный Дворец, где жил Великий Князь Константин Константинович (поэт К. Р.) со своей многочисленной семьей.

Во главе этого склада стояла Наталия Ивановна Сергеева, жена русского посла в Швеции, потом в Сербии; она была дочерью министра финансов И.А. Вышнеградского (в царствование Алексан-

дра III) и принадлежала к семье Вышнеградских, которую мы все близко знали, и в которую входили семьи Софьи Ивановны Филипьевой и ее детей, и Варвары Ивановны Сафоновой, жены знаменитого в свое время дирижера и пианиста Василия Ильича Сафонова. Об этой семье стоило бы написать особо.

В Мраморном Дворце на Набережной все было иначс. В прелестной гостиной на втором этаже нас работало всего двенадцать девиц, а присматривала за нами сама Наталия Ивановна – дама строгая и тонная, и работали мы вовсю и по-настоящему : за одним столом готовились все те же перевязочные материалы но, конечно, бинты уж не катали руками – все делалось специальной машинкой; за другим столом упаковывали, весьма искусно и ловко пакеты-подарки, этому надо было поучиться. Никакого чая, увы, не разносили, и убегать ровно в пять часов никому в голову не приходило – сколько надо, столько и работай – война!

И вот как-то в декабре, когда Наталия Ивановна была в складе, дверь в комнату внезапно раскрылась и вбежала княгиня Елена Петровна – супруга князя Иоанна Константиновича и дочь покойного сербского короля Петра I (Карагеоргиевича), и сестра будущего короля югославского Александра. Она громко рыдала, ломала руки, и выкрикивала, обращаясь к Наталии Ивановне (которую, конечно, отлично знала, как жену русского посла в Белграде в начале войны) : ”Oh! Mon Dieu!... C’est fini! C’est fini! Il ne les a pas reçus, il n’a pas voulu... C’est la fin! C’est la fin! nous sommes perdus!” – и, упав головой на плечи Наталии Ивановны, совсем без удержу и без всякого стеснения залилась слезами, изредка отрывисто выговаривая: ”C’est atroce! C’est atroce!”

Все мы, двенадцать дев, стояли, окаменев. Наконец Наталия Ивановна опомнилась и рукой сделала нам знак – туда, мол, к двери, сказав тихо и без всякого волнения в голосе : ”Девочки, кончайте работу и уходите, уходите, до завтра”.

Дома с удивлением слушали мой рассказ, в чем дело ? Почему же так публично и драматично ? Через несколько дней поползли слухи о том, что Великие Князья Николай Михайлович, Павел Александрович и, кажется, Николай Николаевич написали письмо Государю, где указывали ему на общее недовольство в народе, на черную тень, которую бросил Распутин на царскую семью, особенно, на Государыню, и просили удалить ее из Царского и даже заточить в монастырь, а Распутина немедленно выслать домой в Сибирь. На следующий день они все явились в Александровский Дворец в Царском Селе, просили приема у Государя... и им было отвечено, что Государь не желает их видеть. Все это теперь давно и подробно известно. А в ночь на 17-ое декабря Распутин был убит... Настало время открытых осуждений вслух, пересудов, слухов, бесконечных версий уродливого, неуклюжего убийства в другом дворце – Юсуповском, на Мойке.

Вот в это смутное время, может быть в конце октября, незадолго до убийства Распутина, пришла к маме с визитом одна дама; она редко у нас бывала, хоть и была с нами если не в родстве, то в свойстве. Была она из маминой екатеринославской семьи Малама, тоже из обедневших, а не из богатеев, и замужем была за каким-то высокочиновным, к тому же и придворным мужем, а жили они очень скромно ; мать о них говорила : "Очень приличные люди и, к тому же, порядочные". Однако по придворной табели муж этой родственницы был впереди многих иных, считавшихся поважнее его, и она вечно бывала при Дворе.

У моей матери во время войны "приемых дней" не было, как раньше – вторая и четвертая среда в месяце; значит, дама позвонила по телефону и уговорилась : "на огонек" в Петербурге не приходили, тут была Европа!

А ее самое я отлично помню, видала ее у нас, когда сама была еще девочкой; она мало менялась – из тех женщин, что без возраста; носила обычно костюмы "tailleur" строгого цвета, зимой с черной муфточкой в руках и, хоть скромная, а очень изящная. Она пришла, и молодая горничная Марфуша, в те годы открывавшая посетителям двери, провела ее прямо к маме в маленькую гостиную, подала туда чай, и визит длился долго. А я где была ? Наверно, внизу, в своей комнате – однако я видела, как дама эта пришла, и даже с ней поздоровалась.

Когда дама ушла, мама пошла к себе и, позвав меня, сразу сказала : "Подумай только, что я сейчас узнала, но это, конечно, под секретом, а Мария Николаевна (пусть ее так звали) ужас как взволнована и огорчена". А оказалось вот что : в конце сентября 1916 г. княгиня Путятина перестала быть заведующей складом в Екатеринском Дворце – почему? Думаю, и даже почти уверена, что ее муж больше уж не был дворцовым комендантом, и они из Царского переехали в Петербург. Вот тогда пост заведующей складом и был предложен Марии Николаевне – она сразу согласилась и с рвением и большой радостью приняла эту работу.

Теперь и ей пришлось проводить два часа или час каждый день в той огромной комнате, где катали бинты, и то же тягостное молчание висело над всеми сидевшими вместе с Великими Княжнами. Но вот однажды, внезапно для самой себя, Мария Николаевна сама заговорила с Великой Княжной Ольгой – она задала ей тот вопрос, который был у всех на уме : "Ваше Высочество, верно, я не смею, да и не полагается мне, но ради Бога, ответьте мне, почему ни Вы, ни Ваши сестры никогда не заговорите с нами ?! Ведь мы все вас так любим, так были бы счастливы... Да Вы сами это знаете и чувствуете – почему же?!" – И не выдержав, разрыдалась. Великая Княжна ответила тоже с большим волнением, что и она сама, и сестры очень, очень хотели бы поговорить со всеми, познакомиться хоть немного, но... нельзя, им не позволяют. И добавила: "Это мама нам

запретила… Она так боится, что кто-нибудь что-то скажет нам. Ведь говорят, ходят такие ужасные сплетни, слухи… Все это может коснуться Алексея… А ведь его здоровье… Ведь это же все неправда, неправда!”

Что дальше было тут говорено ? Я пишу только то, что твердо помню, и вот эти слова как раз и помню. Бедная наша родственница была в отчаянии – она, всей душой преданная царской семье, буквально боготворившая Великих Княжен!.. Моя мать ее утешала и успокаивала, как могла, но была сама потрясена этим рассказом и несколько раз повторила : ”Что это все за ужас!”

Насколько я знаю, на следующий день Великие Княжны в склад работать уж не пришли, и еще через десять дней склад совсем был закрыт и перестал существовать.

25 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА

Мне не страшно. Я трамвай. Я привык
Осип Мандельштам *(Два трамвая)*

Вечером 25 октября 1917 г. я была в Петрограде и пошла вместе с моей родственницей Наталией Сергеевной Полевой слушать Шаляпина, выступавшего в Народном Доме. Шла опера Верди *Дон Карлос*, и хоть я Шаляпина уже и раньше слышала, бывала на его концертах, но в роли старого подагрического короля Филиппа никогда не видела. Эту оперу слышала я раз в жизни, именно в этот знаменательный вечер.

В Народном Доме я, кстати, тоже была впервые; моя мать, Вера Николаевна, была очень музыкальна сама и для дилетантки прекрасно играла на рояле; в нашем доме в 1912-1914 гг. бывали часто любительские музыкальные вечера – играли и трио, и квартеты, пели романсы, подчас участвовали и хорошие артисты. Моя мать любила Чайковского, Грига, Листа и уж после них Моцарта; о Генделе имела лишь смутное представление и, наверно, никогда не слыхала о том, что был в Англии некий Перселл; тогда старинная музыка вообще мало кому была известна или по вкусу. Самым великим композитором в мире она считала Вагнера; в России, особенно в Петербурге, вплоть до войны 1914 г., был целый "клан" вагнеристов; приезжали знаменитые немецкие дирижеры, и бывали концерты, посвященные исключительно Вагнеру; да и в Мариинском театре шли вагнеровские оперы в прекраснейшем исполнении; выпускались абонементы на вагнеровские циклы; словом, была целая вагнеровская мистика, и мне, воспитанной на общем увлечении Вагнером, казалось, что выше Вагнера ничего в музыке нет (да и вряд ли будет, как думали петербургские вагнеристы); ну, а уж потом есть Чайковский, и хватит нам такого музыкального багажа. Итальянскую оперу мы с сестрой почти не знали и говорили о Верди или Россини свысока; мы даже и Глинки по-настоящему не знали и сразу начинали русскую музыку (*après* Чайковский) с Римского-Корсакова, считали его благородным продолжателем дела и духа Вагнера. Мы бывали на концертах Зилоти, а потом Куцевицкого в Дворяном Собрании и, конечно, в Мариинском на вагнеровском цикле; знали не только музыку его опер, но и немецкий текст почти наизусть, и каждый выезд в Мариинский был для нас счастливым,

великолепным событием. А когда в 1914 г. поставили *Мейстерзингеров* в Мариинском театре, то уж вполне можно сказать, что это был "фестиваль", праздник – один из лучших спектаклей, который пришлось мне видеть.

Но воспоминания о музыке в Петербурге "серебряного века" не мне писать, это тема особая : расцвет искусства в России перед 1914 годом, расцвет музыкального вкуса и исполнительства тех лет. Почему-то об этом есть только отрывочные воспоминания. А ведь такие спектакли, как *Орфей* Глюка, как *Мейстерзингеры* Вагнера или как *Сказание о Граде Китеже* Римского-Корсакова следует наверно считать высшим достижением оперного творчества во всей довоенной Европе...

И вот, вечером 25 октября 1917 г. я впервые попала в Народный Дом, о котором у нас в семье знали, но никто там не бывал, а знали потому, что директором этого Дома был Николай Ник. Фигнер, который часто появлялся у нас в доме. В эпоху войны 1914 г. это был уже немолодой человек, очень представительный и красивый, с прекрасными манерами, скромными и незаметными, столь характерными для наших морских офицеров. А Ник. Ник. когда-то был морским офицером, потом ушел из флота и уехал в Милан учиться пению. Там женился на итальянке, тоже певице, которая с ним приехала в Петербург; я раза два ее видела – это Медея Фигнер, первая жена Фигнера*. Вот через него у нас и было известно о Народном Доме. Этот театр был построен и открыт около 1909-1910 гг., и назывался он, как мне кажется, "Народный Дом имени Государя Императора Николая II". Театр этот находился на "той" стороне Невы, где-то на Каменноостровском проспекте, недалеко за Дворцовым мостом, несколько в стороне. Это было громадное здание, довольно-таки уродливое (но днем я его так никогда и не видела); зал по сравнению с Мариинским театром был много больше, тысячи на две зрителей. Все, что было потом, после *Дона Карлоса*, так поразило меня, что сам театр, как нечто реальное, просто исчез из памяти. Остался лишь громадный зал и море лиц вокруг нас, меня и Наталии Сергеевны. Сама она, Н.С. Полевая, жила совсем где-то близко от Народного Дома, я жила в то время на Кирочной ул. 22, и мы встретились у входа в Народный Дом. Поехала я туда на трамвае, сев на Литейном проспекте. Маршрут трамвая шел по Литейному, потом заворачивал на Гагаринскую, и дальше – через Дворцовый мост на Каменный остров. Но я совсем не помню дорогу туда – верно, ничего особенного не было; пассажиры вели себя как обычно, никакого волнения нигде, ни в трамвае, ни около театра просто не замечалось; все было как обычно. Дома никаких особых обсуждений ожидавшегося выступления большевиков не

---

*) Тоже артистка Мариинского театра, как и сам Н.Н. Фигнер.

велось; об этом уж поговаривали не раз, но ничего такого не было. Ну, а что по ночам стреляли, что людей на улице иногда и раздевали – это уж казалось обыденно (впрочем, грабежи на улице тогда еще только начинались).

Несколько слов о Наталии Сергеевне Полевой : ей было тогда лет шестьдесят, была она хорошего роста, несколько полной, но вполне в меру; лицо приятное, светлые глаза под темными бровями, нос с горбинкой; причесана уже "по-новому", то есть волосы стриженые, но всегда аккуратно уложенные. Одевалась просто – нынче бы сказали спортивно. Больше полужизни она прожила за границей, во Франции и Италии. Ее судьба так сложилась, что она сошлась со своим родным дядей Блаватским; почему он не мог на ней жениться, не знаю: из-за близкого ли родства или, может быть, он не был разведен с первой женой ? Он умер, она вернулась в Петербург, жила очень скромно, но во всем своем поведении, мыслях, убеждениях была человеком европейским; была не глупа, приятна, работала воспитательницей, проще сказать классной дамой – "синявкой" – в Екатерининском институте для благородных девиц. У меня с ней были хорошие отношения. Иначе я бы ее не послушалась безоговорочно в тот вечер и могла бы наделать бед.

Мы сидели в первом ярусе, но на отличных местах, было хорошо видно и слышно; театр был набит до отказа. Все, конечно, было распродано. Думаю, что билеты на *Дона Карлоса* Наталия Сергеевна достала как-то через Екатерининский институт. Что осталось в памяти от этого спектакля ? Да кроме Шаляпина мало что. Описывать через столько лет, как пел и играл Шаляпин, дело трудное. Разве что повторять : ах, как чудесно! ах, как замечательно! Остались пластинки Шаляпина, некоторые из последних записей, сделанных в Париже, есть и много снимков в разных ролях. Но сценическое мастерство Шаляпина, его перевоплощение на сцене могут понять и помнить только те, кто его видел, а их почти уж нет. Но ведь такова судьба каждого артиста, как бы велик он ни был. Остается слава, которая живет еще много лет и, думаю, даже кино мало что переносит в будущее.

Спектакль протекал, как обычно : оркестр, хор, остальные артисты были тем необходимым фоном, на котором двигался старый, рыжеватый с сединой король, опираясь на палку и слегка приволакивая больную ногу. Публика, как всегда, когда на сцене появлялся Шаляпин, бешено аплодировала, кричала, истерические барышни на галерке визжали...

Кончался последний антракт, и занавес вот-вот должен был вновь подняться; был только слышен замирающий, утихающий говорок зрителей. И вдруг, свет в театре потух, и наступила полная темнота и... полная тишина. Потом последовал легкий всплеск говора, и опять все затихло. Прошло некоторое время, было все также абсолютно темно, даже из кулуаров или из-за занавеса не

показывалось нигде ни малейшего лучика. Стало страшно; я шепотом сказала Наталии Сергеевне : "Как долго, верно горит где-то?" За сценой стали изредка слышаться какие-то глухие удары. По толпе зрителей прокатилась волна шепота и замолкла. Стало опять совсем тихо, никто не шевелился; все зрители (а было их не меньше полуторы-двух тысяч) почему-то совсем ничего не говорили, никто не сделал первого движения встать с места. Паники не было, однако понемногу становилось нестерпимо.

Минут через пять (время потом было мною почти точно восстановлено, так что тут все именно так, как было) послышалось легкое движение занавеса, и на авансцену вышел голос. Голос сказал, при этом спокойно, как некое обычное сообщение дирекции : "Граждане, не волнуйтесь, у нас произошла небольшая поломка электрической установки. Но ничего страшного нет, наши техники сразу начали починку, и мы надеемся, что свет скоро будет восстановлен. В публике говорят, будто бы за сценой пожар... Ничего подобного нет, абсолютно ничего не горит, в чем дирекция вас и заверяет. Убедительно прошу сидеть спокойно и не покидать мест". Прошел по залу какой-то вздох, и ничем не нарушаемая тишина продолжалась. Все это длилось минут пятнадцать-двадцать. Как никто не побежал ? Как не началась вдруг стихийная паника? Когда прошло минут десять, я истерическим шепотом стала умолять Наталию Сергеевну: "Пойдем, убежим скорее, ради Бога уйдем. Je n'en peux plus! Нат. Серг., крепко схватив меня за руку, гневно зашептала: "Сиди, не смей даже двигаться, а то все погибнем". – "Что же это там за сценой стучат? – шептала я, – конечно пожар, и они что-то рубят". Наталия Сергеевна сжала мою руку изо всей силы: "Молчи, никуда не пущу, слушайся меня, поняла?" Вот тут мне помогло то, что со мной была опытная классная дама. Я завяла и умолкла; мало я тогда чего боялась, но вот темноты я с детства боялась ужасно, войти в темную комнату в нашей громадной квартире было для меня настоящей пыткой. И в данном случае испытание этой абсолютной тьмой было почти выше моих сил. Я почему-то зажмурила глаза и, совсем съежившись, сидела и только ждала: когда же, когда же наконец свет? Казалось, никогда это все не кончится, казалось немыслимым, что никто не нарушит эту вязкую тишину...

И вот, свет сразу, в секунду зажегся – так же внезапно, как потух. Оркестр стал настраивать инструменты, вышел и сел за пюпитр дирижер, занавес взвился – все вернулось к жизни, непонятный пожар кончился. По окончании спектакля взяли пальто с вешалки и вышли на улицу, и тут сразу – стрекот пулеметов... совершенно неожиданно, близко, настойчиво. Стреляли в разных местах, но скорее все же со стороны Невы, а я-то думала, что это что-то рубят за стеной, декорации может быть!

Наталия Сергеевна говорит : ”Идем ко мне ночевать, домой немыслимо теперь ехать”. Но я никак не хотела, говорила – нет, нет, надо скорее, скорее домой, а то, может, еще хуже станет.

Слева, с проспекта, неожиданно показался трамвай – а ведь думалось, что всякое уличное движение прекратилось. Я только крикнула: ”Ну, я домой!”, – бегом бросилась к остановке и уже почти на ходу вскочила в трамвай. Народу в трамвае было много, все сиденья (скамьи шли вдоль окон) были заняты, и я осталась стоять при входе, но уже внутри трамвая. Тут тоже царила абсолютная тишина, никто даже не переговаривался. Через минуту-две вскочил на ходу матрос Балтийского флота и, входя в трамвай, наступил мне на ногу – ужасно больно, и я невольно громко вскрикнула. Он вежливо отстранился и, извиняясь, произнес четко и по-лихому : ”Пардон-с, мадмазель-с”. Я лепетала в ответ : ”Да что вы, ничего, это ж не нарочно”. Маленькая пауза, и вдруг, пожилой грузный человек, сидевший в дальнем углу у самого выхода, сказал веско и внятно : ”Ага, пардону запросили! Подождите, еще не то с вами будет!”

Ехали быстро, матрос стоял рядом со мной, на ремне у него была винтовка, под курткой через плечо – пулеметная лента. Я отлично его помню : очень молодое, славное, даже красивое лицо. Да и того пожилого, который вроде бы за меня заступился. Трамвай набирал ходу перед подъемом на Дворцовый мост; и тут сразу в окно трамвая я увидела Зимний Дворец: много людей, рядами и кучками стояли юнкера, горели костры, несколько костров, и все было удивительно четко на фоне Дворцовой стены. Мне казалось, что я даже разглядела некоторые лица юнкеров; я ясно видела, что это не просто военные, а именно юнкера. Трамвай, взлетев на мост, вдруг внезапно пристопорил, мы даже покачнулись на месте от внезапного тормоза; казалось, что водитель решил от испуга поехать назад. Но еще одно мгновение – и трамвай дал сразу хода вперед и лихим аллюром съехал с моста на набережную; при спуске еще раз, как-то особенно четко и близко появились молодые лица у яркого ближнего костра; один юнкер чисто по-российски похлопывал себя руками, однако, вся их группа была неподвижна,будто волшебный фонарь...

Теперь уж катили вовсю, загромыхали при повороте на Гагаринскую, и сразу стало почти темно. Дальше только помню, как остановились уже на Литейном, водитель открыл дверь и крикнул: ”Сходите, трамвай идет в парк”.

Весь путь в трамвае царила все та же ни чем не нарушаемая тишина.

Я перешла на другой тротуар, к углу Кирочной, пассажиры из трамвая сразу куда-то исчезли, и я увидела, что я совсем одна. Недалеко где-то сильно стреляли. Надо было пройти не так уж много, всего двенадцать домов, но два с садом; вдоль домов шла быстро, никого на улице не было, было жутко одной, ночью, на пустой

улице. Мне еще ни разу не приходилось одной ночью оказаться на улице, хоть бы и на своей Кирочной. Шла все быстрее; внезапно вдоль улицы с грохотом просвистело шесть выстрелов. Это что ж, в меня стреляют? – Да никого другого и нет. Я не выдержала, и сколько было сил побежала, хотя сперва решила, что ни за что не побегу, что не надо показывать (кому собственно ?), что так страшно. Наконец добежала до дома : к счастью, вход во двор был открыт, и я влетела под своды дома. Черная лестница была тускло освещена, я пробежала восемь или десять ступенек до нашей квартиры, и мне сразу открыли. "Что это ты так поздно ? – недовольно сказала мне мама. – Опять что-то стреляют, лучше по вечерам не выходить, я же говорила..." – "А вы слыхали, как недавно ухнула пушка ?" – "Да нет, никакой пушки не слыхали, это тебе померещилось!"

Я понемногу успокоилась и потом отлично спала. С утра были, конечно, слухи: что и как, никто точно не знал. К вечеру однако уж узнали, что Керенский и Временное правительство сдались и что новая власть... Что ж, говорили знакомые, это не надолго, да и кто они?

Вот этого никто тогда не знал, никто не понимал, что это как раз надолго и что паук начал плести незаметную как будто сперва паутину. Кто в нашем доме или среди наших друзей и знакомых знал тогда, кто такой Ленин, кто такие большевики, какая у них программа ? Думаю, что почти никто. Ведь страшнее всех казались тогда эсэры – их осуждали, кляли. В нашем доме, где вообще политикой мало кто интересовался по-настоящему, даже кадетская партия считалась пределом дозволенного. Иначе как : "Ну, этот, Милюков, ну, этот, Гучков" – никто не говорил. А были ли "верноподанные" чувства ? Их, пожалуй, тоже не было.

Сейчас я просто удивляюсь, вспоминая ту легкую, безумную беспечность, с которой русское общество приняло и революцию в феврале, и большевистский *coup d'état* в октябре. Знал ли хоть кто-нибудь в тот момент, что случилось ? Ведь еще можно было от всего спастись. Неужели поколение до нас – люди, создавшие феноменальный расцвет России начиная с 90-х годов девятнадцатого столетия и бурный подъем всей жизни в стране сразу после тяжелого 1905 г. (вот тогда и была, собственно, настоящая революция!), – неужели и они были так легкомысленны, так неосведомлены ? Ведь градоначальник города Санкт-Петербурга не мог не знать, что некий Джугашвили ездит с Кавказа в Питер и спокойно живет в семье рабочего Аллилуева...

Про день октябрьского переворота много написано, а о той горе лжи, которая за долгие годы навалена на это страшное по своей краткости и простоте событие, и говорить нечего. Да и я ведь, в общем, забавно и легко прожила этот октябрьский вечер шестьдесят лет тому назад.

* * *

Как-то в мае-июне 1918 г. пришлось мне увидеть на Невском примечательную пару : она была одной из самых красивых молодых женщин того времени в Петрограде – на нее обернулся бы всякий, даже если бы она была скромно одета. Но одета она была ярко, богато, почти вызывающе – было на ней легкое пальто броского розовато-персикового цвета с громадным круглым воротником белого пушистого меха, из-под белой шапочки выбивались легкие светлые волосы, на шее ожерелье из крупных жемчужин, руки в кольцах.

А он? Он был матрос, несколько ниже ее ростом, широко раскрытая грудь и тельняшка, застегнутая не одной, а несколькими подряд брошками, на руках кольца и несколько браслетов. Крепкий, но не коренастый, я бы сказала могучий, с нахально-самодовольным лицом. Они шли не спеша под ярким весенним солнцем – гуляли по Невскому и казались всем довольными. Прохожие, а их было в этот чудный день много, останавливались, оборачиваясь на этих будто "костюмированных" двух молодых людей, которые не боялись пройтись среди серой, обнищавшей толпы, чтобы хвастнуть перед всем народом богатством и изобилием ювелирных изделий, которые попали им в руки. Этот матрос был тогда широко известен в Петрограде, его фотографии появлялись в газетах, а она?.. Я ее сразу узнала, хотя и не была с ней лично знакома. Ее отец командовал одним из самых шикарных царскосельских полков, и до революции они жили постоянно в Царском Селе и были "в милости".

Мне позже сказали, что у матроса и его спутницы был ларек на какой-то толкучке, где они и торговали золотыми вещами.

Примечание:

Театр действительно назывался "Народный Дом имени Государя Императора Николая II". Я это узнала у двух старых петербуржцев. Он, будто, был в ведении "Общества Трезвости", в нем было два зала : один большой, что-то на 1800 мест, и где давались оперные спектакли – места были очень недорогими.

Был и второй зал, много меньше, где шли детские спектакли, вроде феерий, шли произведения Жюля Верна. Театр был окружен красивым зеленым сквером; улица – Кронверкский проспект. В этом помещении позже был театр "Музыкальная Драма", а теперь, уж многие годы кинотеатр "Великан".

ПОБЕГ

В декабре 1919 г. я, в группе из пяти человек, перешла в Финляндию по льду через финский залив. Шансов погибнуть было очень много, точнее, было мало шансов благополучно дойти. На этом маршруте многие утонули или замерзли, иные были тяжело ранены финской береговой охраной, попали в руки Красной Армии и были расстреляны.

Шла война, фронт проходил недалеко от Белоострова, спускаться на лед надо было близко от линии окопов, так как тут был шанс не быть замеченным (вдоль всего берега шныряли пограничники с собаками).

В августе за мной прибежал близкий друг моего beau-frère, Николай Васильевич Змиев: скорей-скорей к Анне Алекс. В-т, там сейчас находится официальный проводник финского правительства, он согласен взять от меня письмо к моему отцу. Я, не раздумывая, туда побежала – страшно торопилась, чтобы финн не ушел. Но он меня ждал, и я тут же села написать несколько слов. Волновалась невозможно: все было так неожиданно, было страшно встретиться с финским эмиссаром, да еще при свидетелях, хоть и достойных полного доверия. Да и жизнь в это время стала вдруг почти непереносимой, резко наступил страшный голод, никакого топлива не было. Казалось, что вот так и погибнут все от цинги, а то и просто от голода... Террор для людей юных еще не был явно ощутим. Ведь это было еще до наступления Юденича... Вернувшись домой, я просто не могла вспомнить, что же я написала: кажется, что-то отчаянное. Финн (его звали Содер или Содерер) быстро ушел, и мое письмо с адресом: А.П. Мещерскому, Финляндия, пошло с ним по пути, которого я уже не знала. Но теперь я уже не могла остановить события.

В начале октября Содер вдруг появился уже у меня на квартире и сказал, что приехал на лодке, лодку оставил в камышах около Ораниенбаума, и вот через два дня самое позднее мы едем с ним. "Ну, а как же добраться до Ораниенбаума?" На этот вопрос он ответил (с сильным финским акцентом и ломаным языком): "Это уж, как хотите". Я долго ему доказывала, что ноль шансов на удачу, по дороге к Ораниенбауму десять проверок в поезде, да до лодки ведь тоже надо добраться. Но он ушел, быстро сказав: "Послезавтра едем".

Я решила переждать и, верно, не решилась бы ехать на поиски этой лодки в камышах... Но ехать в Ораниенбаум так и не пришлось. Содер больше не появился. Мы его ждали еще несколько дней, но вскоре началось знаменитое (или злополучное?) наступление Юденича, и вся жизнь сосредоточилась на этом событии, на сумасшедших новостях, заявлениях правительства, самых диких слухах, на страхе, на несбывшихся надеждах освобождения – острые донельзя дни – вверх, вниз... вот-вот..: Потом – провал, страх еще пуще прежнего и, наконец, небывалая по цинизму карательная акция, методично и аккуратно проведенная в жизнь латышом Петерсом. Наступление докатилось вплоть до Нарвской заставы, белые на некоторых улицах залегали на одном тротуаре, а остатки красных – на другом. Город был оставлен командованием и целых 24 часа (если не больше) был предоставлен самому себе; потом, когда белые внезапно, не дав ни одного выстрела, откатились и, все быстрее набирая ходу, – скорей, скорей – вернулись в Эстонию, а Троцкий победителем вернулся – вот тут стало ясно, что больше надежды нет; был момент, когда надо было дать первый встречный выстрел в городе, но никто его не дал, хотя у Петроградских жителей оставалось еще немало оружия, и в душе многие только и ждали этого выстрела.

Теперь стало ясно, что все это всерьез. Наступила страшная, холодная, голодная зима 1919-1920 г., которой все так опасались, и... Так вот стало ясно: если можно убежать, то делать это надо теперь же, не задумываясь.

* * *

"... нет, не гони меня туда,
в скучное царство мертвых..."

Наша группа двинулась в путь 16 или 19 декабря 1919 г. Финский ходок наш, Содер, вновь появился приблизительно через неделю после окончательного отступления Юденича. Его было трудно узнать – не человек, а привидение. Оказалось, что через несколько минут после того, как он от нас вышел, его арестовали на улице и повезли в тюрьму на Шпалерную; записку с моим адресом он успел сжевать и проглотить. Его судили – кажется, военный трибунал – и приговорили к расстрелу, как известного шпиона. Но началось наступление Юденича; тут, видно, было не до него, и вот он целых пять-шесть

недель просидел на Шпалерной в ожидании расстрела, не получив ни от кого ни разу передачи; человек он был крепкий, никого не назвал и не выдал, и в тюрьме буквально умирал от голода.

Когда над Юденичем была одержана окончательная победа и когда армия его распылилась (многие погибли потом в Эстонии), случилось событие, которое, по-моему, больше уже за следующие 50 лет не повторялось : на радостях в Петрограде была объявлена амнистия разного рода преступникам, и Содер, официальный ходок Финского правительства, осужденный за шпионаж к расстрелу, получил помилование. Я сама видела справку, которую он получил при выходе из тюрьмы и которая была единственным оставшимся у него документом и видом на жительство – справка о том, что А. Содер, финский гражданин, приговоренный к расстрелу (тогда-то) в виду амнистии (такого-то числа и года) получил помилование и выпущен из заключения.

Не помню, к сожалению, чья подпись стояла под этой справкой, но думаю, что начальника тюрьмы.

Что у меня было в тот вечер в самом конце ноября, когда Содер у нас вновь появился? Да почти ничего – кажется, немного липкого черного хлеба и какое-то "пойло" – не то чай, не то кофе. Но он был в таком состоянии, что и есть-то ничего не мог, а только просил что-нибудь выпить горячее, чтобы согреться. Я его спросила : "Что же теперь ? " Ведь никакой лодки уж давно в камышах не было: ее захватили через несколько часов после прибытия Содера в Ораниенбаум, а за ним самим почти сразу началась в городе слежка. Но ведь это еще были времена кустарщины. Тяжелый, беспощадный аппарат государственного террора еще только набирал силы, сеть еще далеко не была связана, и сквозь недостающие петли еще была возможность выбраться.

Содер сказал, что, как только окончательно замерзнет залив – пойдем по льду, что он знает, как пройти между фортами, и что надо готовиться – достать теплые валенки на толстых подошвах и белые халаты, чтобы на снегу нас не было видно.

Следует сделать небольшое отступление для того, чтобы эту главу можно было написать на некотором социально-семейном фоне. Покидая тогда Россию, я знала отлично, что возврата не будет; ну, пожалуй, сильнее всего было желание выжить, не поддаться гибели от голода и цинги; я знала, что если останусь, мне надо будет обязательно чем-то поступиться и вступить в ряды "служащих", тех, кто получал жалкий паек: то капусту, то мерзлую картошку, то пшено, и даже иногда селедку. Мы еще пока жили вне этого замкнутого круга и каждодневно с новой властью не встречались. Еще была у нас прислуга – немного, одна-две оставшиеся, так как не представляли себе, что и им придется от нас уйти, чтобы прожить. У меня жила тогда верная и добрейшая полька Сусанна, старая дева лет 50-ти, очень набожная и неграмотная, на которую я абсолютно во

всем могла положиться. Каждое утро она шла к мессе в церковь св. Екатерины на Невском, а потом уж пыталась найти что-то съедобное – получала паек липкого черного хлеба в лавке, шла на рынок на Бассейную улицу, где до весны 1919 г. еще что-то бывало. Она же доставала где-то дровишки для "буржуйки", стоявшей на кухне. Все чаще были дни, когда и эту печурку нечем было топить; холод и сырость в доме были тяжелее вечного ощущения голода, разговоры тогда шли только о еде, о вкусных блюдах (особенно у людей постарше, им было много тяжелее, чем нам – я говорю о поколении, которому в то время было от 18 до 25 лет). Всюду дома стояли с заколоченными парадными; когда входили на черную лестницу, частенько почти темную, – сразу ударял острый запах гнилой кислой капусты и смрада от масла какао (??), на котором жарили лепешки из моркови или из шелухи. Отделаться от этого запаха, сопровождавшего тогда всю жизнь, я, попав за границу, очень не скоро смогла; он годами меня преследовал и ярко возникал, как только заходил разговор о Петрограде. Многие знакомые и родные уехали, бежали еще в 1918 г.; моя старшая сестра Наталия Алексеевна с мужем уехали на Украину, переодевшись под чету рабочих; с ними уехала личная горничная сестры – Эмилия, сестра нашей последней кухарки-латышки, имевшей диплом *cordon bleu*, – не знаю уж, как это называлось по-русски, такой поварской титул. Сестра с мужем попали в Полтаву, они проделали всю эпопею Деникинской Армии и весной 1919 г. эвакуировались в Константинополь на пароходе *"Св. Николай"*. Потом, позже, когда мы снова свиделись уже в Югославии, сестра мне подробно рассказывала про сражение в Полтаве, когда она с Эмилией ходила по улицам Полтавы и смотрела в лицо каждого убитого офицера на улице, разыскивая мужа. Дальше весь путь с разными этапами до Новороссийска, все почти в теплушках, часто под обстрелом, и тиф, тиф, который косил людей. Так в течение одной недели погибло трое человек из дружеской нам всем семьи Ник. Ник. Лялина, который, кажется, был командиром Л. Гв. Саперного батальона, где все годы прослужил муж сестры. Сперва в теплушке от тифа скончалась милейшая Анна Константиновна Лялина (дочь Вел. Князя Конст. Конст. – старшая от его морганатического брака с бывшей балериной Мариинского театра), через два дня умер сам Лялин и потом старшая из детей, Ирина – ей было 16 лет. Моя сестра с мужем их всех по очереди хоронили где-то по пути, в неведомой мне станице. Это была одна из милейших семей среди петербургских наших друзей, красивые все, высокие, с отличными простыми манерами, всегда ровные, приветливые; он – страстный любитель музыки, посещавший, как и моя мать, все лучшие концерты. Помню, как он приходил к маме на ее *"журфиксы"* часам к пяти, в отлично сшитом мундире, в великолепно начищенных мягких сапогах, удобно садился, с шашкой, которую удивительно ловко и незаметно придерживал рукой, облитой белой

замшевой перчаткой, и сразу же сообщал всем восторженным полушепотом: "Вера Николаевна, божественный скоро будет", — все знали, что он говорит про дирижера Никиша, который был особенно любим петербургскими меломанами.

Кто мог думать, что очень скоро они все вот так бесславно погибнут на путях отступления Белой Армии (ведь никто не знал, не мог знать, что скоро, через несколько лет, будут армии "Белая" и "Красная", и что в русских степях русские люди будут безжалостно друг друга убивать и преследовать.

Уйти, бежать без оглядки, спастись от уродливой, вонючей жизни, от страха, который теперь цепко всех забрал, жить без обысков, без этого жуткого чувства полной обреченности, который охватил осенью 1919 г. весь чудный умиравший столичный город.

Время перед "уходом через лед" было наполнено всякими заботами, приготовлениями, и надо было, чтобы никто об этом не узнал; конечно, близкий круг людей был в курсе всего, тогда еще не было мысли о полной секретности, и казалось нормальным, что свои люди — никто не пойдет и не "стукнет" (впрочем, такого выражения тогда еще не было в ходу).

Был найден некий среднего возраста человек с базара на Бассейной, который брал заказы на валенки; он приходил на дом, снимал мерку и все же несколько поразился, когда я его попросила сделать тройные подошвы. "На что ж вам, однако, такие валенки, у них ведь будет не совсем обычный вид ?!" — сказал он. Я промолчала, но он сказал : "Что ж, все понятно, не беспокойтесь, валенки будут отличные"... И действительно, они были очень хороши, белоснежные, ловкие, и я себе в них очень нравилась.

Через несколько дней после того, как вновь появился Содер, мы решили продать бобровую шубу моего отца — совсем новенькую, никогда не надеванную. Странно, но она очень быстро и легко продалась — кому были нужны тогда бобры и шуба от лучшего петербургского портного? Но кто-то (не знаю сейчас кто) взял это дело на себя, и в течение двух недель было велено Сусанне доставать мясо и масло, чтобы немножко подкормиться и окрепнуть перед нелегким путем. Тогда еще была жива моя чудная собака Мотя, маленький бульдог французской породы — вся тигровая, с белым жилетом и глазами доброго негра. Мы друг друга обожали — я ее взяла четырехмесячным щенком еще осенью 1918 г., когда мало уж кто соглашался взять собаку. Она не только беспрекословно меня слушалась, легко выучила всякие фокусы и штуки, но буквально понимала все без слов (хотя их много знала) — настроения, черные мысли, а их тогда было у меня много. Но весной 1919 г. она начала хиреть от плохой пищи, ведь она была царских кровей, и голода и холода выдержать не смогла. За три дня до нашего ухода я с утра попросила Сусанну отнести собаку ветеринару для усыпления. Мотя сидела на ледяной

кухне перед пустой "буржуйкой" и дрожала мелкой дрожью. Сусанна надела платок, взяла на руку корзину; я подошла к Моте и сказала ей: "Что ж, Мотя, прощай!" Она посмотрела на меня, медленно повернула ко мне голову, даже хвостом не мотнула в ответ на голос и... у нее из глаз полились слезы. Выдумка? Нет. Сусанна тоже это видела и сказала мне: "Видно, знает, куда я ее несу, ведь не скроешь". И она унесла Мотю. Тогда, тут же не кухне, я дала... да перед кем? перед собой, скорее всего, клятвенное обещание никогда больше не иметь собаки, чтобы не изменить мотиной прелестной памяти, и теперь, в 1977 г., могу твердо сказать, что этот зарок я сдержала. Сколько мне предлагали всяких щенят, породистых или дворняг — никогда не согласилась получить нового четвероногого друга, после того, как Мотю свою не сумела сохранить.

Приблизительно за неделю до возможного отбытия я пошла как-то утром гулять по набережной до Летнего сада и назад по Гагаринской, чтобы навеки попрощаться с этим особенно любимым маршрутом. Меня вдруг обогнал человек лет 40, хорошо одетый, в черной барашковой шапке и отличном осеннем пальто и, обгоняя, спросил: "Ниночка, вы ли это?" — и я, хотя и не сразу, но узнала секретаря моего отца (насколько помню, по правлению Общества строения сельскохозяйственных машин "Работник") — Всев. Влад. Захарова. "Как живете?" — продолжал он. Не знаю почему, я, почти не зная его, сразу ему сказала : "Да вот, не позже чем через неделю, как только лед на заливе станет, хотим перебраться в Финляндию, за мной прислали оттуда ходока". После некоторого молчания Захаров сказал: "Что ж, если возьмете меня с собой, и я с вами". Так вышло, что он, довольно удачно для себя, стал пятым в нашей группе. Много позже я задавала себе вопрос: случайно ли? Но всегда ответ у меня был тот же: да, конечно, случайно. Захаров сыграл немалую роль в организации нашего похода по льду: он сразу же поехал на разведку по Финляндской железной дороге, узнал конечную станцию, до которой разрешено было ехать, зарисовал план берега в этом месте, лес, нашел удобный пункт для спуска на лед (которого, кстати, так все еще и не было — после сильного раннего мороза наступила оттепель, все раскисло, и следовало бы подождать). Было и несколько совещаний у нас с Содером и Захаровым : страшный для всех нас вопрос о прохождении между фортами, а их, если верно помню, было не то шесть, не то семь, казался неразрешимым. Говорили также, что во многих местах подо льдом заложены мины, и был последний маршрутный вопрос, очень страшный — как бы не сбиться с пути по льду, где никаких ориентиров нет, и не попасть в тот же... пресловутый Ораниенбаум (как это, кстати, с группой таких же ходоков, как мы, вскоре и случилось). Но Содер успокаивал и говорил, что всю дорогу отлично знает, много раз ходил.

Стало снова холодать, но морозы были легкие, и 19 декабря 1919 г. мы по заранее разработанному плану двинулись в путь.

Я была в состоянии полного равнодушия, даже не совсем естественного: глупо ухмылялась, держала себя холодно и даже отчужденно от всех и от всего.

Когда я перешла порог квартиры из кухни на черный ход, в ушах на всю жизнь остались причитания Сусанны, которая вслух рыдала обо мне, как плачут о ком-то, наверняка идущем на смерть — но он, глупый, этого не знает.

Кто был в нашей группе? Об этом совсем кратко. Ну, конечно, финн Содер, тяжело больной голодным тифом, с температурой около 41°, только всех понукавший — "скорей, скорей!"; наверно, его "вид на жительство" очень скоро вновь привел бы его на Шпалерную — с такой бумажкой долго не проживешь.

Затем англичанка миссис Эллан, богатая и полная дама лет 50-ти, тоже очень плохо говорившая по-русски. Содер имел официальное поручение и ее тоже привезти в Финляндию; она держала себя скромно, приятно, звала меня только *"child"*, была, в общем, молодец. Тяжелый путь (40-45 км за ночь) она прошла бодро, без жалоб, мы даже голоса ее почти не слышали.

Дальше — В.В. Захаров, ему было лет 40, человек громадной физической силы, большой амбиции, мог сделать большую карьеру в новом буржуазно-промышленном обществе, которое бурно развивалось перед революцией 1917 г. Попав в эмиграцию, жил с трудом, стал клубным игроком — оставшись в России, наверное погиб бы (если бы, конечно, не вступил в партию и не стал работником "аппарата").

И затем я и мой первый муж Ник. Ив. Левицкий. О нем не собираюсь много вспоминать... Наша совместная жизнь была краткой (около 4-х лет), неудачной во всех отношениях, даже вроде и просветов никогда не бывало. А потому следует забыть, вычеркнуть этот ненужный брак, засыпать пеплом все, что между нами случалось в жизни.

Мы ехали на Финлядский вокзал трамваем, все врозь; когда переезжали Охтинский мост, я увидела, что никакого льда на Неве нет, так, плавает "сало".

Сели в поезд (около 5-ти часов вечера) дачного типа, шедший до Белоострова. Сидели порознь в двух вагонах; в моем вагоне ехал Захаров и в тамбуре стоял Содер, остальные двое — в соседнем вагоне. Сперва было пусто, мало кто ехал в сторону финского фронта, но вот в вагон вошла большая группа молодежи, все в защитных шинелях и шапках с красными звездами, в руках — у кого лопата, у кого кирка. Всем было лет от 18 до 20, может быть чуть больше. Во главе их — мужчина лет 30-ти, получше одетый, тоже в полувоенном, русский, с приятным, открытым лицом. Поезд тронулся, но я даже этого и не заметила. Пока ехали — около часа, этот возглавитель поучал громко и внушительно о пользе и необходимости проводить воскресники, все время ссылаясь на слова товарища Ленина.

Вся эта молодая группа – человек 15-20 – внимательно слушала и, к счастью (моему), смотрели не отрывая глаз на говорившего : никто из них просто не обратил внимания ни на меня, ни на Захарова. Однако мой внешний вид мог бы их всех заставить задуматься : на мне была меховая шуба из настоящего котика (первая и последняя ценная одежда в моей жизни), на голове была чудесная белая горностаевая шапочка, отделанная плоским мотивом из редкого черного меха "брейтшванц", на руках белые вязаные отличные перчатки и на ногах пресловутые белоснежные валенки с тремя подошвами. Захаров как пассажир мог бы, конечно, остаться незамеченным, но... все время, пока мы ехали до станции Горской, где мы все вышли, он делал вид, что читает *"Правду"*, но, сам того не замечая, держал ее вверх ногами.

Словом, никто на нас не обратил внимания – тогда ведь еще были люди, которые поневоле донашивали прежние дорогие вещи; может быть, соседи по вагону думали, что я еду провести воскресенье на дачу.

Как было условлено, мы, выйдя из поезда, пошли в разные стороны и должны были встретиться у берега не сразу, а когда стемнеет. Погуляв вдоль леса, я почувствовала, что заблудилась, но раздался свист – оказалось, что это Захаров за мной следил и, увидав, что я иду в противоположную сторону, дал мне понять, куда идти.

Когда уже совсем стемнело, сошлись все пятеро вместе и спустились к берегу залива; было около половины восьмого; окопы оказались совсем рядом, слышно было, как солдаты говорили, смеялись... Мы надели белые купальные халаты с капюшонами – их было не так легко напялить на шубы, потом связались все толстой веревкой в сантиметр толщиной, а мне дали в руку альпийскую палку, которая до этого была в руках у Содера. Все почти без слов, даже без шепота. У каждого было в кармане по коробке спичек и пакет терпкого нюхательного табаку, чтобы бросать в глаза тем, кто начал бы нас хватать – сейчас кажется, что это из каких-то детских чтений, из приключений Ната Пинкертона. Никаких денег ни у кого не было, а у меня в правом кармане шубы был тибетский черный каменный божок, подарок моего кузена Всевы Богданова (я клятвенно обещала, никогда и ни при каких обстоятельствах его не покидать, он и сейчас у меня). На шее была ладанка с простой иконкой Божьей Матери, висевшей с детства над моей кроватью, и еще небольшой мешочек-ладанка с весьма скромным количеством золотых вещей.

Мне выпало первой с палкой в руках спуститься на лед с довольно крутого берега, метра полтора вниз. Я сразу провалилась в воду по пояс. Меня вытащили, благодаря шубе и валенкам я почти не вымокла. Через несколько минут спустились несколько подальше, и тут можно было стоять; я сразу пошла вперед по направлению к какому-то дальнему островку. Долгое время я шла впереди,

привязанная веревкой к остальным; я тогда весила немного (очень похудела), а мои валенки облегчали устойчивость даже на самом хрупком льду.

Было светло от снега, все было видно, хотя потом постепенно становилось туманно. Мороз был небольшой, минус 5-7 градусов. Вскоре идти стало трудно, на пути встречались все чаще глыбы льда и снега; мне первой приходилось вскарабкиваться и потом прыгать прямо вниз на темный "пол", и казалось часто, что это просто вода. Однако это был лед, очень тонкий, местами не толще сантиметра; а зловещий треск, раздававшийся подчас за нами, указывал на то, что вода замерзла недавно и чуть-чуть. Так, с небольшими остановками, шли и карабкались мы часа три и начали уставать. Поднялась поземка, и мы начали волноваться – куда же мы, собственно, держим путь? Содер успокаивал, говоря : "Все правильно, это форт, обойдем его и скоро будет Финляндия". Тот огонек, что сперва был виден, становился все ярче, были, правда, огни и справа от нас... Ледяная поверхность казалась бескрайной. Но внезапно я споткнулась обо что-то и упала; оказалось – толстый кабель. Что же это? Мы остановились в полной панике. Я, пройдя еще несколько шагов, увидела перед собой уличный фонарь, улицу, услышала голоса – мы были в нескольких шагах от Кронштадта.

Стояли в ужасе, оцепенев, как вкопанные; береговая охрана Кронштадта, конечно, услыхала, как в тишине трещал свежий наст под нашими ногами, и нас начали нащупывать двумя мощными прожекторами – от них становилось светлее, чем днем.

Содер сказал : "Когда еще зажгут, оставайтесь без единого движения, так, чтобы даже тень не двигалась, как бы ни было трудно". Вот и длилось, сколько – не помню : то зажигали прожектора примерно на 20 минут, потом темнота, потом опять. В период темноты мы все же шли, старались потише, назад, подальше от фонарей и голосов; потом опят зажгут -- без движения, почти без дыхания в этом театральном освещении.

Тут уж страха не чувствовалось, не до этого было. Но всему наступает конец, и после четырех или пяти поисков матросы, не обнаружив нас, очевидно пошли спать. Когда стало ясно, что теперь нас оставили в покое, мы сели на лед передохнуть. Шепотом советовались : в какую же теперь сторону ? Финляндия где-то справа от Кронштадта, но под каким углом ? К счастью, был у нас отличный компас; чиркали спичкой, закрывая огонек рукавом халата... Компас упрямо показывал запад не там, где нам казалось. Решили идти так : по компасу, час на запад, час на север, боялись утонуть в открытом море или просто вернуться к окопам Горской. Делали короткие привалы, по две-три минуты; ледяные нагромождения на нашем пути скоро кончились, и по гладкому ровному льду мы почти бежали... Часов около трех ночи я после привала отказалась встать, твердя : "Оставьте меня поспать, хоть двадцать минут, не могу и не

хочу больше никуда идти". Спас меня все тот же Захаров : он молча ко мне подошел и два раза со всего размаха ударил меня по щекам, крича громким шепотом на "ты": "Иди сейчас же и не дури. Я тебе покажу, устала". — "Как вы смеете мне говорить "ты" — я дрожала от негодования, но он сказал: "А хочешь еще? Я тебя еще не так побью". И я побежала почти бегом, и этим темпом шла впереди всех, ни на минуту не останавливаясь, и ни усталости, ни страха уж не было, а только — скорее, скорее...

К девяти утра совсем рассвело, и внезапно из тумана вылез берег, сосны, красная деревянная избушка. Как же узнать, где мы? Кто же решится вскарабкаться на берег? Стояли несколько минут. Тогда я обратилась к Содеру: "Это вы должны узнать, где мы, вы говорили, что знаете дорогу, а мы плутаем уже двенадцать часов, светло, и нас могут заметить. Вы теперь пойдите и узнайте, где мы". Он поежился, но ответил своим финским голосом : "Все правильно, ждите". Через минуту мы услыхали его радостный крик : "Идите! Финляндия!"

В избушке жил безногий с женой, по-русски он не говорил. Но теперь все быстро завертелось. Через час за нами приехали военные на санях и повезли за 10 километров в Териоки, где нас допросили (Содер тут был необходим и полезен), и вскоре, часов в 12 дня, мы уже были в просторной даче на берегу моря — в ней был карантин, и тут нам пришлось прожить целых две недели.

Кроме Ник. Вас. Змиева, который помог мне покинуть Петроград, был, как потом оказалось, еще один человек, который сыграл немалую роль, когда Содер взял мое письмо к отцу куда-то "за границу". На вопрос Содера, каков адрес, я тогда ответила: "Просто А.П. Мещерскому, Европа. В Финляндии знают, где он". Вот это коротенькое и совсем отчаянное письмо Содер в Гельсингфорсе передал Председателю русского комитета, Александру Ник. Фену. Тот решил письмо оставить у себя и телеграфировал моему отцу в Лондон, прося дать ответ как можно скорее; он, видимо, понял, что положение у меня отчаянное. Ответ из Лондона пришел быстро, и таким образом в следующий рейс Содер уж был послан за мной (это стоило больших денег — посылка такого ходока за кем-то в Петроград), так что весь этот первый этап был решительно проведен в жизнь и осуществлен благодаря А.Н. Фену. Мой отец тоже ушел в Финляндию (но по лесу около Белоострова) еще осенью 1918 г., несколько месяцев жил под Гельсингфорсом, и Фену хорошо его знал.

Теперь, когда мы очутились в карантине, все сразу переменилось, и сперва было трудно разобраться, что к чему. Там были еще другие люди, совсем незнакомые, было тепло, чисто, можно было заказывать обед очень милой молодой даме — обед получше, но, конечно, в карантине кормили даром. У меня сразу появились деньги: пришел в карантин инженер Данилевский, хорошо знавший отца, и дал мне порядочную сумму, кажется, около 3000 финск.

крон. Но я не могла есть, при виде масла меня тошнило, спать тоже почти не могла; мысль, что я навеки покинула Петроград, с каждым днем все больше меня мучила: как я могла? В течение многих лет я потом часто видела один и тот же сон: вот Кирочная, вот наш дом, все отлично, все на месте. Во сне думаю – надо пойти к Лыжиным, что они? (Лыжины жили через дом от нас, в доме № 18, принадлежавшем баронессе Варв. Ив. Икскуль фон Гильдебранд); выхожу радостно на улицу, все такое знакомое, и вдруг отчетливый мужской голос мне говорит: "Лыжины? Да их давно нет, они ведь в Финляндии".

... Из карантина вышли под Новый год, и, купив какое-то жуткое пойло в аптеке (в Финляндии уже был тогда сухой закон), встречали 1920 год в скромной Териокской гостинице. Потом все завертелось быстро и не без неприятных сюрпризов. Пришел молодой человек, териокский житель, из балтийцев, который нас знал, и предупредил, что нас ждет... высылка назад... через фронт Эльвенгрена! Что это? Ерунда какая-то! Нет, нет, в Териоках точно есть Русский комитет и он всех проверяет. Но что же нас-то проверять? Ведь за мной был официально послан ходок, значит, знают, кто я... На следующий день я пошла на прием в комитет; там был рыжий адмирал Бострем со щетинистым каменым лицом; на мои вопросы он сказал, что, как говорят, я не дочь Алексея Павловича Мещерского, а дочь его старшего брата Александра Павловича. У меня, конечно, не было с собой никаких бумаг, доказать документально это было невозможно, толковали недолго и я ушла совсем озадаченная. Кому надо было придумывать это все? Через два дня, ужасно волнуясь и сердясь, я еще раз пошла, так как разрешение выехать в Выборг нам так и не давали, и становилось неуютно. На втором свидании с Бостремом я держала себя много решительнее и смелее и, уходя, сказала ему: "Я легко могу доказать, что я чья-то дочь, но что я не чья-то дочь доказать не могу". И вот тут вступил опять Фену, позвонил сам из Гельсингфорса Бострему и сказал ему, чтобы тот умилостивился, и что он ручается за меня и знает, кто я и чья дочь. Через два дня мы уже были в Выборге, а еще через неделю – в Гельсингфорсе. Там наш первый визит был к А.Н. Фену – ведь он меня два раза спас.

В Гельсингфорсе, который ужасно мне понравился, больше недели оставаться было нельзя, и мы попали в пригородную санаторию Мункснесс, очень приятную и нарядную; там жили только русские, у многих тогда еще были деньги, у некоторых даже значительные. Санатория принадлежала финской владелице, ее дочь была замужем за русским морским офицером, очень милым, с чудесными манерами – фамилии не помню. Там были все петербуржцы постарше, но и не мало офицеров армии Юденича, сумевших, кто по льду, кто в лодке перебраться в Финляндию, спасаясь от эстонцев, которые их всех, бывших офицеров Юденича, нещадно уничтожали, убивали,

душили паром в банях. Сперва у меня было полное отталкивание от всего этого прекрасного общества; казалось, вблизи от Петрограда, живущего в темноте, грязи, холоде, в полном отчаянии, существует так близко этот громадный, чистый, отполированный дом, где уже "бывшие люди", уже только часть бесформенной эмигрантской массы – живут, вкусно едят, отлично одеты, танцуют новые, совсем в России еще неизвестные танцы под синкопированную музыку, флиртуют, делятся на какие-то "группки" и будто и не знают, и знать не хотят, что́ там дома, совсем рядом.

Я долго держалась особняком от всех жителей санатории Мунксннесс, по вечерам сидела с зятем хозяйки, он как-то умел со мной хорошо говорить и дня через три посоветовал мне : "Будьте осторожны, я вас познакомлю с кем надо, а то ведь здесь сейчас один из главных пунктов разведки в Европе. Можно попасть в неприятную историю". Я ему доверяла. Постепенно он познакомил меня с некоторыми офицерами Юденича – я их чрезвычайно интересовала – ведь мы были первые, попавшие в Финляндию после их отступления от Петрограда. В конце концов все они оказались очень милые люди; с некоторыми из них я потом сидела чуть ли не ночи напролет в холле; их интересовало все, что я могла им рассказать о городе, который они не сумели взять. А я все твердила им: "Почему же вы не вошли в город, не прошли эти несколько переулков, которые были перед вами у Нарвской заставы?" Спорили, кричали и даже плакали. Они говорили : "Мы ведь ждали хоть одного выстрела из города, хотя бы сигнала о восстании!.. Но этих выстрелов так никогда и не было". Они также рассказывали, как англичане, километров за 50 от Петрограда, завернули назад свои танки, от которых панически бежал петроградский гарнизон вместе с Троцким.

Мне потом понравилось в Мунксннессе – понемногу я стала выглядеть так же, как все, и даже танцевала наверху, в музыкальном зале, где горел один канделябр на стене, а старая графиня Нирод мило наигрывала вальсы Штрауса на чудном Стенвее.

В феврале пришли визы во Францию. Мы покинули Мунксннесс и поехали дальше – в эмигрантский путь : Стогкольм, Копенгаген (куда за нами приехал из Лондона мой отец, а потом и мачеха), Лондон, Париж.

В Мунксннессе я узнала, что лед, по которому мы сперва шли, был взрыт за несколько дней до нашего похода ледоколом Ермак, пробившем путь к Кронштадту, что мы прошли около 45 км. за ночь и как раз это был тот самый идеальный путь между фортами, который только и был вообще возможен.

За день до отъезда я также узнала, что милейший муж дочери хозяйки Мунксннесса был главой английской контрразведки в Финляндии.

ЧАСТЬ II

ФРАНЦИЯ. 1919—1948

ПЕРВЫЕ ГОДЫ В ПАРИЖЕ

Мы оба – мой муж Игорь Александрович и я, прожили в России до 1920 г. Игорь Александрович попал в октябре 1920 г. в Константинополь вместе с эвакуированными войсками Врангеля, вскоре оказался в Париже с родителями, а уже через две недели начал учение в Сорбонне на физико-математическом факультете.

Таким образом, мы попали на Запад в то самое время, когда туда уезжала главная масса первой эмиграции. Правда, приток эмигрантов еще продолжался вплоть до 28-го, 29-го г. Потом, если кому-нибудь и удавалось уехать из СССР, то чрезвычайно редко и трудно : понемногу выросла стена из чертополоха, невидимая, но и непроницаемая, и какое бы то ни было общение с Россией на долгие годы совсем прекратилось. Вот эта полная оторванность от родной страны, от того, что там делается, стала с годами одной из основных черт жизни и психологии первой волны людей, вынужденных стать эмигрантами.

Да и главная задача была у всех – выжить, хоть как-то расселиться, зарабатывать и, наконец, узаконить в самых различных странах свое существование. Можно сказать, что к 1930 г. этот процесс завершился, – кто сел за шоферский руль, так уж и остался за ним; дамы, ставшие манекенщицами или продавщицами в знаменитых домах парижского "couture", тоже надолго там застряли.

Еще более оторванными от России оказались те, кто попал в балканские страны; правда, там к ним относились с благожелательной симпатией, и социальное положение там было иным, так что следы русских рук надолго остались и в Югославии, и в Болгарии, и даже, пожалуй, в Чехии.

После разорений войны 1914-18 годов, Белград был в большой степени вновь отстроен русскими архитекторами : среди них главный,

конечно, Лукомский – это он построил новый дворец в Топчидере, гвардейские казармы, Дом Памяти царя Николая II и многое другое. А великолепный Краеведческий музей создан проф. Станиславским и его русскими сотрудниками.

Русские люди проявляли себя между двумя войнами во всех областях жизни Югославии : они составили несуществовавшую до тех пор карту Македонии и ее недр, открыли прекрасный хирургический госпиталь в Панчеве под Белградом; всюду, по всей Югославии, были русские школы, девичьи институты, кадетские корпуса.

А вот сами русские стремились в Париж, и многие, приехав сюда, становились шоферами ночных такси...

Однако кто-то должен будет написать по-настоящему о жизни и делах первой эмиграции, которая знала много горя, надежд, но и удивительные достижения – в науке, искусстве, балете, моде и технике.

Все эти силы, увы, распылились чуть не по всей вселенной, а если найти и восстановить все русские труды, то выйдет внушительная энциклопедия. Есть, конечно, кое-что об этом, но все мало удовлетворительное, как, например, книга П. Ковалевского или же изданная в Москве книга Л. Любимова *На чужбине* – она, пожалуй, поинтереснее, но мало привлекательна. Есть и труд В.С. Варшавского *Незамеченное поколение* – здесь поставлена большая тема. У нас самих имеются еще лишь скудные сведения о русских эмигрантах в США или в Южной Америке. Мало кто знает о существенной роли русских в усовершенствовании разного типа самолетов в Америке, а такие имена, как Сикорский или Северский сейчас мало кому известны; кто-то смутно помнит, что первый телевизор в США был разработан русским ученым Зворыкиным. А знаменитый до войны корабль *"Normandie"*, считавшийся чудом техники и изящества, был построен русским кораблестроителем Юревичем; помню, до войны, в 1939 г., были специальные туристские поездки из Парижа в Гавр для осмотра *"Normandie"*.

Первые годы жизни за границей я немало металась по Европе. Впрочем, целый год я прожила в Земуне под Белградом, где жила моя сестра Наталия Алексеевна. Жизнь в роскошных отелях Парижа или Константинополя (куда я попала в мае 1920 г. и где прожила почти пять месяцев) была уж позади: мой отец после провала Кронштадтского восстания понял, как видно, что возвращение в Россию вряд ли скоро сбудется... Довольно долгое время прожила я в Берлине, где тогда было нечто вроде веселого перевала для тех русских эмигрантов, у которых водилась какая-нибудь "валюта" – от пресловутых долларов или английских фунтов до французских франков. На фоне инфляции веймарской марки, которая какими-то шквалами, но неукоснительно все увеличивалась, русскому эмигранту можно было и повеселиться в этом сером мрачном городе,

где тогда все продавалось, где за один английский фунт можно было на месяц снять отличную комнату в интеллигентной немецкой семье на Курфюрстендамме, где цвели на каждом углу всяческие кабаре — в том числе и многие русские, объявлявшие в программе самые знаменитые румынские оркестры; где проехать на такси стоило в 1921 г. несколько тысяч марок, а через год — около миллиона... Я видала в 1919 г. в Петрограде керенки — этаким полотном лубочных картинок, и их резали просто ножницами, сколько понадобится. Это были, собственно, первые деньги, которые мне пришлось самой тратить... Но только в прилизанном и, вместе с тем, потерявшем всякое приличие Берлине двадцатых годов я поняла, какое для любой страны бедствие, какой яд и страх может нести с собой инфляция.

Но колесо жизни вдруг быстро завертелось, и я, уже одна, попала опять в Париж, к отцу и мачехе; развод с первым мужем прошел просто и длился недолго; всю зиму 1923-24 г. я прожила одна в Ницце, в самых скромных материальных условиях, а в июне 1924 г. в Париже я вышла замуж за Игоря Александровича Кривошеина.

Устроились мы сперва скромно; я была совершенно неопытна, несведуща в самых простых вопросах хозяйства : не умела поджарить кусок мяса, не представляла себе, как разжечь в камине кругленькие мячики из угольной пыли (а другого вида отопления в той квартире не было), как выстирать мужскую пижаму, как одной выходить на улицу, где почти все арабы, а они задевали и приставали весьма решительно. Иногда подымалась ко мне консьержка дома, самоуверенная и презрительная особа, и начинала мне что-то показывать : сковороду надо сперва разогреть, а не класть мясо на холодную, белье надо замочить, а потом уж его стирать... Она учила меня, как с одной спички разжечь камин, как влажной метелкой подметать жалкий, потертый ковер...

Однако мы как-то умудрялись крутиться среди милейших друзей моего мужа, которых он узнал или в Сорбонне, или потом в Высшем Электротехническом училище; они и сами были еще неустроены, часто у них в кармане было не больше франков, чем у нас, но у всех у них где-нибудь были родные, "la famille" — священное французское слово, и эта famille их все же, худо-бедно, да поддерживала. Создалась дружеская компания из людей молодых, образованных и в ту пору живших весьма богемно. Мы ходили вечером на Монпарнас и усаживались в *Ротонде*, кафе, где можно было увидеть всех знаменитостей квартала, который тогда был центром вечернего Парижа. В *Ротонде* часто бывала натурщица Кики, славившаяся красотой на весь Париж; подчас рядом за столиком сидел и Илья Эренбург, или Алексей Толстой в шикарной широкополой фетровой шляпе, или кино-звезды. Между кафе *Ротонда* и кафе *Доом* текла река забавной пестрой публики, была там совсем особая атмосфера послевоенного Парижа, который снова оживал

после ужасных потерь войны 1914-18 г. О Монпарнасе тех лет есть целая литература, тут царила какая-то особая атмосфера, создававшая замкнутый, будто нереальный мир, который прожил положенную ему жизнь и как-то вдруг, за несколько лет до второй мировой войны, сам угас.

За стойкой

Осенью 1925 г. я, в силу сложных денежных обстоятельств, внезапно оказалась одной из хозяек русского ресторанчика "Самарканд". Мы вселились в смрадную комнату над этим бывшим кафе, небольшой зал разукрасили цветными платками, на столики поставили лампы в оранжевых абажурах; появилось пианино, кто-то порекомендовал двух милых юных подавальщиц, уже знавших толк в ресторанном деле, – и "Самарканд" вступил на свое новое поприще, а у кормила, за стойкой, встала я... Вскоре, как-то сама по себе образовалась и артистическая программа: появилась сперва прелестная, цыганского вида Лиза Муравьева "в своем репертуаре", вскоре начал каждый вечер выступать Жорж Северский, известный в мире русских кабаре певец, а затем чудесный музыкант с несноснейшим характером, но безупречным музыкальным вкусом – Владимир Евгеньевич Бюцов.

За ресторанной стойкой оказалась тогда не я одна, но и многие женщины из эмиграции. Русские рестораны и кабаре стали одной из характерных черт Парижа тех лет, от 1922-23 гг. до середины 30-х годов. Были и совсем скромные, куда ходили люди, которым негде было готовить, одинокие, часто жившие в самых дешевеньких и подчас подозрительных отельчиках; впрочем, если "заводилась деньга", то и в этих ресторанах можно было кутнуть, закусить с графином водки, и уж обязательно появлялась музыка – бывало, что тренькал на гитаре сам хозяин, а кто-нибудь подпевал, и часто такой кутеж кончался слезами: "Эх! Россия, Россиюшка!"

Но были и роскошные, чрезвычайно дорогие кабаре, с джазом, певицами, красивыми дамами для танцев, обязательным шампанским, со жженкой, которую зажигали, потушив в зале огни, или с шествием молодых людей в псевдо-русских костюмах, которые через весь зал торжественно несли на рапирах... шашлыки!! Каких тут фокусов не придумывали! Об этом и сейчас еще горько вспомнить.

"Самарканд" был и не дешевый, и не нарочито дорогой. Днем в воскресенье были дешевые обеды для своей особой публики, главным образом после обедни с *rue Daru* – это было совсем близко. Приходили и целые семьи, одинокие, которым в воскресенье некуда

деться. Но вот, несколько раз подряд я приметила четырех пожилых, очень скромно одетых дам, они говорили по-французски, с удовольствием ели борщ, и обязательно потом котлеты – платили, уходя, в складчину. Что-то в них чудилось давно знакомое; я, конечно, подошла к ним, спросила, довольны ли они всем, нравится ли им сюда ходить? И тут вдруг оказалось, что это гувернантки, жившие до революции кто двадцать, а кто и тридцать лет в России! Они начали мне наперебой рассказывать, у кого именно они служили, в каком имении проводили лето, каких чудных вывели питомцев: "Et tout ça, c'est fini, Madame! Ah! Quel malheur! Comme on était heureux là-bas, et dire que ce pauvre général a été sauvagement tué; chez vous, nous mangeons de nouveau toutes ces bonnes choses – on n'oubliera jamais, Madame, jamais!"

По вечерам публика была иная – однако приличная и, конечно, с деньгами.

Я, как страж, следила за тем, чтобы клиенты не хватали через край, и главное, чтобы не было скандалов, особенно политических – а такое могло случиться когда угодно. Так что наш "Самарканд" имел славу приличия, хорошей программы и вкусной кухни. Я довольно скоро поняла, что́ и как делать, чтобы было весело и прилично, надевала вечером черное шелковое платье – в стиле того времени, слегка подкрашивалась и дважды в вечер обходила все десять столиков, и всюду приглашали меня присесть, поболтать. "Que prenez-vous, Madame?" – что будете пить? – ужасный вопрос: шампанского я не терпела; в конце концов всегда брала одно и то же – чашку черного кофе и рюмку коньяка. Курили кругом все, и я, конечно, курила, ложилась не раньше двух-трех часов ночи. К концу зимы я от такой житухи свалилась.

Несколько слов об артистах, работавших в "Самарканде". Елизавета Николаевна – Лиза Муравьева – уже пользовалась некоторой славой, цыганские и старинные романсы она начала петь еще совсем юной, в Константинополе; она была из семьи Юматовых, богатых Саратовских помещиков; очень молодой вышла замуж за Колю Муравьева, бывшего лицеиста, которого я довольно часто встречала в Петербурге. Но в 1925 г. они уже развелись. Это была эффектная молодая женщина с сильно выраженным восточным или татарским лицом. Я ее как-то спросила: "Откуда у вас такое лицо, вроде малайское?" Она рассмеялась и ответила : "Ну, это от Нессельроде (ее мать была рожденной Несельроде); ведь у знаменитого прапрадеда определенно была порядочная капелька еврейской крови!" На ней было всегда темное платье с ярким цветастым платком на плечах, который придавал ей цыганский вид. Она обладала небольшим голосом с "хрипотцой", чем-то роднившей ее с французскими уличными певицами, – с теми, из которых позднее вышла Эдит Пиаф. Лиза пела и русский, и цыганский репертуар – но также и модные французские песенки.

Мне она была очень по душе : скоро я поняла, что с ней можно не бояться; она давно стала вести свою особую жизнь (сейчас это зовется *"femme célibataire"*, а тогда еще было внове), ни от кого не зависела, жила одна, "бобылем", полагаясь только на свои заработки. Частенько она после поздней утренней чашки кофе и вплоть до ужина, который ей полагался в ресторане, где она пела, ничего не ела, потому что немногие свои франки копила на такси, – в метро она, по моему, не ездила никогда! У ней был свой шик, некий гусарский жанр, но без всякой пошлости; она имела большой успех, свои амурные дела не афишировала и не теряла подлинной женственности. Была она и очень ловка, умела из серебряной шоколадной обертки слепить целый столовый прибор – вилку, ножик, ложку, тарелку, рюмку, графинчик – она и меня научила (в далеком будущем это будто и ничтожное умение мне очень пригодится для уроков английского языка с шестилетним мальчиком – в Ульяновске, в 1953 г.). Были у нее предлинные ресницы, она их крепко склеивала черным "риммель", и на верхних стрельчатых ресницах одного глаза она иногда, шутки ради, укладывала кучкой до двадцати шести спичек.

Жорж Северский был почти профессионал; сын известного до революции в Петербурге опереточного певца Северского и брат знаменитого авиаконструктора, о котором я уж упоминала. В войну 1914-го года и он, и отец его, и брат – все были военными летчиками.

Он пел английские и американские песенки тех времен, как, например, репертуар гремевшего тогда на весь мир певца Мак-Кормика, но и некоторые русские песни, и даже советские – братьев Покрасс. Голосок имел небольшой, сладкий, старательно учился английскому прононсу, был роста невысокого, с бледными глазами и чем-то неподвижным в лице. Успехом он пользовался немалым, особенно у высоких, крупных дам бальзаковского возраста... А, как известно, этот возраст в наш век начинается не в тридцать лет, а сразу после пятидесяти. У меня с ним всегда были ершистые отношения. Я старалась соблюдать с ним полную корректность и вежливость, это его раздражало и подчас он впадал в бешенство и кричал : "Вот, собрались здесь проклятые аристократы!" – чем меня и смешил, но и сердил.

А вот Бюцов, тоже совсем небольшого роста и плотный, с крупной прекрасной головой, почти горбун, много старше нас всех и уже седеющий, – это был каленый орешек, и с ним все было сложно, трудно и всегда интересно. Он был музыкант с головы до ног, чрезвычайно в своей области образованный, обладал точной речью, редким юмором, мог быть упрям и несносен, как пятилетний мальчик, и своими "сценами" нередко доводил меня. Но он, как старая дева, любил "выяснять отношения", а как такой стих с него соскочит, опять становился обаятельным, ласковым и каким-то "огненным" собеседником. На рояле он играл чудесно, все наизусть – или раз проиграет и уж знает; мягкость и глубина его "тушэ" ни

с чем не сравнимы, и даже когда он аккомпанировал Лизе или играл "для слуха" переливы новых модных напевов – все было преподнесено мастерски, с известной долей но в меру романтизма, темперамента, и при этом никогда не случалось ни малейшей погрешности.

Иногда, когда кто-нибудь заболевал или уезжал, на неделю-другую появлялась "исполнительница русских песен" Мария Петровна Комарова; ей было лет пятьдесят и, думаю, жилось ей трудно. Когда-то в России она ездила с гастролями по провинции, дело свое знала и обладала недурной техникой; у ней и в Париже была своя публика, которая ее любила. Милейший и добрейший человек, она звала меня "деточка", была сговорчива и никаких подножек никому не ставила. А мы все потихоньку над ней посмеивались – над ее прической, вечным оренбургским платком и каким-то удивительным говором, составленным из совсем особого словаря и оборотов – казалось странным, что ей почему-то приходится жить и петь в Париже, а не в Калуге, Воронеже или на ярмарке в Нижнем.

За год ни одна из подавальщиц в "Самарканде" не сменилась, а было их три : старшая, Марина Николаевна Псел, с лицом большой красоты и детской доброй душой – ей было лет 35, и я могла целиком и во всем на нее положиться; и еще было две Инны – старшая тоже милая и славная, но у меня с ней было меньше контакта; и, наконец, Инночка-младшая, армяночка девятнадцати лет, со стриженными волосами, худенькая, лукавая – мы ее звали "Саломея с блюдом". Был у дверей и *"chasseur"* (швейцар? рассыльный? – не знаю уж даже, как и перевести), из простых русских людей, сражавшихся в Добровольческой Армии и очутившихся вдруг в Константинополе, Болгарии и, наконец, в Париже. Он родился на Украине, было ему тоже лет сорок и звали его Никола. Он принимал клиентов на улице из такси, бегал за папиросами, следил за тем, когда по улице проедут "ласточки" – полицейские на велосипедах, в суконных накидках на плечах – им иногда давали бутылку красного вина, днем исполнял для меня кое-какие поручения, а, зная, что у меня нет денег на уборщицу, подчас сам брал щетку и пылесос и чистил мою комнату. У него был свой особый и колоритный язык, по-французски говорил плохо, его обычной присказкой было: "Это уж действительно кельки-шоз!" (*quelque chose*) . После "Самарканда" я его потеряла из вида; одно время он жил тем, что кроил и шил балетные туфли для танцовщиц, даже поставлял их в *Grand Opéra.* А в году 30-м или 31-м мы, как-то заехав поужинать в бар *Доминик* на Монпарнасе, увидали нашего Николу, прислуживающим за стойкой бара. Никола нас всегда радостно встречал, и как-то сообщил мне, что скоро сбудется мечта его жизни и он... приобретет мотоцикл. Я пришла в ужас, говорила ему, что это безумие, в его возрасте начать ездить на мотоцикле, и не лучше ли еще подкопить и купить подержанную машину? Но вот весной мы только вошли в *Доминик*, как Никола радостно

сообщил, что вчера купил мотоцикл, а послезавтра воскресенье, и он с утра поедет кататься. Он и выехал с утра, и тут же, буквально в двух шагах, на углу бульвара Распай, его на смерть раздавил грузовик.

На кухне "Самарканда" работали два повара (они были и хозяевами ресторана на равных с нами правах); главный шеф, Корчагин, был уж пожилой, а в России служил... главным поваром у Вел. князя Александра Михайловича. Когда хотел и был в духе – готовил отлично, но когда был во хмелю, сердился на все и на вся, в том числе и на меня. Бывало, что он входил в зал и читал стихи своего сочинения. Второй повар был молодой, и известную роль играл тут не он, а его жена Сима, скромная русская мещаночка, закинутая в Париж, – но душа у ней была настоящего дельца, даже скорее великого комбинатора. Потом, когда "Самарканд" закрылся, она сама годами держала в Париже русские ресторанчики: то "Медведь", то "У Симы", то просто "Сима", прогорала на одном, ломала рубли и тут же открывала новый, и так вплоть до 1948 г. Дальше ничего про нее не знаю – я сама уже была в СССР. Что с такой женщиной было бы, останься она в России? Верно, не пропала бы и стала бы завхозом или, скорее, завмагом. Ее публикой были русские шоферы такси и рабочие "Ситроена" – это была хорошая и стойкая клиентура. Когда в 1944 г. она узнала, что Игорь Александрович вывезен немцами в Бухенвальд, сразу же через кого-то предложила мне освободить его – на это у ней есть "знакомства"... Я пошла к ней в очередной ресторанчик поблагодарить за добрые намерения и, главное, чтобы остановить возможные ее обращения к гестаповцам низшего разряда и пресечь неподобающие разговоры о моем муже и обо мне. Она была очень мила, жалела меня, поплакала; но я ей объяснила, что теперь уж хлопотать негде и ни к чему.

Вот тени минувшего, тени "Самарканда"... Кто посещал этот ресторанчик-кабаре? Очень приличная публика и часто приятная; писать о них всех было бы сейчас уже трудно, ведь многих я знала не близко, а большинство только как клиентов. Кое-что, однако, и до сих пор живет в памяти, будто вчера видела. Из них – милая пара – Саша Макаров и его жена Бубочка; он – цыган, знаменитый по хору в московском "Яре". Тогда ему было лет под шестьдесят; обычно он приходил с гитарой и с милейшей своей русской, несколько грузной, в светлых кудряшках, женой; часто подсаживался к ним Михаил Львович Толстой, младший сын Льва Николаевича. Иногда они оба подпевали Лизе Муравьевой, и тогда публика просила Сашу Макарова спеть, что он изредка и делал. Нельзя забыть его пение: низкий, хрипловатый голос, легкий аккомпанимент на гитаре. Вот как-то пришло мне в голову устроить вечер цыганского пения в ресторане, и я попросила Сашу Макарова и Мих. Льв. Толстого прийти вечером и попеть цыганские песни и старинные русские романсы, а угощаю я. Они оба сразу согласились, и вечер вскоре

состоялся, и для меня он – одно из светлых воспоминаний этого скорее нудного и, вообще говоря, нелегкого периода жизни.

Моя мать говорила : ненавижу цыганщину, одна пошлость – а вот Варю Панину слушаю и не наслушаюсь. Так и про Сашу Макарова: не наслушаешься, да и Михаил Львович за долгую жизнь веселого кутилы и со своим отличным вкусом и небольшим, но очень тонким голосом – пел скромно и прелестно. Народу в ресторане было много, и все были под очарованием этих двух людей, сохранивших и принесших с собой в Париж – нет, не "цыганщину", а подлинное певческое умение и традицию. Под конец М.Л. Толстой мне сказал в ответ на мои благодарности : "Нам самим было так приятно у вас петь. Чтобы кончить, мы сыграем вещь, которую, верно, теперь уже знаем только Саша да я : торжественный марш для восьми гитар, который игрался при выборах цыганского короля, когда шли перед королем по табору восемь гитаристов и играли. Это мы вам в подарок, как хозяйке".

Невольно были у меня тогда контакты и с другими ресторанами или вечерними кабаре, особенно на Монмартре. Одно время, когда часто бывала в "Самарканде" Нина Павл. Кошиц, мне несколько раз пришлось с ней после закрытия ресторана ехать "дальше", она всегда приглашала и Северского, и Бюцова. Обычно ехали в "Кунак", где хозяином был Бер, племянник Софьи Андреевны Толстой. "Кунак" открывался после 12-ти ночи – до утра. Когда приезжали туда, то вдруг оказывалось, что мы все голодны : я в "Самарканде" так безумно уставала, что есть не хотелось, да и там я была на работе, а сюда приезжала в компании веселиться. На столе появлялся графинчик ледяной водки, в нем лихо алел цельный стручок красного перца, приносили чудесные, шипящие, с жару запеченные пельмени, и оказывалось, что все весело, красиво, вкусно, и что в кабаре можно и веселиться, а не только мучительно и напряженно работать, как мне приходилось в "Самарканде".

Но главное, в "Кунаке" встречала нас Маша Суворина, цыганка, жена одного из сыновей издателя петербургской газеты *Новое Время*. Она была немолодая, расползшаяся, с лицом некрасивым, но незабываемым, и с особым цыганским тембром голоса. До чего был милый человек! – Ей можно было все рассказать, и она всегда находила – если не ответ, то настоящий совет, слушала внимательно: казалось, ей тоже важно, что́ с тобой и какая беда... Пела не всегда, не каждый вечер, а только когда хотела, что тоже важно. Но уж если приезжал Бюцов, она просто расцветала, говорила : "Вот какой музыкант к нам в "Кунак" приехал!" – и Бюцов, бывало, уже под утро садился за пианино и играл сам что хотел. Я всегда радовалась встрече с Машей Сувориной, спрашивала, можно ли к ней подсесть, и без конца с ней беседовала, и всегда уезжала после этих бесед с легким сердцем.

Но кончился "Самарканд", я устала, переутомилась от недостатка сна, свежего воздуха и от вечных забот, когда приходилось

крутиться изо дня в день "на кассе", а та была частенько и просто пуста, от курения, от вечного кофе... Сдали ресторан *"en gérance"*, то есть кому-то, кто будет работать и мне немного платить. Но этот "кто-то" оказался чистейший жулик : после длительного процесса его с трудом удалось выставить, и "Самарканд" сам ушел от меня в другие руки.

Конечно, Игорь Александрович помогал и тоже участвовал в делах "Самарканда", но мало – он уж начал по-настоящему работать как инженер, сперва в испытательной лаборатории *"APEL"*, а потом на заводе *Lemercier Frères*, где проработал целых двадцать лет. Но из финансовой путаницы, создавшейся в нашей жизни после закрытия "Самарканда", было выбраться нелегко. Пришлось выехать из комнаты над рестораном, да и последние месяцы, когда вели борьбу с "gérant", было жить туго, и несколько месяцев мы прожили без света, без газа и даже без воды: все это было отключено за неуплату, а платить было нечем. В нетопленной комнате, при свечке, я готовила на керосинке (у русских людей всегда откуда-то найдется керосинка!) ежедневно одно и то же : геркулес на воде и чай. Иногда ходили к родителям подкормиться. Но всему наступает конец, и мы выехали из Парижа в "красное предместье" *Clichy*, где над мерией висел громадный красный флаг, а рядом детский флажок с французскими национальными цветами. Квартира была гнусная, грязная, дом кишел клопами; надо было как-то карабкаться, и я пошла учиться в школу "стенотипии", то есть машинной стенографии. Это очень простая фонетическая система стенографии на легонькой портативной машинке; я освоила систему легко, и уж через четыре месяца могла записывать до 175 слов в минуту. По объявлению в вечерней газете я вскоре начала работать секретаршей-стенографисткой со знанием трех иностранных языков. Первые два мои места были мало удачны или приятны, но потом, уже имея за собой целый год опыта, я попала секретарем в старинный французский торговый дом, где тоже приходилось работать вовсю, но где скоро все стали моими друзьями, кроме "замдиректора", который вел все дело и, как полагается, был хам и назойливый дурак.

Осенью 1928 г. мы внезапно, в три дня, оставили Клиши и переехали в однокомнатную квартиру на четвертом этаже в старом доме, с видом на темноватый двор, но в трех минутах от *Champs Elysées*, и вот в этом доме мы прожили двадцать лет. Безумие строительства тридцатиэтажных коробок тогда еще не начиналось, дома в 10 этажей и то попадались редко. Даже в такой роскошной части города еще продолжали жить вот такие дома без возраста, почти ни в чем не изменившиеся вплоть до войны; впрочем, сейчас 1978 год, а наш дом, 22 rue Jean Goujon, до сих пор здравствует.

Через год мы спустились по нашей крутой лестнице, к которой я уж совсем привыкла, на первый этаж, и тут у нас, впервые после отъезда из России, появилась настоящая квартира в три комнаты,

с окнами на улицу, где мы себе все понемногу устроили – прежде всего ванную: ведь столько лет подряд приходилось идти мыться в ванное заведение, или же иногда к мачехе! Да и помаленьку покупали на *"Marché-aux-Puces"* старинную мебель стиля *Empire*, абажуры и лампы на светящихся подставках, в то время входивших в моду, – словом, только тогда мы сбросили парашют и, наконец, сели на французскую землю.

Это были одни из самых удачных годов нашей жизни; не скажу, чтобы мы богатели, потому что, кроме очередной зарплаты, на счету в банке ничего не было; но мы начали ездить на каникулы, посещать кино, театры, покупали книги. Да и я, кое-чему научившись в "Самарканде" и у мачехи, теперь умела прилично готовить, и мы ели скромно, но все вкусное, свежее – о геркулесе на воде я вспоминала с ужасом! Однако, как говорила мачеха, кто-то всегда да стоит рядом и слушает... Да, да, еще будет мне геркулес на воде в жизни, да еще я сочту за счастье... А пока – живем, и в 1930 г. купили маленькую машину Rosengardt и, назвав ее Карапашка, ездили на ней не то что втроем, но даже и вчетвером! Понемногу побывали повсюду – и на юге Франции, и в Бретани, и, на той же Карапашке, ездили в 1931 г. к друзьям в Англию, и там тоже объездили весь юг, включая Корнуаль.

По настоянию мачехи я первая написала моей матери письмо – после того, как не видела ее двенадцать лет, а она ведь "с паперти" меня прокляла еще в Петрограде, вскоре после того, как я ушла в Финляндию, за то, что я признала новую жену моего отца... Теперь она с 1922 г. жила в Югославии с моей сестрой, и после обмена письмами я в 1931 г. поехала в Белград, в "ту" семью, где было и немало других родичей по старой линии "освобождения славян", – так я провела тогда в Белграде все лето, крутилась в совсем иной по составу и интересам эмиграции, много танцевала, и даже один из моих тогдашних белградских партнеров оказался будущим главным балетмейстером оперного театра в ... Гаванне, некто Яворский, в ту пору просто отличный танцор на вечеринках. Словом, я веселилась вовсю в балканской экзотике. Впрочем, я не только резвилась: к тому времени я уже была членом Партии Младороссов, и состояла в ней, и даже работала, вплоть до 1939 г.

Вот это, пожалуй, известного рода буек в моей жизни той эпохи : начиная с 1926 г. и до 1930, да и дальше, мы невольно почти ушли из обычных кругов русской эмиграции, в которых вращались в первые годы (для меня Париж-Белград-Стогкольм-Берлин и снова с 1923 г. Париж). Игорь Александрович работал с 1925 г. на французских предприятиях. Я тоже, вскоре освоив технику не очень-то замысловатой секретарской работы, целые дни проводила среди французов; наша французская компания понемногу отряхивала послевоенные богемные нравы – кто стал адвокатом, кто инженером, большинство поженилось, начали жить своим домом, и вот так,

незаметно, мы втянулись в чисто французский круг – конечно, читали русские эмигрантские газеты, ходили на всякие вечера или в русскую оперу и балет, на некоторые политические собрания, но жизнь становилась и для нас все нормальнее в Париже, и мы понемногу стали устраивать у себя приемы, даже обеды на 6-8 человек. Это не была еще *dolce vita*, но мы понимали, что жизнь снова повернулась к нам лицом, и что в дальнейшем можно ждать и лучшего.

Младороссы

Вот тут я прочла в газетах о процессе, который был в 1930 или 1931 г. в Ленинграде, где судили "монархистов", во главе которых стоял офицер Царской Армии Николай Васильевич Карташев; всех, конечно, расстреляли, а Карташев после приговора успел крикнуть: "Да здравствует царская Россия! Да здравствует законный царь Кирилл Владимирович!"

Это известие меня потрясло: на снимке из зала суда, перепечатанном *Последними Новостями* из *Правды*, была группа из пяти человек, какие-то неясные черные фигуры, а посередине – высокий, худощавый, статный, с прекрасными, поднятыми над головой, руками, Карташев, когда-то чудесный танцор, с чарующей улыбкой, с каким-то особенным плоским, чисто татарским лицом, светлыми серо-желтоватыми кошачьими глазами, с совсем особой походкой и повадкой – его все же можно было узнать, на этом трагическом снимке, милого "Кокочку", который, опираясь на трость и слегка приволакивая раненую ногу, пришел к нам на Кирочную в октябре 1916 г. вместе с Васей Мещерским. Он бывал часто, играл в общей компании в биллиард, моя старшая кузина наигрывала вальсы, фокстроты и танго в полутемном зале, и тогда я с ним танцевала всласть, ведь он так чудесно танцевал! Но с ним можно было говорить и о другом – он, казалось, всегда все понимал, хотя особого образования, кроме военного, не получил. Но ведь есть же люди, обладающие даром обаяния, и вот у него он был – а ведь вернее всего его можно было бы назвать немецким словом "Taugenichts" – милый бездельник.

Он был неравнодушен к моей сестре, это было серьезно, но... тут вмешалась моя мать и, увы, Кокочка сразу от нас исчез... Через год или полтора, уже в революционное время, он женился и жил в той самой квартире на Кирочной 32, в доме Ратькова-Рожнова, где мы прожили целых 9 лет до переезда в собственный дом на Кирочной 22.

Итак, вот этот очаровательный бездельник стал участником громкого монархического заговора, публичного процесса, и теперь уж расстрелян, и... теперь уж герой! Очевидно, никому ненужный герой... как, впрочем, почти все герои.

А кто же начал, в общем, это нелепое дело? Оказалось, "послали", вернее заслали в Россию кого-то, и этот кто-то собрал монархистов – да и сам был расстрелян. Возможно ли, что еще можно найти там, "за чертополохом", людей, хранящих монархический идеал, и даже идущих за него на смерть? Казалось, это просто невообразимо.

В это время я встретила приятных людей, которых знала мало, они были оба порядочно старше нас : Адам Беннигсен и его красавица жена Фанни. У кого мы встретились, не помню; шел общий разговор, скоро перешедший на обсуждение похищения и гибели генерала Кутепова, – каждый говорил, что знал про это дело, а я потом упомянула и про монархистов в Ленинграде, и про "ненужную, будто бы никчемную смерть Николая Карташева". Беннигсен мне возражал; он сказал, что я не в курсе дела, что корень заговора здесь, в Париже – Партия Младороссов. Это еще что за зверь?! Я смеялась и пожимала плечами, все это для России кончено и ненужно. Однако Адам Беннигсен мне сказал, что Миша Чавчавадзе, муж его belle-sœur, уже некоторое время назад вступил в эту партию, что во главе ее стоит некто Александр Львович Казем-Бек, и что там много талантливых людей. Беннигсен считал, что это чрезвычайно интересное явление – новая политическая партия, рожденная самой эмиграцией.

Через несколько дней Миша Чавчавадзе сопровождал меня в кафе *"Le Vaugirard"* в 15-м районе Парижа, где проживало много русских : так я попала к младороссам и так... там и осталась.

Вскоре в Младоросской Партии был создан женский отдел – или "очаг" – все члены Партии входили в очаги, вверху пирамиды был "глава", этим главой и был сам Александр Казем-Бек, человек примечательный, обладавший блестящей памятью, умением тонко и ловко полемизировать и парировать атаки – а сколько их было! В ранней юности скаут, еще в России он был скаутом, в шестнадцать лет участником гражданской войны, потом участником первых православных и монархических съездов в Европе. Человек честолюбивый, солидно изучивший социальные науки и теории того времени, с громадным ораторским талантом, он имел все данные стать "лидером"; а так как все русские политические организации – кадеты, эсдеки, эсэры – рухнули под натиском марксистского нашествия, то и надо было найти нечто иное, создать что-то новое. Таким образом, Младоросская Партия оказалась единственной новой, то есть не дореволюционной партией, партией, родившейся в эмиграции и, нравилась она или нет – она и до сих пор остается единственным политическим ответом в зарубежьи на большевистскую революцию.

Был ли это просто ответ на новый социальный фактор тридцатых годов XX-го века – ФАШИЗМ? Да, конечно, это отчасти так и было, и в 1935-36 гг. как белый, так и красный фашизм довольно-таки ярко и четко выявили свои гадкие мордочки среди Младороссов.

Главное, что меня привлекло к ним, – был их лозунг : "Лицом к России!" Лицом, а не задом, как поворачивалась эмиграция, считавшая, что с ней из России ушла соль земли, и что "там" просто ничего уже нет. Конечно, это "лицом к России" не все Младороссы могли вполне воспринять и переварить; иногда они впадали в нелепое и почти смехотворное преклонение, в восторг перед "достижениями". В первые же месяцы моей младоросской эры мне пришлось быть на докладе о промышленных и технических достижениях в Советском Союзе, где повторялись вслепую данные советской прессы, и где выходило, что до 1920 г. в России и вообще не было промышленности, ни техники... вообще ничего! Я заявила, что на следующем же собраниии этого очага берусь доказать, насколько все тут ошибаются. В самом деле, через неделю, собрав в памяти все, что я могла знать о развитии тяжелой промышленности в России от моего отца, я рассказала "очагу" о фабриках московского или волжского купечества, о теплоходах на Волге, о телефонизации (одной из старейших в Европе!) и т.п. Сперва мне кто-то возражал, и даже довольно резко, но я не дала себя забить, и кончилось тем, что многие (из более молодых младороссов особенно) признались, что первый раз в жизни все это слышат.

Ну, а другое, что меня привлекло к Младороссам, – это принцип "орденства", служения; мы не просто партия, говорил Казем-Бек, мы Орден, но не с тайным заданием, что часто встречается, а с заданием открытым – служение России. Принцип монархического возглавления будущей России сперва казался мне неудачным, недемократичным, уже изжитым – особенно после мрачных событий и атмосферы, окружавших последнего монарха и его столь непопулярную жену... Казалось, этому возврата не будет.

Был у нас в то время друг, много старше нас, Егор Васильевич фон Дэн, последний русский консул в Париже – вежливый, галантный, просвещенный прибалтиец; мать его происходила из старого сибирского купеческого рода. Он твердил мне, что Младороссы – это дурость, мода, ерунда, и непонятно, что я там, собственно, делаю?! Как-то он зашел к нам, я была дома одна; сидели, распивая крепкий чай и покуривая, и вдруг, после иных житейских тем, Егор Васильевич сказал (отлично помню каждое слово) : "Я упрекаю вас, что вы у Младороссов, будто в этом есть какой-то *non-sens*, а по-настоящему я и сам глубоко предан России и монархической идее: для меня, сына балтийца, государь был сюзерен, которому я был обязан служением, а, будучи и сыном сибирской купчихи, я воспринимаю царя русского, как своего царя". – "Да, да, – прибавил он, помолчав, – думаю, даже уверен, что будет момент, когда по Москве

проскачет белый конь, и вот, если вы, Младороссы, успеете в этот момент посадить на него русского царя, то и будет в России снова царь. Но это будет одно мгновенье, и если вы пропустите его, тогда – конец навсегда!" Теперь, в 1978 г. ясно, что если кто и посадит царя на белого коня, то уж никак не Младороссы, – иных уж нет, а многие далече, и от всей младоросской Партии мало что осталось, даже документы младоросские – все исчезло. А ведь, пожалуй, белый конь когда-то еще проскачет, но... некому и некого будет на него сажать.

Сейчас я уж просто не в состоянии изложить всю младоросскую политическую "постройку" будущего России; писал эти теоретические выкладки, главным образом, сам Казем-Бек, но ему помогал главный секретарь и доверенное лицо Кирилл Величковский. Это было довольно-таки продуманное сооружение русско-общинной демократической монархии. Величковский, который тогда тоже был еще очень молод, лет 28-ми–30-ти, имел солидное политическое образование, и вполне очевидно испытывал сильное влияние Шарля Морраса (Charles Maurras), известного идеолога французской монархической партии, издававшего в то время интересный ежемесячный журнал *Le Courrier monarchique*.*

Программу свою Младороссы тщательно изучали, а некоторые, не столь шибко грамотные, просто зубрили ее наизусть. Понемногу у многих из них укоренилось твердое убеждение, что раз "глава" так сказал или так написал – значит это правильно, больше и думать тут нечего. "Глава" – это был Казем-Бек, и многие, когда он появлялся, вскакивали и громкими деревянными голосами кричали: "Глава! Глава!" Появились значки под номерами, бело-черно-желтого цвета "штандарт", твердо наметились возглавлявшие "очаги" начальники. К 1935-36 гг. у Младороссов окончательно оформились внутренняя структура, иерархия и дисциплина. Итак – все тот же пресловутый "культ личности" и столь нам теперь уж известное построение общества пирамидой, приводяшей к "единому, все понимающему отцу"?.. И да, и нет: наверху стоял монарх, он-то и был отец всех, а никак не "глава" партии.

Много тут было и смешного, и жалкого, и подражательства всему тому, что тогда владело умами. Я с большим интересом и азартом работала в женской секции, где под конец было более 40-50 участниц; главная наша тема была, конечно, новая женщина, ее облик, ее участие в будущем родной страны. Тогда все это дело мыслилось в плане чисто общественном и политическом. Собрания проходили живо, и это уводило нас всех от эмигрантской рутины.

---

*) Во время немецкой оккупации Maurras сотрудничал с немцами, печатался в фашистской прессе, а после войны был за то судим и приговорен в 1945 г. к пожизненному заключению, а также исключен из Французской Академии.

Я напечатала тогда несколько заметок в младоросской прессе (подписывала: Н. Алексеева), прочитала за год три открытых доклада о русских революционерках – Софье Перовской, Вере Засулич и Вере Фигнер. Вот это было чрезвычайно занятно; я ходила в Тургеневскую библиотеку, которая в то время была по-настоящему русским культурным центром Парижа, и где мне все было по-душе; там можно было найти всю нелегальную литературу царских времен, начиная от ленинской *Искры*, были и все энциклопедии, и также чрезвычайно интересные книжечки "Издательства политкаторжан", которые появились в СССР в 20-х годах, и которых теперь и днем с огнем не сыщешь. Доклады я готовила тщательно, хоть аудитория и была "своя", – однако на каждый доклад набиралось человек 100-120, а после доклада задавали вопросы, и вот на них-то надо было сразу и не задумываясь ответить; особенно всех волновали вопросы террора, его возможных последствий и вообще допустимости террористических актов. Знали ли все мы тогда о том, что творилось в России – на Соловках, на пресловутых стройках, при коллективазации деревни, при разорении приходов и взрыве церквей? Казалось, должны были не только знать, но и громко кричать про это. Но мы шли своим путем.

Помню, как в 1932 или 1933 г. у Младороссов появилась Татьяна Николаевна Сиверс с сыном, юношей лет семнадцати; она была старшая сестра Е.Н. Муравьевой, которая в 1926 г. выступала с романсами в "Самарканде". Много она рассказывала о жизни в России – ее муж погиб на Соловках, она туда ездила к нему на свидание и, если не все, то многое увидела и поняла... Будучи сама по-настоящему верующей, она в те годы принимала активное участие в помощи арестованным священникам и верующим. Полное отсутствие писем из России тоже могло бы навести на мысль о том, что там творится...

Сейчас, через шестьдесят лет после начала эмиграции, многие "союзы", "землячества", "объединения", как ни удивительно, все еще существуют – это, наверное, доказывает живучесть русских на чужой земле. Некоторые чисто бытовые учреждения сами отмерли за ненужностью: приюты, дешевые столовые, ясли – ведь среди русских эмигрантов в третьем поколении нуждающихся родителей больше нет, уже и второе поколение недурно устроилось. Пока держатся лишь Старческие дома, давно, правда, перешедшие в ведение французского социального страхования; продолжаются и уроки русского языка для малышей при некоторых церковных приходах, а многие подростки учат в школе русский язык как иностранный.

Из политических же объединений первых десятилетий эмиграции до сегодняшнего дня дожил только НТС – и живет он полнокровно; а вот найти хоть малый обломок Младоросской Партии – нельзя. Подул над Европой ветер – и все сразу рухнуло и распалось! Во

время "чудно́й войны" *(drôle de guerre, 1939-40)* многие младороссы попали во французский концлагерь Vernet; французская полиция твердо знала младоросский лозунг, скажем прямо, несколько экзотический – "Царь и Советы" : первое слово забылось, а вот "Les Soviets" было весьма мало популярно, оно живо напоминало клики преданных Сталину коммунистов: "Vive les Soviets!" Сам Казем-Бек тоже некоторое время пробыл в Vernet, но вскоре сумел освободиться, в начале июня 1940 г. уехал на юг, оттуда в Испанию, а затем, вплоть до 1957 г., жил в Калифорнии. Его отъезд сильно огорчил и даже покоробил многих младороссов. Правда, некоторые говорили: "Что ж ему самому, что ли, в петлю лезть? Немцы его живо бы забрали!" Это так, но что-то все же выходило вроде *"sauve qui peut!"*; в Испании у Казем-Бека была высокая протекция в лице Кирилла Владимировича. Отъезд этот похоронил еще вполне живых политически и морально членов Младоросской Партии, которая никогда не смогла вполне оправиться от "ухода" Казем-Бека и его группы. Война и оккупация докончили этот распад, и во время оккупации, а позже во время "холодной войны" многие младороссы уничтожали имевшиеся у них газеты, документы, статьи, так что теперь какие-то случайные обрывки младоросской печати остались лишь в некоторых библиотеках. Говорили, что, например, Евразийцы – несколько высоколобое и чисто интеллигентское движение в эмиграции – были вызваны к жизни и даже организованы советскими агентами. Однако с тех пор само слово "Евразия" стало чуть ли не обиходным и всем известным. Говорили и про младоросское движение то же самое. А вернее всего, каждое поколение дает в жизни свои собственные ответы, соответствующие эпохе.

В 1934 г., шестого июля, в невероятно жаркий вечер под Ивана Купала, появился на свет (именно появился, через кесарево сечение) наш сын Никита, и жизнь моя изменилась целиком. Кроме маленького ребенка в квартире на Jean Goujon оказалась и няня, так как мне долгие месяцы запрещалось подымать что-либо тяжелое; в ту пору кесарево сечение считалось тяжелой операцией – ее обычно и не повторяли.

Няни у Никиты были до 4-х лет, и было их две: первая – русская, отличная няня, хотя и несколько капризная; вторая прожила у нас 2,5 года и была неграмотная полька, Анеля, уже немолодая, перешедшая к нам из семьи барона Палена, где она прожила целых 12 лет; мне пришлось с ней расстаться в 1938 г., когда во Франции внезапно грянул экономический кризис, цены резко повысились и каждое пятнадцатое число у меня было в семейной кассе – ничего, просто пусто.

После долгого перерыва я снова стала посещать младоросские собрания; там появились у меня и многие друзья – некоторые на всю жизнь... Из них первые – Ирина Николаевна и Александр Александрович Угримовы. Это был "младоросский брак": сперва я

узнала Ирину, а потом уж ее жениха "Шушу"; свадьба их была году в 31-м; постепенно мы близко сошлись и со всей семьей, с родителями Шушу – проф. Александром Ивановичем Угримовым и его женой Надеждой Владимировной, и дальше эта дружба распространилась и на все их нисходящее поколение и родичей.

Да и жизнь как-то особенно спаяла наши две семьи: в течение целых сорока лет судьбы наши шли параллельно; дети наши – Татка у Угримовых и Никита у нас – родились на расстоянии шести месяцев друг от друга; войну 1939-1945 мы прожили почти целиком вместе – вместе спасались от немецкого нашествия в тихом местечке Франции, Шабри (на реке Шер, за Луарой), где нас немцы и настигли. А потом Париж, голодный, холодный, черный, и знаменательная дата 22-го июня 1941 г. И дальше – оба мужа наши с Ириной Николаевной участники движения Сопротивления во Франции, и дальше, дальше, замена *"Нансеновского"* паспорта советским в 1947 г. и, наконец, в апреле 1948 г. отъезд нашей группы в 32 человека из Марселя на электроходе "Россия" туда, на Родину, где уже с октября 1947 г. были наши мужья. Ну, и потом там, "за чертополохом", костяная рука настигла Угримовых почти сразу, через 3 месяца после приезда Ирины Николаевны в Москву, а нас с опозданием почти на год, в сентябре 1949 г., когда мой муж был арестован чинами Чека и, как и Угримовы, осужден на 10 лет лагеря...

Но это впереди, а пока еще время довоенное, и тут вспоминается невольно один малоприятный для меня момент. Придя как-то в 1937 г. на очередное собрание в кафе "Вожирар", я поняла, что все мои друзья, именно те, с кем я чувствовала себя в полном единении настроений и мыслей – как-то молниеносно покинули Младоросскую Партию и, звонко хлопнув дверью, вышли из ее состава. Я была потрясена тем, что они это сделали, даже и не предупредив меня, – значит, видимо считали, что я не из "семи пар чистых" и, собственно, к их группе вовсе и не принадлежу! Я позвала к себе Шушу, как главного организатора этого "ухода", который тогда вызвал немало шума и толков, и было у меня с ним громкое и малоприятное выяснение отношений. Я ему заявила, что понимаю его положение в этом деле, также, как и всей его группы, но раз уж они меня так презрели и обошли, – то я останусь у младороссов и буду продолжать вести все ту же антифашистскую линию... Для меня это событие было очень болезненно – не только личный "провал", но и элемент отчуждения от людей, которых я считала друзьями. Эта группа тоже начала устраивать собрания, она печатала небольшую газету *Русский Временник*, многих я быстро потеряла из вида. А у Младороссов я продолжала как раньше, и даже с бо́льшим азартом: особенно много работала с молодежными группами, учила их правильно говорить по-русски, следить за русской и советской литературой и, главное, постараться разобраться в том, что же такое фашизм и что он с собой несет. Я тогда где-то прочла фразу (верно

у Шарля Морраса): *"Il faut servir l'idéal sans illusions!"* Это стало основным положением всех моих "собеседований" с иногда очень юными девочками, и неожиданно уж после войны кто-то из них пришел мне рассказать, что многое из того, что тогда говорилось, потом, во время оккупации, сыграло решающую роль в их поведении.

Лето 1938 г. я провела с Никитой, которому тогда было четыре года, в Белграде, и представляла его той, другой семье. Сестра моя жила очень хорошо, работала у одного из виднейших адвокатов Белграда, милейшего хорвата Олипа, квартира была просторная – в старом турецком доме с большим внутренним двором. Лето стояло жаркое, мы часто ездили на Дунай купаться, в доме вечно толклись русские белградцы. По вечерам играли в бридж на несколько столов, потом поздно садились ужинать. Устраивались пикники и поездки – словом, в этом новом Белграде, преображенном чудными стройками, парками, фонтанами, жилось весело и беспечно. А в середине сентября я с Никитой, моей сестрой и ее мужем Сергеем Ивановичем Энтель поехали в Блед на виллу Олипа, где нам открыли две громадные комнаты, кухню, ванную; это был бывший австрийский Тироль, очаровательное зеленое местечко на берегу небольшого озера; там отлично отдыхали, гуляли по лесам, где собирали массу рыжиков, которые потом солили, ездили на извозчиках в тирольских шляпах с перышком в дальние поездки по прекрасным бывшим австрийским шоссе... И вдруг, однажды утром Сергей Иванович вбежал в дом с газетой в руках, крича: "Война, война! Во Франции уже всеобщая мобилизация!" Да, да, за прогулками и рыжиками мы газет просто не читали... Эта новость ударила как молния.

Через час я уж решила, что нынче же, с ночным поездом уезжаю с Никитой в Париж. Настроение было паническое; сестра уговаривала меня остаться в Белграде, говорила: "Увидишь, немцы в неделю займут Францию, и война кончится, тогда и поедешь". Но я твердо решилась, и вот ровно в полночь ловкий носильщик побросал в тамбур вагона 3-го класса мои вещи, меня и Никиту, и поезд тронулся – а стоял он в Бледе всего одну минуту. Я успела крикнуть сестре, что весь вагон и все проходы заняты сидящими на полу сербскими эмигрантами, едущими в Америку с курами в клетках и кадками, что нигде нет свободного места. И мы поехали в ужасное путешествие среди обезумевших от страха перед начинавшейся войной пассажиров. У меня было с собой всего сто франков, что в пути оказалось невероятным осложнением... Так началась новая эра. Правда, война началась только через год, но уже все было ясно, карты были сданы, и козырями поначалу владел Гитлер. Поездка наша была ужасна: Никита от такой неожиданности, случившейся в его детской жизни совсем онемел; он хоть и не плакал, но судорожно цеплялся за мое платье; на швейцарской границе стояли целых пять часов – не то пропустят, не то нет! Но вот наконец мы переехали из Базеля швейцарского в Базель французский, нас прицепили

к другому поезду, поставили второй паровоз-толкач, и начальник станции в знакомой французской кепке на-бок, с раскрытым воротом мундира, малиновый от волнения, со слипшимися волосами, наконец махнул красным флажком и крикнул: "Eh là! roulez au diable!", и мы покатили в темный Париж, где все фонари были уже затемнены, вокзал тесно окружен конной полицией, и шла всеобщая мобилизация... А потом Мюнхен, всеобщий вздох облегчения, и через три недели, 13-го ноября, смерть моего отца.

* * *

Смерть отца была для меня неожиданным и тяжелым ударом; ему шел 72-ой год, уже несколько лет, как он болел диабетом, однако выглядел отлично, был еще полон сил. Мысль о грядущей войне его просто свалила, он считал, что все потеряно, и все повторял: "Нет, неужели и вторую родину потерять! За что это!" – заболел легким гриппом, через десять дней у него сделался удар, и еще через три дня он скончался.

О зиме 1938-39 г. воспоминаний мало, вся жизнь замерла для меня. Весной моя мачеха Елена Исаакиевна с двумя папиными собаками – громадными рыжими "chow-chow" – уехала в Грецию к родственникам, ее сын Боба Гревс уже жил в Александрии, окончив Кэмбридж, – словом, вся наша парижская семья истаяла и распалась. Няни у меня уж не было, и я металась с утра до вечера. Жизнь шла трудная, малоинтересная.

Объявление войны застало меня в деревне *Elincourt-Sainte-Marguerite*, недалеко от Компьеня, где я жила с Никитой – снимала там хорошую комнату; а привлекала нас там русская детская летняя колония *"Голодной Пятницы"* (удивительно неподходящее название для летнего отдыха!), куда я могла отводить Никиту на полдня и так сама немного отдохнуть: Никиту днем кормили обедом, и я его брала назад уж только в 5 часов. Это французское местечко было целиком освоено русскими эмигрантами, многие там сумели купить за бесценок пустующие крестьянские дома и, отремонтировав их, получили отличные дачи близ Парижа. Да и эта "Голодная Пятница" тоже привлекала многих русских, и бывало, в субботу и воскресенье, когда родители приезжали в *Elincourt* навестить своих отпрысков, на улицах слышалась одна русская речь. У меня там было много знакомых, словом, как-то вздохнула... И вот третьего сентября, около 3-х часов, в церкви зазвонил набат; очень быстро начали с поля бежать домой молодые люди, целые семьи – многие уж через два часа должны были из Компьеня отбывать по мобилизационному билету на поезде... Я вышла на главную улицу – там стояли толпы, люди выглядели сумрачно, переговаривались потихоньку – военного энтузиазма

и криков "гальского петуха" не было... На следующий день за нами приехал на машине Игорь Александрович и повез Никиту, меня и свою мать километров за 250 от *Elincourt* на запад, в глухую провинцию (департамент *Mayenne*) в château к родственникам нашего близкого друга Henri de Fontenay. Стояла жара, яблони кругом ломились от плодов, навстречу нам бесконечными колоннами шли к востоку полки за полками. Мы ехали почти молча: что же это? Еще одна война, а мы ведь вот только-только немного отдышались от всяких невзгод. Никиту укачало, он начал хныкать, томился, и никакие "солдатики" не могли его отвлечь.

Про наше пребывание в château семьи de B. стоило бы подробнее сказать... Я каждый день была глубоко несчастна – хозяева, остальные "беженцы" из Парижа, жившие в château, вся обстановка богатых и чрезвычайно при этом рассчетливых людей, ледяной и жесткий тон хозяйки дома, которая каждое утро по всякой погоде шла в шесть утра на раннюю мессу, абсолютно закрытое провинциальное общество, с которым я впервые так близко встретилась – все это было каким-то сном из прежней французской литературы...

Но, конечно, и там были милейшие и чуткие люди, и их стоит вспомнить с благодарностью. Это были садовник Adolphe и его жена. У них был недалеко от дома (это я уже говорю про городской дом семьи de B. в городке *Ernée*, куда мы всем миром переехали из château, – он был реквизирован под старческий дом, эвакуированный из Парижа через две недели по моем приезде, то есть 15-18-го сентября) флигель с садиком, и я к ним иногда заходила посидеть и отдохнуть душой; они всячески старались меня поддержать и все отлично понимали. Или семья местного нотариуса, или молодой доктор, к которому я водила Никиту, – но приходилось возвращаться в громадный, роскошный дом, где повсюду были гербы и холодное, никак не скрываемое недружелюбие!

Мне удалось вернуться в Париж только в конце декабря, преодолев невероятные административные трудности; иностранцам во время войны было запрещено передвигаться из одного департамента в другой; но полное отчаяние, до которого я тогда дошла, тоже неплохой двигатель: я, наконец, сумела добраться до главного города *Mayenne*, где было жандармское управление департамента, и там, дойдя до высшего начальства, раздобыла пропуск в Париж и ровно через сутки уехала. Никто меня не провожал, никто мне не помог собрать багаж и зашить в рогожи разные предметы, вывезенные в мобилизационной панике начала сентября; я одна, стиснув зубы, складывала никитину детскую кровать, сундуки моей свекрови и все благополучно довезла до дома.

В Париже, в комиссариате, никто на мой пропуск и не посмотрел, и служащий, пожав плечами, заявил мне: "Это они с ума сошли там в провинции с этими пропусками?! Все ездят, куда хотят, и дело с концом!!"

Вспоминая сейчас четыре месяца, проведенные в *Mayenne* в начале войны, ясно вижу, что многое тут было вызвано войной с Финляндией, которую тогда вела советская Россиия; нападение "русского медведя" на крошечную страну вызвало всеобщее возмущение, и владельцы château, так же как и остальные, жившие тогда у них (все люди очень богатые и почему-то почти все из Лиона) никак не умели меня, русскую эмигрантку, отделить от этой войны... Их колкие замечания по этому поводу, направленные будто бы лично против меня, выводили меня из себя. Но я ведь не "из милости" там жила – я платила хозяйке солидную сумму за питание; вопрос финансовый меня порядком смущал: не из-за него ли? Нет, просто войны будто пока не было, жизнь в Париже текла нормально, и они хотели, чтобы все скорее разъехались по домам, в том числе и я. Словом, незваный гость... а быть им куда как не весело!

"Чудна́я война"

Шла "чудна́я война". В Париже все, как всегда. Фронт? Да есть ли фронт? Да, конечно, была некая линия, которую никто не переступал, – ни та, ни другая армия. Ползли слухи. Все русские эмигранты были мобилизованы в армию, в том числе и Кирилл Кривошеин, младший брат моего мужа. Об этом А.Ф. Ступницкий напечатал несколько статей в *Последних Новостях*, ссылаясь на международный статут эмигрантов, запрещавший мобилизовать иностранцев и людей, не получивших французского гражданства, – а Франция в то время редко и трудно давала гражданство русским эмигрантам (кроме детей, родившихся уже во Франции). Однако, за редким исключением, все пошли в армию, и было немало добровольцев.

Я по природе своей пессимист, что может быть и достоинством, и большим недостатком – оптимистам живется легче. Мне представлялось, что это мнимое спокойствие, что эта "невойна" – когда-то, совсем нельзя предсказать, в какую минуту – лопнет как струна: тогда и пойдет потеха! Высказывать вслух такие мысли не очень стоило, однако с моими друзьями Угримовыми я обсуждала не раз этот вопрос, всех тогда мучивший; что же, наконец, дальше? Я пыталась их обоих убедить в том, что необходимо совместно снять какой-нибудь дом далеко от Парижа, где можно будет укрыться, когда все побегут. "Кто, куда побежит? Когда? – громыхал Шушу, – что это за выдумки и откуда это?" – "Нет, нет, –убеждала я с таким же жаром, вот увидите, побегут все, а у нас будет крыша над головой; когда, я, конечно, не знаю, но вы только вообразите, что будет, когда сотни

тысяч, миллионы будут бежать по дорогам!..” Наконец я достигла своего, и через своего шефа на работе Угримов снял в *Chabris* на реке Шэр большой дом, принадлежавший каким-то друзьям этого шефа. Цена была порядочная, 500 фр. в месяц – тогда это были немалые деньги; экономический кризис сказывался на нас всех, но подрядились – плати! Шушу любил меня изводить и пенял, что мы так роскошно содержим пустой дом за двести километров от Парижа...

Десятого мая 1940 г., прочтя утренние газеты, мы с мужем поняли, что знаменитая линия Мажино, где находился как раз Кирилл, уже целиком отрезана немецкими войсками. ”Чудна́я” война кончилась, началась настоящая. Однако ничего кругом не изменилось. Прошло еще несколько дней, и я начала убеждать Игоря Александровича, что теперь уж пора ехать в *Chabris*, да поскорее; он только отмахивался, считал, что уезжать не из-за чего. Я занялась тем, что вообще делала редко, а именно ”пилила”: едем, едем, скорее, скорее! Опять пришлось отправиться в бюро, где выдавали пропуска иностранцам. Это уж было числа 18-го. Боже, что там делалось! Человек пятьсот, не меньше, чуть ли не с дракой пытались добраться до вполне ополоумевшей девицы в окошке. Тут уж дело быстро шло – через нашего друга Вл. Леон. Вяземского, который в это время был переводчиком при французском премьер-министре Поле Рейно, получили мы требуемый пропуск; однако Вяземский попросил, чтобы мы обязательно взяли с собой его жену Софию Ивановну... Мы были этим весьма смущены и, наконец, я решила спросить Вяземского, в чем дело. ”Немцы в семидесяти километрах от Парижа, – отвечал Вяземский, – и если кабинет премьер-министра вдруг решит эвакуироваться, я уеду, ну а жен брать с собой Правительство не может”. Так все стало на свои места, и вот 20-го мая в половине пятого утра мы покинули Париж: мы двое и Никита – с небольшим скарбом, и София Ивановна – с двумя собаками: Моной и Дэви.

Выехали из города на Орлеанское шоссе: сперва ехали отлично, Игорь Александрович спешил – накануне вечером его завод получил приказ об эвакуации куда-то на Луару, ему надо было к пяти вечера вернуться в Париж. Но жандармы заставляли нас сворачивать на объездные дороги; это было скучно и непонятно – шоссе ранним утром казалось почти пустым. Часам к восьми перед нами по правой стороне дороги потянулась бесконечная вереница грязных машин, тяжелых повозок, запряженных исполинскими голландскими першеронами, грузовиков, набитых чумазыми от пыли, изможденными людьми; и пешком – десятки, сотни людей, колясок, повозок с инвалидами, семьи с детьми на плечах; одно время мы ехали рядом с бельгийским грузовиком, который вез тридцать девочек лет 10-12-ти, в белых платьях и белых вуалях, с венчиками на голове; с ними ехал и кюре, который преподал им первое причастие. Я успела его спросить, откуда они? Он ответил, что из бельгийского города

Монс, немцы уж входили в город, а он успел, к счастью (!), всех детей прямо из церкви увезти.

Мы сперва громко удивлялись, показывали друг другу машины – эта из Голландии, а эта из Бельгии, но потом просто замолкли; зрелище было неожиданное, грозное... Они уже целые дни так близко от нас шли и шли, брели через силу – а мы этого просто не знали!

Шабри

Мы благополучно добрались до Шабри; прекрасный, просторный дом на самом краю села нам открыла милая соседка, и в два часа дня мой муж уехал назад в Париж. Не проще ли было сидеть и ждать событий в Париже? Но перед немецкими полчищами у всех был несказанный страх, а мужчины боялись сразу быть взятыми в плен и вывезенными на Восток.

Вскоре наш дом в Шабри наполнился жителями: сперва Юленька Горбова с трехлетней дочкой Мариной, позже приехал и ее муж, Миша Горбов, работавший на заводе "Ситроэн" – умница, прелестный, чистый человек; а там и Угримовы, и их старики; а уж перед самым концом, уже в самую лавину, когда двинулось 12 миллионов с северо-востока Франции к югу, еще и другие – Михаил Андреевич Осоргин и его жена Татьяна Алексеевна Бакунина, родители Татьяны Алексеевны, Алексей Ильич и Эмилия Николаевна. Создался и особый быт: молодые женщины по очереди ходили в село за продуктами, готовили, вечером мыли кухню; одна из более пожилых дам помогала, – а Надежда Владимировна Угримова занималась тремя детьми: Таткой, Никитой и Мариной; она знала бесконечное количество стихов и песенок и по-русски, и по-французски, учила детей забавным сценкам в стихах по системе Жака Далькроза. Характер у нее был спокойный, выдержанный, и вместе с тем решительный, даже настойчивый. А дети были в состоянии полного аффекта от тысяч машин, пролетавших мимо нашего дома – целый день длился этот звук: жик-жик – сломя голову, дальше на юг, и вплоть до Средиземного моря, от итальянских самолетов, целыми днями летавших над нашим Шабри на высоте сорока-пятидесяти метров – казалось, они вот-вот сядут прямо на дом. Меня это с ума сводило; остальные к самолетам относились спокойнее. У меня сразу делался звуковой шок, с которым я не могла справиться: хотелось забраться в погреб, но погреба не было, или, еще лучше, стрелять самой в эти металлические птицы, остановить их отвратительный клекот.

Много народа прошло через наш дом в Шабри и во время исхода; много мы повидали страшного. Разнообразнейшие задачи – и просто хозяйственные, и более сложные – приходилось нам с Ириной Николаевной за эти месяцы решать; мы с ней обе были на равных правах хозяйками дома, и одна без другой ничего не предпринимали, но уж если решение было принято, то оно исполнялось всеми; иначе в это перенапряженное время и нельзя было. К счастью, Ирина Николаевна – одна из самых разумных и приятных женщин, которых мне пришлось встретить в жизни; наши с ней вечерние совещания всегда проходили мирно и оперативно, а закончив деловую часть, мы старались подойти к общей ситуации с известным юмором, но без иронии, не до этого было, – так получалась необходимая разрядка... И быстро расставались, когда из наших комнат обычно слышались детские голоса: "Мама! Мама! Я не могу спать! Мама, где ты? Мама, боюсь, мама, мама!!"

Шабри оказался местом последнего сражения, данного армией генерала Вейгана незадолго до перемирия в *Montoire*; бесконечное количество беглецов всякого рода прошло перед нашими глазами через Шабри; больше всего, пожалуй, было жалко солдат, пробивавшихся в одиночку или по двое-трое, – пыльных, усталых, голодных, с трагическими лицами. Они боялись всех, ведь их все бросили, начальство их было – где? – частью далеко уж к Западу, удрав вовремя на машинах, частью уже в плену. Население Шабри их звало "les traînards" – чрезвычайно образное и неласковое слово, нечто среднее между "бродяга" и "горемыка", и молчаливо глядело на то, как они, таясь от какого-то воображаемого начальства или от внезапно догнавшего их немца, шли по обочине, таясь в кустах, и бросали, не стесняясь, оружие. Как-то в сильную жару четверо таких совсем чумазых рядовых сели в овражек перед нашим домом немного передохнуть... Я, наконец, вышла и спросила их, не хотят ли они пить. "Да, конечно, будьте добры!" Я вынесла им сперва просто воды, а потом, посоветовавшись в Ириной Николаевной, и горячего кофе с белым хлебом. Я ясно чувствовала, что из соседних домов за мной следят любопытные взоры и, пожалуй, не одобряют... Но потом к нам стали подходить, постепенно образовалась целая группа жителей. Солдаты вслух, не стесняясь, кляли начальство, англичан, немцев – всех на свете! Какой-то старик, ветеран войны 1914-18 г., начал их жестко упрекать, страсти разгорелись, и я быстренько забрала кофейник и чашки, попрощалась со всеми и ушла в дом. Бедные воины тоже тут же встали и побрели дальше, правда, уже без винтовок – их они побросали в кусты; много позже местные власти бегали и их собирали, а то ведь немцы могли потом кого угодно из жителей обвинить в несдаче оружия... То, что немецкая армия скоро появится и в Шабри, становилось все яснее, и числа 15-16-го июня настроение стало тревожным.

Завод *"Lemercier Frères"*, на котором работал мой муж, был явакуирован в спешке и суматохе 13-го июня, и находился в это время километров в семидесяти от Шабри. Игорь Александрович добрался к нам в Шабри, пока еще ходили поезда; он хотел, чтобы мы с Никитой переехали к нему, но я боялась двигаться: казалось, это самое страшное – покинуть дом и очутиться в потоке бегущих людей. Он уехал и нашел, что его машину уже угнали служащие *Lemercier*, стремившиеся, как все, к югу. После многих волнений я попробовала было проехать в соседний городок *Romorantin*, однако оказалось, что поезда уже не ходят, и наш сосед, увидевший меня с Никитой у остановки электрички, ахал и охал, сомневаясь, в уме ли я: "Всюду вокзалы бомбят, один ужас, а ведь здесь вы живете спокойно!!" Что же, все правильно, я вернулась в дом, который уж стал теперь "наш", и... стала ждать, что дальше.

Уже и до того я уговаривала всех, кто у нас был способен, скорее начать рыть в саду окопчик для детей; сперва все пожимали плечами, однако... все же рыть начали, рыли и Михаил Андреевич, и Татьяна Алексеевна, и особенно Шушу Угримов, который в это время очутился в Шабри. После боя мы узнали, что не было ни одного дома в Шабри, где бы во дворе не вырыли траншеи. Жандармы нас предупредили, что приказ об эвакуации Шабри можно ждать с минуты на минуту, и мы начали готовиться всерьез: достали два больших мешка и, не торопясь, запихивали в них всякие вещи – все, что могло быть необходимо для бегства с тремя детьми.

Наступило 18-ое июня. Париж был уж занят вермахтом, и немецкие силы безудержно стремились к югу и западу от Парижа. В этот знаменательный день, часов около пяти, генерал Де Голль произнес свой знаменитый призыв к Сопротивлению и продолжению войны вне территории Франции. Мало кто сам своими ушами этот призыв слышал. Миллионы французов были в бегстве далеко от своих домов, и мало у кого мог быть радиоприемник. Кое-кто, несмотря на разруху, был в это время дня на работе, а сотни тысяч военных уж томились в плену. Но так вышло, что я призыв Де Голля слышала сама; и весь этот день, и этот тогда еще незнакомый голос, необычная манера французской речи, самая фамилия (сперва я подумала, что это политический псевдоним!) – все было удивительно и неожиданно!

Кто-то прибежал к нам и шепотом сообщил Надежде Владимировне: "Торопитесь, скорее, скорее, слушайте радио! Говорит какой-то генерал!" А в доме, в Шабри, был плохенький радиоаппарат, меня стали звать: "Идите, живо, слушайте и рассказывайте нам".

Радиоаппарат стоял на стуле, я встала перед ним на колени, и Надежда Владимировна накинула мне на голову два тяжелых одеяла, чтобы было лучше слышно. Я сперва как-то ошалела, не все понимала – говорил Лондон, и то, что я слышала, казалось совершенно немыслимым: никому неизвестный генерал призывал

из Лондона продолжать борьбу – Франция проиграла лишь одно сражение, а не войну... Он призывал всех офицеров, солдат, военных инженеров, летчиков и моряков продолжать войну, присоединяться к нему и вступать в ряды войск Свободной Франции. И через два часа уж будет открыта запись по такому-то адресу в Лондоне!

И кончил: "Vive la France!"

Я высовывала голову из-под одеял и по-русски сообщала всем, что говорилось; кто-то восклицал – да кто же это? от чьего имени он говорит? да как же это в Лондоне записываться?.. Все были чрезвычайно взволнованы, кто-то даже заплакал.

Уже после войны мы узнали, что Де Голль с трудом выговорил себе время на английском радиовещании, приехал на такси со своим адъютантом, а какой-то английский офицер, случайно бывший во дворе Би-Би-Си, сфотографировал этих двух офицеров во французской форме; прессы никакой не было, и снимок оказался потом уникальным.

К вечеру 19-го июня все наши приготовления к эвакуации были закончены, оставалось ждать. Дети липли к нам, как мухи: "Для чего мешки? А мы когда уезжаем? А кого посадят в траншею?" Мы их с трудом уложили и решили сесть играть в карты; для меня это было каким-то видом "социального мученичества" – играть в карты я никогда не умела, считать или запоминать, что вышел уж тот или другой валет или король, я всю жизнь была неспособна. А тут все играли в классическую старинную французскую игру *belote*, мне почему-то часто приходилось быть партнером Михаила Андреевича Осоргина, он играл страстно, и когда я снова и снова не могла запомнить, что в этой игре почему-то валет старше туза, приходил в отчаяние и причитал над моей глупостью. Около часу ночи постучали в окно, мы выскочили: неужели ночью пришли жандармы? Но это был Игорь Александрович. Он раздобыл велосипед и долго ехал непривычное для него расстояние в семьдесят километров, заблудившись на пустых шоссе с темными домами, где не светилось ни одного огонька. К счастью, часов в десять ему повстречался старик, вышедший поискать свою собаку, и направил его на верный путь. Все служащие завода, да и сам патрон, удрали на юг, забрав и нашу машину; так мы оказались все вместе. Утром, около 8 часов, нас разбудила артиллерия! Начался бой за переправу через реку Шэр. Снаряды падали все чаще; сперва всех детей, Надежду Владимировну и Юленьку Горбову усадили в траншею; сами же мы были в доме или, скрючившись, ползали по саду под деревьями. Мы знали, что вечером со стороны Шабри заняли позицию четыре небольших танка, ими командовал молодой сержант, человек решительный и спокойный, уверенный в том, что он обязан продолжать сражаться против немцев, сколько бы их на той стороне реки не было.

По совету Александра Ивановича Угримова руководителем и командиром на время боя был выбран мой муж – он один из всех

был боевым офицером да и к тому же артиллеристом. Часам к одиннадцати утра обстрел Шабри стал усиливаться. Под большим деревом около дома был собран совет "мужей" – решили, что, если только дело станет хуже, придется всем убегать в лес; до леса было около полутора километров, и дорога туда шла среди полей, но сперва вдоль железнодорожной линии, по которой ходил электропоезд в один вагон, знаменитая *micheline*. Игорь Александрович наметил, что группы должны бежать по очереди, каждые пять минут. Но вот снаряд, а потом и второй, попали прямо в соседний с нами дом, и Игорь Александрович крикнул: "Пора, первая группа – беги!" Первыми из дальнего угла сада выбежали Юленька Горбова с Мариною на руках, почти одновременно, Татьяна Алексеевна и Михаил Андреевич, через 2-3 минуты за ними, Эмилия Николаевна и Алексей Ильич (Бакунины); когда снаряд шлепнулся справа от узкой земляной дороги, трехлетняя Марина очень строго сказала: "Ужасно не люблю, когда стреляют!"

Старики Угримовы отказались покинуть дом – и минут через десять побежали мы. Впереди Шушу, Ирина Николаевна и Татка, а метров тридцать-сорок за ними – мы трое. И Шушу, и И. А. тащили громадные тяжелые мешки; как только издали слышался свист снаряда, И. А. громко кричал: "Ложись!" – мы шлепались на землю, я тащила Никиту, он падал, и я кидалась на него, чтобы его защитить; испуганные дети сдерживались, не плакали, а пока мы ждали новой команды: "Беги!", Никита, лежа, вслух читал *"Отче наш"*. После третьего снаряда (а они рвались все ближе) мы совсем запыхались, остановились и даже посидели на обочине, где росли небольшие кусты... Меня вдруг охватил бешеный припадок смеха – нет, не то, чтобы какая-то истерика, мне было по-настоящему смешно, и я, захлебываясь, выкрикивала: "Вот и спаслись от немцев! Вот и платили столько времени за дом, а они нас догнали, и мы с тремя детьми как зайцы бегаем под обстрелом! Ну и удачный у меня был план!!" Вскоре мы все покатывались со смеху – видимо, это нам было полезно и нужно, и дальше, до леса, мы бежали уже менее напряженно.

А в лесу уже была вся деревня; жители убежали туда еще в восемь утра, и мы сразу почувствовали, что на нас смотрят косо: чего мы, мол, делали в Шабри, когда все давно здесь? Мы собрались вместе, царило напряжение; Никита подошел ко мне и спросил: "Мама, дайте нам с Таткой бутерброды и чаю – мы голодные, ведь это пикник!" Да и правда, уж было около полудня, мы с Ириной Николаевной развязали мешок, достали бутерброды, булочки и термос с чаем, и дети с удовольствием, шутя и смеясь, стали завтракать – не только они, но и Ирина Николаевна, и я тоже, и наши мужья последовали их примеру. Время шло, казалось, лесок нас на время скрыл – а вдруг грянет авиация? Эта мысль была у всех... Рядом с нами начал надрывно плакать младенец месяцев двух-трех,

он совсем зашелся, и я подошла к молодой женщине: почему он так, не болен ли? Она мне ответила довольно резко, даже со злобой, что с восьми утра уж здесь, сама не кормит, а бутылку с молоком забыла дома! "Давайте попробуем его покормить", – продолжала я, вытащила из мешка сгущенное молоко, кипяченую воду, чашку и кофейную ложечку. Развели молоко с водой в чашке и пытались лить в рот младенцу, но тщетно: он не знал, что ложка – это тоже еда, отчаянно крутил головой, бил кулачками и неистово кричал. Вокруг нас начали собираться женщины – надо было что-то придумать. Тогда я взяла ненадорванный пакет ваты, сделала жгутик, обмакнула его в молоко и стала выжимать младенцу в раскрытый рот. Вот это он быстро понял и вскоре, наглотавшись молока, вздохнул и внезапно крепко заснул! И сразу завязался со всеми самый мирный разговор – зачем мешок? Да как это вы додумались все это приготовить? А вот у нас ничего с собой нет... Мы ответили скромно, не кичась: вот у нас с собой и лопата, и кирка, бинты, теплые вещи, кто его знает, может и еще придется бежать – ведь бой продолжается. Как мы потом узнали, немцы выпустили на Шабри более двухсот снарядов; четыре танка, защищавшие шабрийский мост, и их начальник, старший сержант Морис Тевенен (maréchal des logis Thévenin), отступили от Шабри к югу, по направлению к замку Валансэ, часов около двух дня Тевенен своих людей распустил, дал им время скрыться, а когда его настигли немецкие броневики, открыл по ним огонь из автомата – и был убит. Немецкие войска дошли до Валансэ, но потом вернулись к Шабри и дальше не двигались..., а ведь в замке Валансэ были спрятаны все самые знаменитые шедевры из Лувра; видно секрет этот хорошо хранился; никто в округе об этом не знал, да и мы тоже, конечно.

Жители Шабри и, особенно, священник, считали, что битва "наша" протекла не без прямой помощи Жанны д' Арк, – да и верно, каких-то двадцать солдат во главе с юным старшим сержантом, с восьми утра и до половины третьего успешно отстаивали переправу через Шэр, а было у них всего четыре небольших танка! Убитые и раненые были с обеих сторон – немного, два, три человека. Когда демаркационная линия прошла вдоль по Шэру, и Шабри очутился в свободной зоне, тело убитого Тевенена было перенесено в Шабри и предано земле со всеми воинскими почестями. Мы на этой церемонии, конечно, присутствовали.

Прошел июль, потом и август. Народ хлынул с юга назад к своим пенатам. Сперва все шло гладко, но в начале августа вдруг закрыли все мосты через Шэр – и в нашем Шабри на три недели застряло больше десяти тысяч беженцев. Ночевали в машинах, на улицах, в амбарах. Мэр Шабри был не только человек приятный, но дельный и распорядительный: он немедленно наладил походные кухни, нормировал хлеб, устроил раздачу мешков и сена, чтобы людям было на чем спать, а три шабрийских жандарма следили

за тишиной и приличием – впрочем, никаких ссор или драк не было, все слишком пали духом.

В начале сентября большинство беженцев понемногу уехало в ту зону; да и шла запоздалая уборка полей, картофеля, яблок; тут еще проживало много фермеров, а им сама природа диктует, что делать. С продуктами стало похуже, а главное – ни у кого из нас больше не было денег, пересылать деньги из Парижа стало невозможно; взять в долг в Шабри? Но кто в такое время даст? И вот опять грозно стал вопрос отъезда домой, в Париж, где уже давно были и Шушу Угримов, и мой муж; они покинули Шабри еще до разделения Франции на две зоны. Да и по ночам стало холодно; топлива у нас было мало, а купить удавалось только для кухни.

В середине октября Ирина Николаевна надумала подать в местное управление жандармерии заявление о том, что дети, Татка и Никита, заболели, и их необходимо показать врачу, который живет на той стороне Шэра, в местечке Жьер *(Giers)*... Казалось, такой план не так уж убедителен, и всем будет понятно, и жандармам тоже; однако нам сразу выдали пропуск для посещения Жьера на одни сутки... Мы, не мешкая, наняли старинную коляску на громадных высоких колесах, сложили ночью вещи, наутро с двумя детьми и черным котенком переехали мост и, не без некоторых приключений, к вечеру оказались в Париже.

Сейчас уже трудно себе представить, что это было – увидеть немецкую военщину на улицах Парижа; я два дня не решалась выйти из дома, но, конечно, все же пришлось – нет, привыкнуть к этому немыслимо! Через несколько дней я приняла твердое решение: выходя на улицу, немцев просто не видеть, сказать себе, что их нет. Это оказалось отличным приемом, и еще через две недели спокойно шла за покупками или стояла в очереди за картошкой и овощами, начисто игнорируя многочисленных офицеров, поселившихся в роскошных гостиницах нашего квартала.

* * *

Чтобы совсем покончить с Шабри, еще несколько слов о всех тех, кто жил там с нами под одной крышей: София Ивановна Вяземская со своими собаками побыла недолго, и, когда французское правительство эвакуировалось из Парижа, ее муж, которого все друзья звали просто "Адишка", он же Владимир Леонидович, заехал за ней и дочкой Ниной (которая тоже на несколько дней приехала к матери в Шабри) и увез их на машине с собой в Тур и дальше в Бордо.

Миша Горбов, Юленькин супруг, побыл недолго и спешно уехал на юг, боясь попасть немцам в плен. О нем у нас на всю жизнь сохранилось светлое воспоминание: он был приятный, с хорошими

манерами москвич, ум имел тонкий и острый. Мы его все очень любили; Яков Николаевич, его старший брат, считался умнее и красивее младшего, был широко образован, но язык у него был не просто острый и веселый, а мрачно-ядовитый, а взгляд его очень красивых серых глаз какой-то тяжелый.

Однажды на один день появились все дети В.Н. Лосского с Магдалиной Лосской, их матерью; отмылись, отоспались и уехали дальше к Бордо, где их ждали друзья. Тогда младшей девочке Кате было всего два года.

Во время этого повального бегства на два дня прибежали друзья Миши Горбова: русский армянин, тоже с завода "Ситроен", с женой – полячкой, очень красивой и видной женщиной, и сыном лет 14-ти. Мальчик выпил литра полтора воды, упал на мешок с сеном и проспал чуть ли не двадцать часов сряду. А мать, чудом спасшаяся из Варшавы в 1939 году и перенесшая там страшную бомбежку, тут у нас в Шабри сошла с ума: с ней сделался внезапный буйный припадок, и она удрала из дома; за ней гнались и София Ивановна, и Юленька, и Ирина Николаевна... Она добежала до центра, где ее с трудом поймали и связали, – у нее была та страшная физическая сила, которая приходит к людям, потерявшим рассудок. На следующий день, несмотря на лавину машин на дорогах, ее, стараниями мэра, отвезли за 50 км. в сумасшедший дом в городке Иссудэн; два дня спустя она выбросилась из окна с третьего этажа, но осталась жива. Ее муж с сыном уехали от нас на юг, больше мы их не видели. Знаю только, что вся эта семья потом воссоединилась, а молодая полячка стала понемногу почти нормальной.

Александра Ивановича и Надежду Владимировну Угримовых я и раньше знала – правда, не очень близко, но все же; из Шабри они вернулись в Париж в 1944 г., когда ушли немцы. А вот Осоргины и родители Татьяны Алексеевны Бакуниной были близки Ирине Николавне, но для меня людьми новыми. Мать Татьяны Алексеевны была врачем, как и ее отец, Алексей Ильич; его я мало видела, а Эмилию Николаевну узнала ближе. После войны она была врачем в Русском доме в *Sainte-Geneviève-des Bois*, купила себе там домик – он и до сих пор остался во владении Татьяны Алексеевны. Татьяна Алексеевна – великий специалист по библиотечному делу и по русской библиографии; она работала в Париже в Национальной Библиотеке, где в течение десяти лет заведовала русским отделом, а сейчас заведует Тургеневской Библиотекой в Париже. Ее муж, Михаил Андреевич Осоргин (Ильин), писатель и когда-то эсэр, был лет на двадцать старше жены – живописный, высокий, на все реагировал шумно и определенно, у него были четкие взгляды на все и на вся. Он был полный невер, чего и не скрывал; я в нем ценила приятный тембр голоса, отличную манеру русского говора – не деланную, сценическую, какую приходилось мне слышать у таких артистов как наши Качалов или Григорий Хмара (я их обоих встре-

чала в Берлине в 1922 г.) – нет, всегда и по всякому поводу он высказывался на отменном русском языке, без всякой фигурности или спеси...

В нем еще привлекало то, как к нему льнули наши дети, и Татка, и Никита, и даже маленькая Марина. Я всегда чрезвычайно ценила в людях дар, именно дар, а не умение – легко и без всякого труда заполучить доверие маленьких людей. Михаил Андреевич рассказывал им и сказки, и какие-то истории, не то про животных, не то про свои путешествия, и они, всегда все отлично понимая, без конца ходили за ним по саду. Наша игра в *belote* по вечерам для меня была какой-то "общественной нагрузкой", но нельзя было всех лишать четвертого партнера, хотя бы и такого безталанного, как я. Эта игра меня очень сблизила с Михаилом Андреевичем, он хватался за голову, говорил, что он в последний раз со мной садится за карты – но никакой обиды мне от него не было, а, пожалуй, я не от всякого приняла бы так смиренно эти его "карточные нарекания", пусть и шутливые. Он до сих пор остался для меня вполне живым, хоть и скончался в 1942 г. в Шабри (там и похоронен), и знакома я с ним была всего лишь четыре летние месяца жизни.



Н.А. Кривошеина с сыном Никитой
(Париж 1935)



Париж 1943

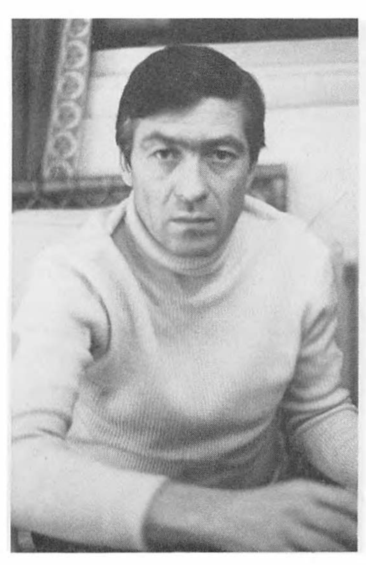
И.А. Кривошеин



Москва 1954,
по выходе из Лубянки



И.А. Кривошеин





Н.И. Кривошеин Париж 70-ые годы Н.А. Кривошеина

В ОККУПИРОВАННОЙ ФРАНЦИИ

Про четыре года немецкой оккупации, про освобождение Парижа и про генерала Де Голля, про весь 1945 год, когда во Франции вновь началась война, про движение Сопротивления – про это все написаны многие и многие тома, бесконечные воспоминания и мемуары, статьи, песни, поэмы. Поставлены и великолепные и скромные памятники, и прекрасные, и совсем банальные... Каждый год 18-го июня у монумента-памятника на *Mont Saint-Valérien* происходит торжественная военная церемония памяти погибших и депортированных участников Сопротивления – у этой стены в конце 1944 г. были расстреляны сорок юных "резистантов", еще почти мальчиков, преданных гестапо одним их крупнейших немецких провокаторов, сумевших затесаться в ряды Сопротивления. В это же время и Игорь Александрович был предан провокатором и попал в лагерь смерти Бухенвальд, где пробыл целый год... В Париж он вернулся полуживым-полутрупом 1-го июня 1945 г.

Как мне справиться с задачей описать и вспомнить это время? Разве что отдельными эпизодами, портретами, сценами...

Возвращение в Париж в 1940 г.

Едва мы вернулись из Шабри в Париж, Никита затеял игру, в которую с азартом и без устали играл два-три месяца: он достал у меня несколько мотков старых веревок, распустил их и, переставив в столовой нашей трехкомнатной квартиры на rue Jean Goujon все стулья, как-то ловко их от прихожей до своей комнаты связал веревками, никого не пропускал и строго спрашивал: "Vous allez en zone libre ou en zone occupée?", а затем делал вид, что подробно читает пропуск, и только тогда можно было выбраться из хитрых

веревочных заслонов. Я сперва сердилась, в то время мне беспрестанно приходилось спешить, бежать из одной очереди в другую – а тут надо было серьезно отвечать, куда, мол, еду, в какую зону... Да, весь этот период бегства – начиная уже с пребывания у Mme de B. – необходимо было мальчику шести лет как-то из головы выкинуть; и потоки беженцев, и сражение в Шабри, и все волнения возвращения домой в откт
ябре – все это произвело на него глубокое впечатление; таким "театром для себя" он освобождался от всего этого, непонятного ему.

Карточки на продукты появились, но не сразу; зима была холодная, немцы велели переставить часы на три часа назад, все школы были закрыты, детей на улицах Парижа в эту первую зиму оккупации почти не было видно. В феврале грянула эпидемия гриппа, в жару и диком бронхите валялись целые семьи. Мы жили в старом доме, где в каждой комнате был камин; уголь в эту зиму можно было легко достать, и я топила в столовой печку медленного сгорания, так называемую "Саламандру", и от холода мы не страдали. Но питались плохо, скудно, однообразно, сахара почти не было, да и соль было трудно достать.

Но вот в январе на той стороне Парижа, за мостом, открылась частная школа, и я стала по утрам до 12-ти водить туда Никиту. Он был самый низкорослый и щуплый. Директор, весьма необычный человек и к тому же слепой, не очень-то хотел его принимать, но я его уговорила, сказав, что мальчик лишен всякого общения с другими детьми. И вот мы по утрам начали ходить в эту школу – ходу было около четверти часа. Морозы стояли для Парижа небывалые: минус 15°, даже минус 18°, снегу было уйма, его никто не убирал, и он громадными сугробами лежал вдоль тротуаров. Как-то мы с Никитой в полдевятого утра вышли на улицу; луна светила вовсю (ведь по солнцу было всего полшестого), снег блестел и играл на морозе, на улице было пусто и тихо. Никита вдруг остановился и испуганно спросил: "Maman, où allons-nous?" И, действительно, куда же это я его тащила по этой зимней снежной пустыне из теплой, уютной кровати?

Нет, поддаваться этому соблазну было нельзя; несмотря на немцев, жизнь продолжалась. К весне на улицах Парижа появились автобусы на газогенераторных установках, метро работало более или менее исправно, частных машин не было, такси тоже – одни немцы гоняли на серых военных машинах – они ездили с бешеной быстротой и не обращали внимания на пешеходов; постепенно появились и велосипедные "рикши": коляску везли двое, как в старой английской песне: "*on a bicycle made for two*". Я как-то тоже проехала на рикше – в больницу и назад домой.

Еще один эпизод из нашей жизни первого года оккупации, и опять про Никиту. В эту зиму через моих друзей Игнатьевых – в частности, через Ольгу Алексеевну, сестру генерала Алексея

Алексеевича Игнатьева, вернувшегося в Россию в 1923 или 1925 г., — я познакомилась с милой русской женщиной, некогда прислуживавшей Екатерине Николаевне Рощиной-Инсаровой, великолепной актрисе Александринского Театра, и в гражданскую войну на юге России вышедшей замуж за младшего брата Ольги, Сергея Алексеевича. Эта особа (фамилии ее не помню) жила на соседней с нами улице, снимала однокомнатную квартиру, тоже в старике-доме, вроде нашего, и звали ее Варвара Ильинична. Она боготворила свою бывшую хозяйку Рощину-Инсарову, ставшую графиней Игнатьевой, и ее сына Алешу, которому в то время было уже за двадцать лет и которого она в свое время воспитала. Варвара Ильинична и стала за небольшую мзду водить Никиту днем гулять, утром она же отводила его в школу. А в те дни по Парижу сновало бесконечное количество брошенных во время бегства собак; они одичали, а некоторые из них бежали за людьми и страшными, отчаянными глазами умоляли их приютить... Около нас и по соседнему с нами мосту Альма, сновал белый фокстерьер — мы с Никитой его несколько раз встречали и очень жалели.

Этот фоксик снова попался навстречу Никите и Варваре, когда они шли из школы, а сразу за фоксиком шел, прогуливаясь, высокий немецкий офицер в шинели, в форменной фуражке, со стэком в руке и... с моноклем в глазу! Таких почти карикатурных фигур в немецкой армии уж было мало — редко попадались пруссаки с моноклем. Все подробности были рассказаны мне Варварой, с белым от страха лицом, когда они с Никитой вернулись домой... Внезапно Никита вырвал руку из Варвариной руки (а ей было строго наказано руку его ни в коем случае не выпускать из своей), подбежал вприпрыжку к офицеру, встал перед ним, загородив путь, и, топая на него ногами, стал громко кричать ему по-французски: "Возьмите эту собаку, вы должны ее взять, это из-за вас она потеряла свой дом, вы обязаны, обязаны ее взять!!" Немец, который, видимо, хорошо знал французский, нагнулся к Никите и сказал ему: "Mais, mon garçon, je ne peux pas prendre ce chien, il n'est pas à moi". Тогда Никита в бешенстве стал с плачем и криком бить офицера по шинели и все громче повторял: "Но это вы виноваты! C'est vous qui êtes fautif!!" Кой-кто из прохожих остановился, немец, видно, вполне все понимал, и повторял: "Mais je regrette, je regrette" — и бедная, оторопевшая от неожиданности и страха Варвара, наконец опомнилась, подбежала, схватила Никиту за руку и пролепетала немцу что-то вроде: "Li Nikita, li bon garçon, vous pardonnez" (ее французский язык почему-то сильно смахивал на манеру говорить алжирцев). Немец покачал головой, отдал Варваре честь и пошел дальше, а Варвара не помня себя дотащила заплаканного Никиту до дома и десять раз подряд мне все наново пересказывала — а главное, как это она упустила Никитину руку, ведь держала крепко!..

Конечно, такой инцидент мог кончиться и плачевно, я знаю несколько случаев, когда из-за неосторожного слова ребенка, сказанного при немцах, бывали всякие неприятности.

* * *

Зима эта тянулась долго, над Англией гремел блитцкриг, каждое воскресенье в десять вечера я, накрывшись платками, слушала по Би-Би-Си передачу Пристли: он подробно повествовал о ночной жизни Лондона под бомбежкой немецких самолетов – про мальчика, который в бомбоубежище учит уроки на завтра, про старую леди, которая в корзинке тайком приносит в подвал собачку, хоть это и строго запрещено, – но ведь не оставлять же ее одну в квартире – она так боится...

22-ое июня 1941 г.

В этот год мы недорого купили у какого-то любителя-самоучки приемник. По звуку и чувствительности приема станций из всех стран света он оказался первоклассным – он еще потом служил мне в Ульяновске, благодаря ему я и там не потеряла связи с остальным миром и слушала все ту же Англию... Почему-то слышно было только по-немецки, но и на том спасибо!

Весной 1941 г. настроение у нас стало много тревожнее: мы ждали, что вот-вот снова разразится война. Мы понимали, что немцы не ограничатся тем, чтобы аккуратно занимать юго-восток Европы одну страну за другой. Ходили всякие слухи... Но вот наступило памятное воскресенье 22-го июня. Я кончала причесываться, когда Никита вбежал в ванную с криком: "Война, война, Гитлер напал сегодня в пять утра!" Я бросилась к приемнику, перевела на немецкую волну – и сразу полилась речь Геббельса, которую без конца повторяли: "Сегодня в пять утра наши славные войска... Сопротивления пока нет, продвижение внутрь страны идет усиленным темпом..." Все стало на место, вот и случилось, и началось, чего ждали. Позвонил Henri de Fontenay, сказал, что бежит к нам, еще кто-то... И звонок в дверь. Слышу, солдатский голос спрашивает: "Sie sind Russe?" – "Ja" – отвечает Игорь Александрович. Голос: "Also sind sie verhaftet". В столовую входят два громадных фельджандарма с кольтами в руках и начинается то, что стало потом как бы немецким рефреном: "Also schnell, los, los! Sie gehen mit!"

Мы все трое стоим оторопев, Никита начинает плакать. "Молчи, — говорю ему по-русски, — это враги, при них не плачут!" — и, быстро тараторя по-немецки, прошу главного дать нам несколько минут, чтобы собрать хоть немного вещей. "Gut, aber schnell, bitte". Игорь Александрович и Никита идут в спальню собрать маленький чемодан, я им подаю носки, мыло. Спрашиваю опять: "Bitte, sagen Sie mir, wo kann ich jetzt Auskunft haben?" Старший долго смотрит на меня стеклянным взглядом: он, видимо, поражен, что я владею его родным языком не хуже, чем он сам. Наконец, все же отвечает: "Zwo und siebzig avenue Foch", т.е. авеню Маршала Фош. Спрашиваю: "Aber was ist es denn da, an dieser Adresse?" Он молчит долго, наконец внушительно говорит мне: "Es ist ein Haus". Ну и дальше: "Los, los". Хватают Игоря Александровича за руку, суют ему кольты под мышки и, пихая его кулаками, чуть не бегом уводят вниз по лестнице. Перед домом на панели жмутся с перепуганными лицами семь-восемь ближайших наших соседей... Смотрю в окно (а мы жили на первом этаже, невысоко), серая машина гестапо исчезает за углом.

Звонит Henri de Fontenay, что опаздывает — задержали; говорю: поздно, Игоря уж увели. Звоню туда, сюда, узнаю: Петра Андреевича Бобринского уж забрали, также Масленникова (этого только изредка встречала). И князя Красинского увезли — милейшего "Vovo de Russie", добрая душа — сын Вел. Кн. Андрея Владимировича и Кшесинской, позднее стал Князь Романовский, он всегда умел себя держать просто, любезно, я не помню за ним ни одного промаха. Я, его встречала среди младороссов. Кого еще взяли? Генерала Николая Лаврентьевича Голеевского, когда-то, во время Первой Мировой войны, русского военного атташе в Вашингтоне; и бывшего адвоката Филоненко,. и отца Константина Замбрежицкого, настоятеля церкви в Клиши, и еще, и еще...

Иду с утра на "авеню Фош" 72; это громадный роскошный особняк, когда-то подаренный немецким графом знаменитой кокотке времен Наполеона III. Там сижу до 12-ти часов, слушая сладкие штраусовские вальсы на патефоне и окрики сменяющегося караула, наблюдая несколько комические появления растерянных русских жен и дочерей арестованных, которые никак не поймут, почему это немцы начали хватать "нас, эмигрантов?!", и громко об этом высказываются, думая, что от этого станет лучше.

Еще через три дня мне звонит незнакомый голос, некая мадам Канцель. Ее муж тоже там, она уж узнала, что все они в военных казармах в Компьене, возможно, что их вывезут в Германию... Ее муж еврей, она очень напугана. Потом она ко мне приходит и раз, и другой, да и вообще понемногу у меня сам по себе образуется некий центр, звонят незнакомые мне дамы; жены, чьи мужья тоже в Компьене, приходят, советуются — оказывается, всего

забрали около тысячи человек, некоторые из провинции, но больше парижане.

Никита в шоковом состоянии, гулять мы не ходим, он все время дома, надо что-то предпринимать, как-то его отвлечь... В нашем доме под нашей квартирой – небольшая продуктовая лавка, я знала всех ее хозяев за эти годы – сейчас там милые люди и у них сын Марсель, чуть моложе Никиты. На третий день зову Никиту и говорю ему: "Ну, Никита, как видишь сам, все изменилось и в твоей жизни тоже. Выходи на улицу, иди играй с Марселем, с его другом Титу́, дальше угла налево и дальше особняка Ротшильдов направо не уходить, улицу не переходить – словом, чтобы я всегда могла тебя дозваться. Веди себя на улице вежливо и прилично".

И Никита бежит вниз, и вскоре я вижу в окно, как он уж бегает с Марселем и с Титу, мальчиком из соседнего дома; мать Титу уборщица, а он сам удивительной красоты, да и очень мил. Все трое становятся неразлучными друзьями вплоть до нашего отъезда из Парижа в апреле 1948 г.

Все это время у нас жил Кирилл, младший брат Игоря Александровича. В мае по договору, подписанному маршалом Петэном, он вернулся из плена, квартиры у него не было, и временно он жил у нас. В плен его взяли на линии Мажино, и с ним его денщика, вместе их и отпустили.

Как раз в воскресенье 22-го июня он с раннего утра уехал за город в гости к этому денщику, вернулся поздно вечером и привез корзинку свежесорванной клубники, которую денщик слал мне в дар... Я открыла дверь (Никита уж спал), он мне подал корзинку, и вдруг я поняла, что он ничего не знает, – за этот день судьба мира повернулась, а он пекся на солнце у денщика! Да и лицо у него было страшно обожжено солнцем... Он вдруг говорит: "Что с вами? Что случилось?" – "Да ведь война!" – "Война?? Какая война?" И вдруг кричит: "А Игорь где?" – "А Игоря еще утром увели..." Добавляю: "Немцы увели, гестапо". И, глядя на его растерянное лицо, вдруг разражаюсь хохотом: он все прозевал, это кажется немыслимым!! "Чего вы хохочете? – со злобой в голосе кричит Кирилл – разве время смеяться?"

Я сразу успокаиваюсь, говорю: "Это просто нервное; однако, согласитесь, собирать клубнику именно сегодня – все же смешно..."

Числа 30-го июня еду вместе с мадам Канцель в Компьень – там принимают передачи. От вокзала Компьень до лагеря далеко, около четырех километров, жара непомерная; однако ловкая и быстрая моя спутница успевает прихватить единственного извозчика, старика со старой клячей, и мы добираемся до французских казарм, где находится лагерь Компьень, через который пройдет столько знакомых и незнакомых. Тогда это еще все было впереди.

У лагеря собралось много народа, все русские дамы, юные, нарядные, или средних лет, а есть и постарше и много поскромней — но таких, в общем, немного. Сносят баулы, пакеты и чемоданчики в сторожку против входа в этот громадный город-казарму — он тянется в длину больше чем на километр.

Появляется вахмистр Кунце, коренастый, бравый, подтянутый; несколько дам к нему бросаются, насильно суют ему бутылки красного вина "ординэр" и лепечут по-немецки: "Bitte, nehmen Sie doch, bitte", — и еще кое-какие по-детски наивные фразы, что, мол, мой муж так любит и уважает вашего фюрера! Кунце отбивается, сперва мягко, а потом и пошибче и строго говорит одной особо красиво одетой и миленькой дамочке: "Aber meine Dame, ich kann nicht, es ist doch Krieg!!"

Ухожу в сторожку, чтобы всего этого не видеть и не слышать, да что же это такое?! В сторожке полутемно и прохладно. Вбегает дежурный офицер Венцеле, немецкий язык и здесь играет свою роль. Он с ужасом смотрит на все эти дары (один громадный узел просто завязан в зеленую плюшевую занавеску с помпонами...), со мной говорит просто и вежливо — ясно, что этот офицер — армеец, а не гестаповец. Он обещает сейчас же все передать, а я его прошу, нельзя ли послать моему мужу записочку. Думает, потом, осклабившись: "Aber, ja, natürlich!"

У меня приготовлены и бумага, и карандаш — быстро пишу несколько слов, зову остальных дам, объясняю им, что вот офицер позволяет написать и передаст, а может быть даже и вынесет ответы.

Кунце увозит тяжелую повозку в лагерь. Ждем, но надо уезжать, а то единственный поезд назад в Париж уйдет без нас. Но вот бежит Венцеле, сует мне в руку пачку записочек, говорит, смеясь: "Na, Wäsche brauchen sie doch nicht so schlimm, haben alles gestern gewaschen, auch schön fein sich drüber amüsiert!" Бегу с мадам Канцель к извозчику: "Vite, Mesdames, dépêchez-vous!"; кричу Венцеле: "Danke schön, Herr Wenzele!" и — домой, поезд уже стоит, но мы, к счастью, вовремя.

Что за идиллия?! Да нет, все нормально, немцы, то есть Гестапо, быстро поняли, что сделали грубую ошибку, арестовав так сразу самых видных эмигрантов, и как бы погрозили всем русским парижанам пальцем: "Ведите себя хорошо, будьте пай, а то ведь мы вас всех вывезем в Германию, и дело с концом, а там уж лагерь будет похуже!"

Из тысячи человек, арестованных гестаповцами 22-го июня 1941 г., многие были освобождены через 2-3 месяца (как, например, мой муж, за которого хлопотал его патрон Jean Lemercier), очень многие месяцев через 7-8, и только один, генерал Николай Лаврентьевич Голеевский, просидел в русском лагере Компьене целых полтора года.

В этот лагерь в декабре 1941 г. попали многие русские и французские евреи, а также там вскоре было открыто отделение

специально для французских коммунистов… Тут было много хуже — лишения, голод, издевка, расстрел заложников… по номерам.

А бравый Кунце постепенно перестал быть столь демонстративно честным: он проделал в заборе, окружавшем лагерь, брешь, жены влезали в лагерь и видели своих мужей — Кунце стал понемногу принимать не только бутылки "ординэра", но и немалые денежки.

Немыслимо обойти молчанием довольно-таки неожиданную фигуру начальника лагеря Компьеня (именно в этот период, то есть в течение приблизительно полутора лет) полковника Нахтигаля. Он был банковский служащий, потом его призвали в армию и, так как ему уж было за пятьдесят, его назначили начальником этого лагеря. Лагерь был в ведении Гестапо, но чисто бытовые вопросы разрешал начальник сам, особенно в отношении русского отделения; когда открыли лагеря еврейский и коммунистический, то его, видимо, мало спрашивали, а он, как постепенно выяснилось, ненавидел и Гестапо, и Гитлера лютой ненавистью…

Мать Мария

Муж через две-три недели после освобождения из Компьеня пришел в себя и решил, что надо что-то сделать для тех, кто остался в лагере (а среди них были очень скромные люди, их семьи оставались в настоящей нужде); он стал искать, как и где создать организацию под нейтральным наименованием и адресом. И тут он решил обратиться к Матери Марии, которая стояла во главе общежития и столовой для неимущих при русской церкви на улице Лурмель. Туда он и поехал на велосипеде, на котором проездил всю войну — порой до комендантского часа, по улицам Парижа, где не горело ни одного фонаря. Учитывая бульвары с массой деревьев, круглые площади, где и днем-то трудно ориентироваться — это был спорт не из легких.

Мать Мария, хоть и не знала Игоря Александровича, однако, поразмыслив два дня, дала положительный ответ, и очень скоро при церкви Лурмель образовался "Комитет помощи заключенным лагеря Компьень", а позднее и всем русским жертвам нацизма во Франции. Этот комитет просуществовал вплоть до ареста Матери Марии гестаповцами в феврале 1943 г. Благословение и разрешение на посылку продуктовых пакетов от имени церкви на ул. Лурмель дал о. Дмитрий Клепинин, настоятель этой церкви — он тоже позднее был арестован вместе с Матерью Марией, ее сыном Юрой и Ф. Пьяновым — из них всех выжил только Пьянов, остальные погибли в лагерях смерти.

После войны Игорь Александрович написал обширный отчет о своей деятельности в Сопротивлении и социальной помощи во время немецкой оккупации; он был напечатан в *Вестнике русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции*, который мы издавали в Париже в 1946 г.

Но и прежде, в 1942-43 гг., Игорь Александрович давал письменные отчеты тем, кто так или иначе помогал ему и Комитету собирать продуктовые посылки, – среди них были и русские магазины, и еврейские рестораны; некоторые люди помогали просто деньгами; все эти посылки (а их бывало порой 80-90) возила в Компьень Ольга Алексеевна Игнатьева на машине французского Красного Креста, которую выхлопотала Мать Мария. Словом, это была уж целая организация, которая жила и работала под носом Жеребкова, назначенного в Париж для управления русской колонией; Жеребков был активным сотрудником Гестапо, издавал гнуснейшую газетку на русском языке, выдавал справки "о личности".

Вот этот выжил и успел вовремя нырнуть в Испанию; как будто он и ныне благополучно там проживает.

Ольга Игнатьева проделала в общем не меньше восьмидесяти поездок в Компьень. Кроме шофера с ней, конечно, всегда ездил еще кто-нибудь из мужчин – иногда Лев Борисович Савинков, а чаще один из работников на кухне при церкви Лурмель. В Компьене ее встречал полковник Нахтигаль (которого мы заочно прозвали "Соловейчиком"), а брат ее, Сергей Алексеевич, просидевший в лагере около шести месяцев, был выбран старшиной русского отделения; Кунце привозил ему полную повозку передач, а он уж их распределял. В этой роли старшины он нашел себя, был строг, справедлив, и никогда не допустил в лагере ни одного скандала. Понемногу Ольга и Нахтигаль стали почти друзьями, ему нравилось, как и всякому немцу, что она графиня; он был с ней галантен и услужлив да и, наконец, просто доверился ей в своей ненависти к нацизму, к Гестапо – он, действительно, не обидел никого, если же были недоразумения, умел все сглаживать.

Я пишу о нем, так как на фоне острой ненависти, которую мы тогда ощущали к оккупантам, Соловейчик был светлым явлением.

Так как передачи в еврейское отделение лагеря были очень долгое время запрещены, и люди там ужасно голодали и мерзли, русский лагерь наладил трос из одного отделения в другое и по ночам часть посылок передавалась туда. Многие из заключенных еврейского лагеря погибли позже в Освенциме – кто от голода и побоев, а кто и в газовой камере.

Правильно или нет было мое решение не принимать активного участия в Комитете рю Лурмель и не вступать ни в какую организацию Сопротивления? Я считала, что раз мой муж ведет эту опасную работу, то я, ради Никиты, должна формально стоять вне ее. И когда Игорь Александрович начал вести совсем уж секретную работу

в боевой организации, я ни о чем его не расспрашивала, чтобы даже под пыткой никого и ничего не выдать. Ясно, что, насколько это было возможно, я во всем помогала: принимала деньги для Комитета (иногда очень крупные), хранила их, передавала Игорю Александровичу пароли, которые кто-нибудь из его товарищей, зайдя ко мне днем на минутку, специально произносил при мне. Такую же позицию заняла и Ирина Николаевна – она тоже активно помогала Шушу во всем, что касалось участия в Сопротивлении (и даже скрывала у себя в доме на мельнице в городе *Dourdan*, где тогда работал инженером-мукомолом ее муж, канадских и американских летчиков, потерпевших аварию или сбитых над французской территорией, – а это уж, в случае доноса, был расстрел для всей семьи), однако сама в Дурданской группе Сопротивления не состояла.

За время существования Комитета помощи на рю Лурмель я иногда, хотя и очень редко, там бывала и познакомилась с Матерью Марией, с Пьяновым, немного с Мочульским, но почему-то совсем не знала о. Дмитрия Клепинина, о чем потом всегда жалела.

Мать Мария с самого начала просто и хорошо меня встретила и несколько раз сама, по собственному почину, приглашала посидеть в свою каморку под лестницей. Говорила: ”Пойдемте ко мне, посидим, уж очень я устала нынче”. Да и верно, она чуть не каждый день вставала ни свет ни заря и ехала на Центральный Рынок (знаменитое ”чрево Парижа” – *les Halles de Paris*, которые сейчас уж не существуют) – там ее знали и бесплатно давали ей непроданные овощи, картошку, иногда и мяса немного, и она это все сама тащила на рю Лурмель для столовой.

Мы садились – она на какое-то старое кресло, а я на табуретку; комната имела неправильную форму, в стене видна была лестница, висели иконы, с потолка на веревках свисали косы лука, сушеные травы, а на столике, на противне, лежали только что высушенные ягоды или овощи – черника, вишни, морковка.

Мать Мария считала, что несчастных людей, не нашедших себе места в эмиграции, надо сперва напоить и накормить, дать им чистую одежду и т.д. Эти сушения входили в ее программу: когда уж ничего не было (а это в военное время часто случалось), то она пускала в ход свои сушения, и хоть чем-то, да можно было в столовой накормить когда двадцать, а когда и сорок человек. Она была всегда оптимисткой, считала, что все обязательно устроится, и что нельзя никому отказывать в помощи, кто бы ни пришел.

Она отодвигала со лба косынку, так что были видны на пробор причесанные волосы, и закуривала. Курила она много, хотя на людях – избегала; то, что она курила при мне, как бы сразу придавало моим визитам в ее комнату простой тон – казалось, что мы знакомы давно и даже близко.

О чем она со мной беседовала? О текущих делах, о войне – все было так тревожно, мы все болели душой за Россию. Заметив, что

я все рассматриваю ее сушения, она как-то спросила меня, сушу ли я тоже овощи и ягоды, как она. Я ответила, что не умею, да мне и в голову не приходило... Тогда она подробнейшим образом мне объяснила, как это делается, и прибавила: "Начинайте сразу, увидите, как приятно будет, если зимой сварите Никите кисель или компот". Вот так сидели мы, и вроде ничего особенного или поучительного не было, но она, конечно, знала, что я отношусь к ней с величайшим уважением.

Я была у ней в ее каморке раза три-четыре – и вот как-то, пожалуй уж под конец, я сидела и слушала ее – как раз про сушение – и вдруг что-то вроде шока, и я во мгновение ощутила, что со мной говорит святая, удивительно, как это я до сих пор не поняла!.. А вот в памяти от этих минут осталось только ее лицо – лицо немолодой женщины, несколько полное, но прекрасный овал, и сияющие сквозь дешевенькие металлические очки, незабываемые глаза.

Летом 1942 г. Мать Мария устроила на рю Лурмель скромный праздник в честь годовщины образования Комитета Помощи; стоял небольшой стол с незамысловатой закуской военного времени, были все дамы, работавшие в Комитете, о. Клепинин и, кажется, Пьянов. Настроение у всех было хорошее, все ждали, что скажет Мать Мария; лицо у нее светилось весельем, на нем даже играла лукавая улыбка и, взяв рюмочку водки, она произнесла маленькую речь про Комитет и его работу, и в конце сделала шутливый комплимент Игорю Александровичу за то, что он сумел устроить это дело, которое уже целый год благополучно здравствует.

Конец 1942 и начало 1943 г. я с Никитой прожила под Парижем, в местечке *Villemoisson*, снимала там домик – комнату с кухней – потом сильно заболела, и в почти бессознательном состоянии Игорь Александрович отвез меня в город. Это было нелегко – пришлось пешком доползти до электрички, и с вокзала на рикше домой. В этот же день на другой рикше попала я в частную клинику, где провела три недели. Лекарств не было, кормили вареным горохом и помидорами, что могло тогда считаться и большим шиком, но ничего этого я есть не могла – у меня был острый приступ колита. Сестра трижды в день делала мне уколы камфоры и, видно, эти уколы плюс полный голод меня спасли, и мне понемногу стало легче.

Кстати, в этой клинике было не так уж много настоящих больных, а все больше скрывались евреи; уж не знаю, удалось ли им выжить до конца оккупации, – ведь бесконечно жить в клинике запрещено, надо освобождать места для больных.

Как шла жизнь в Париже под оккупацией? Все старались получше одеться, пошикарнее, подчас совсем броско и пестро; у большинства женщин были сапоги и туфли на деревянной подошве, и они, как кастаньетами, отбивали по улице шаг; театры, кино – все

было переполнено – ведь это Париж, и парижский шик и темп не умрут из-за того, что по Парижу с жадными лицами шляются *"les Fridolins"*! Это название из песенки, которую пела солдатня: *"Der heitere Fridolin"* – веселый Фридолин. Как только началась война с Россией, все вдруг во французском образе жизни обострилось.

Не надо забывать, что до этого французская коммунистическая партия сочувственно относилась к русско-германскому договору; рабочие открыто против оккупантов не высказывались и Де Голля не поддерживали. Но после 22-го июня 1941 г. все резко изменилось. Подпольные коммунистические ячейки, конечно, существовали; они круто повернули курс, и в стране, где не было настоящей власти, а только правительство, посаженное оккупантами, их голос имел громадное значение. Движение "Резистанса", которое уже существовало, получило вдруг поддержку рабочего люда, а ведь вся Франция была принуждена работать на немцев... Участие в этой акции железнодорожников было чрезвычайно важно; на некоторых заводах – сперва незаметно, а потом все больше – начался саботаж.

Если внешне беззаботное поведение парижской улицы под оккупацией было своего рода фрондой, то внутренний раскол французского общества становился все чувствительнее; конечно, как всегда, одни обвиняли во всех несчастьях левых, другие – правых. Но вот из-за того, что правительство, подписавшее перемирие с Гитлером, возглавлял маршал Петэн, народный герой (сам он был крестьянский сын, что играло тоже немаловажную роль в его популярности, к тому же он был победителем Вердена) – многие Французы, не только "правые", а самые широкие круги, не смели осуждать правительство Виши и считали, что Петэн чуть ли не спас Францию... Его ответственность в процессе морального загнивания страны очень велика – в этом сомневаться нельзя.

Среди наших друзей и даже родных, большинство было настроено как мы; но среди французов и русских были поклонники Гитлера, верившие в его звезду, верившие в фашизм и к концу войны примкнувшие к акции генерала Краснова или генерала Власова...

* * *

Первый процесс, о котором мы узнали (насколько это было тогда возможно) со многими подробностями, – это "Дело Музея Человека" в марте 1942 г.; среди погибших там были Борис Вильде и его друг Анатолий Левицкий, оба – молодые ученые. Мать Мария близко знала Вильде, "монпарнасца" из группы русских поэтов, в числе которых был, например, Борис Поплавский. Она и рассказала об этом процессе Игорю Александровичу.

Приблизительно в январе 1944г. Би-Би-Си в своей французской передаче *"Les Français parlent aux Français"* начало предупреждать о том, что в этом году, в эту весну и лето, будет "высадка", тот самый пресловутый *débarquement*, о котором столько говорилось, и в который многие уже не верили. СССР все громче и резче требовал образования второго фронта, никогда, впрочем, даже не упоминая о сопротивлении и отчаянной борьбе Англии, когда она в течение целого года одна сражалась против немцев (1940-1941 гг.)! Конечно, после того, как Гитлер дошел чуть ли не до Урала и половина европейской части России была чуть ли не сравнена с землей, это требование второго фронта стало справедливым; русские уже могли говорить, что по-настоящему никто кроме них не сражается!

Би-Би-Си много раз подряд повторяло: высадка будет, ждите, — если находите нужным или целесообразным, уезжайте заблаговременно в деревню, в родные места, где вам будет легче пережить новый взрыв войны на французской территории... Запасайтесь всем, чем можно: топливом, керосином, свечами, водой — вы можете быть надолго отрезаны от города, от поезда, от любой помощи. Остерегайтесь немцев — они станут еще много злее и мстительнее...

Я с детства твердо верила, что "англичане зря никогда не грозятся" и, если что говорят, то исполняют.

В феврале я пошла в хозяйственный магазин и купила там печурку с длинной трубой; чем ее топить? — да чем угодно, дровишками, даже мелким углем, мячиками из сперва намоченных, потом высушенных газет (оказалось, что такие мячики чудесно горят, медленно, не гаснут, и на них можно сготовить незамысловатую еду, например сварить картошку!). Там же я приобрела и две лампы типа "Пижон" — такие лампы горели вроде свечи, если падали — сами гасли, гореть могли много часов — словом, это было для меня и открытие, и удачная покупка; никогда прежде у меня таких светильников не было; их употребляли в деревнях, где ночью надо пойти в коровник или в подвал за бутылкой красного.

В эти месяцы настроение у нас дома становилось все напряженнее: я каждый день ждала какой-то катастрофы, с трудом могла себя заставить спокойно открыть дверь! Помню как-то, было уже около 10-ти вечера, раздался звонок — а ведь в полночь на улице уж нельзя было оставаться. Открывать? — Нет? Если немцы, все равно войдут. Наконец открываю — стоит Петя Гучков, свойственник Игоря Александровича (его сестра Вера Николаевна была замужем за дядюшкой Игоря Александровича, Геннадием Генад. Карповым). Он входит, а мы оба без голоса от нервного напряжения. "Что это с вами, Нина Алексеевна? Что случилось?" Он и сам напуган. "Ох, — говорю, — да мы боялись немцев, ведь уже одиннадцатый час!" Наконец начинаем смеяться: как хорошо, что страхи не сбылись и что пришел милый и приятный человек.

В феврале 1944 г. случилась беда с нашим другом Сергеем Федоровичем Штерном; до войны мы его не знали, но, едва Игорь Александрович начал свою социальную деятельность, на пути его попался С.Ф. Штерн. Он был еврей, женатый на русской – его жену Марию Ивановну мне так и не пришлось встретить, но Игорь Александрович ее знал, и говорил, что она хорошая, скромная, приветливая и по-настоящему верующая женщина. Недолгое время Игорь Александрович занимался судьбой еврейских детей, родители которых уж были вывезены в лагеря в Германию. Сергей Федорович стал у нас бывать, позже уже с желтой звездой на левой стороне пальто... Положение евреев в это время было в Париже тяжелое: нельзя посещать кафе, нельзя покидать свою квартиру после 8-ми вечера, а, значит, нельзя даже спуститься в бомбоубежище – между тем, как налеты американской авиации становились все более грозными.

Штерн работал в каком-то комитете "защиты евреев", и вот как-то к концу дня он сидел в бюро один; внезапно вошел офицер-гестаповец в форме, молодой, громадного роста, и начал требовать, чтобы Штерн встал и отдал ему нацистский привет. Штерн отказался, сказав, что он уже вежливо поздоровался. Тогда гестаповец набросился на него, повалил на пол и начал жестоко избивать – бил по лицу и топтал сапогами... Штерн пролежал один в бюро до следующего утра, выходить вечером на улицу он не имел права.

Это гнусное дело произвело на нас ужасное впечатление; вскоре после окончания войны Штерн начал болеть, у него начался рак губы, которая была поранена гестаповцем, он очень мучился, и вскоре скончался. Такова судьба одного из добрейших и светлых людей, попавшихся нам на пути в эти годы; он был благотворителем по призванию, причем без малейшего ханжества или особой позы, которую, увы, часто приходилось мне видеть у многих "благотворителей".

"Покровка"

В конце марта 1944 г. я в один день схватилась, собралась и уехала... нет, не уехала, а на крыльях неведомой силы унеслась куда-то вон из Парижа! Сколько же можно так бегать? Нет, я не была никогда "непоседой" – даже наоборот, скорее домоседкой. Одна из двоюродных сестер Игоря Александровича указала мне русскую ферму в 50-ти километрах от Парижа, где можно найти комнату. Было еще холодно, серенький день, когда мы вошли во двор фермы около местечка *Grosrouvre*; эти места я и раньше хорошо знала, это недалеко от *Rambouillet*, где у наших близких друзей был

дом. Но про этот русский дом, звавшийся "Покровка", я только слыхала; над воротами развевался Андреевский флаг – хозяин был бывший морской офицер.

Хозяева Покровки много лет подряд сдавали летом комнаты; во время войны некоторые пожилые дамы там стали жить постоянно, а на *week-end*'ы приезжали толпы русской молодежи. Конечно, в это тревожное время их бывало немного, а когда я бывала там потом, уже после войны, на субботу-воскресенье на машинах и поездах приезжали в Покровку от 70 до 90 человек! Спали в саду в спальных мешках или на сеновале, купались в пруду, пели, плясали, жгли по вечерам костры... В Покровке жилось легко и весело, а гостеприимные и ласковые хозяева задавали тон – тут не было ссор, не было политических бесконечных эмигрантских прений – Павел Михайлович Калинин не допускал этого и не терпел.

У входа во двор фермы стояла небольшая чудесная часовня Покрова Богородицы, фрески в алтаре были работы прекрасного художника Г.И. Круга.*Эта часовня сразу придавала "русской ферме" особый дух. Русские, проживавшие в Покровке, были разными; были среди них и те, кого тогда называли гадким словом "коллаборанты", служившие у немцев; бывало, конечно, что с голодухи – податься-то ведь было некуда; но была там одна толстомордая сытая пара: они получали громадные продуктовые посылки из Швеции и, не стесняясь, при всех уплетали бутерброды с маслом, колбасой и шпротами, а мы с Никитой ели тушеную свеклу или картошку, и оба были голодные...

Сам Калинин был чудесный, небольшого роста, с вихрастыми седыми волосами; он не ходил, а вроде прыгал; писал недурные стихи, крепко верил и, пожалуй, как и отец Круг, был мистик. Он, бывало, до поздней ночи, мыл на кухне всю посуду за день – это был его хозяйственный вклад в ведении "пансиона"; кухней ведала его жена, а огородом – Борис, его пасынок, простой, милый парень. Две его дочки, Геновефа и Елена, были – одна старше, другая моложе Никиты. Я по ночам не спала, частенько заходила на кухню, ночью обычно не было тока, и при лампе "Пижон" мы с Калининым часами беседовали, читали друг другу стихи, он – свои, а я – свои, и стали отличными друзьями.

Когда над Покровкой летели бесконечные американские истребители или тяжелые "летающие крепости", и казалось подчас, что от воздушных волн и воя вся ферма рухнет, Калинин открывал

---

*) Григорий Иванович Круг, уроженец Прибалтики, в юные годы был пианистом и даже выступал с концертами. Приехав во Францию, он вскоре постригся и жил в Православном скиту под Версалем. Прекрасный иконописец, мистик, оставил много работ, особенно икон Богородицы; скончался за работой, с кистью в руках, как раз когда писал икону Богоматери. Недавно узнала, что фрески в часовне в Покровке больше, увы, не существуют.

часовню, выносил аналой, клал на него требник и читал вслух повечерие. У меня был с собой небольшой медальон с частицей мощей Серафима Саровского – подарок императрицы Александры Федоровны, который она сумела передать через верных людей Александру Васильевичу Кривошеину в благодарность за моральную и материальную помощь, которую тот оказал царской семье, бывшей в пленении еще в Тобольске.

Покровка была расположена километрах в двух от главного шоссе от Парижа на Шербург, один из главных французских портов, занятых немецкими силами; также это был путь к знаменитому Атлантическому валу – громадному бетонному заграждению вдоль побережья Атлантического океана.

Игорь Александрович приезжал к нам в Покровку раза два, поезда еще ходили; но вот в конце мая англичане на небольших истребителях, ловко и точно пикировав, перебили железнодорожный путь и подожгли большой состав с боеприпасами; он в течение двух суток взрывался – это было близко и потому тревожно. 1-го июня Игорь Александрович приехал на велосипеде – поезда из Парижа больше не ходили. Решили, что в следующее воскресенье он приведет с собой дамский велосипед, приедет рано с утра, и мы уедем: Никиту на раму, а я тоже поеду на велосипеде... Конечно, 50 километров ехать было нелегко, но понемногу и благословясь... Так и решили.

Высадка. Арест Игоря Александровича

Рано утром шестого июня, после бессонной ночи, я потихоньку встала и, надев халат, пробралась в столовую, где стоял радиоприемник, поставила его на волну Би-Би-Си и услыхала ставший с тех пор знаменитым призыв: "*Le premier accroc coûte deux cents francs, le premier accroc coûte deux cents francs!*" – и так без конца, без конца: "*et je répète: le premier accroc coûte deux cents francs!*" Через минуту-две перешла на Париж – там сообщалось, что в пять утра началась высадка – *"le débarquement"*, вот оно... Де Голль был прав, война возвращалась на французскую землю!

Лихорадка этих дней неописуема: налеты на Францию тяжелых американских бомбовозов усиливались; бывали дни, когда этих "летающих крепостей" (64 метра от крыла до крыла!) пролетало над покровкой до 1200-1400 штук зараз; летели эскадрильями по 13 самолетов; грохот был такой, что говорить было немыслимо, и даже страшно не было, чего уж тут бояться: такой самолет, упав, целиком покрыл бы собой *la ferme russe*! Все эти месяцы, вплоть до освобождения Парижа, были как бы единым действием написанного

единым духом драматического произведения. Теперь на годы решалась судьба Европы, теперь начинался конец владычества Гитлера.

Игорь Александрович за мной с велосипедами, как было условлено, не приехал и ничего не дал знать; я спрашивала кое-кого, кто в эти дни вернулся в Покровку, про него, не слыхали ли чего. Только 18-го июня во двор фермы на велосипеде вкатила кузина Игоря Александровича, и я сразу поняла, что он арестован Гестапо.

Я сказала об этом только П.М. Калинину – по ночам советовалась, что делать? Он говорил мне: "Оставайтесь в Покровке, ведь никто не знает, что вы здесь". Тот же совет передавал и Кирилл через кузину – сидеть, пока фронт не уйдет на Восток.

В это время мы с Никитой жили уже не в общем доме, а в "совином домике", это была одна комната, надстроенная над амбарчиком, там я была отдельно от всех, и это мне нравилось. Утром, когда пили чай с сухарями, на стол прибегали снизу полевые мышки, совсем малюточки, с громадными ушами, как у слона, и из рук ели крошки, ночью по крыше с адским топотом, вздохами и криками бегали совы, грузно шлепаясь куда-то вниз, и улетали – видно за крысами, а крысы, конечно, на ферме были.

Я не спала ночами, погода была теплая, райская, еще цвели сирень и жасмин, по ночам заливались соловьи. Одну ночь несколько часов подряд, почти над нами, шел воздушный бой – бились очередными дуэлями, по два самолета, шли друг на дружку. В ясном ночном небе были видны светящиеся дорожки от пуль, летчики преследовали друг друга, моторы завывали, потом – удар, все небо озарялось, и через несколько секунд в столбе пламени один из самолетов грохался оземь, и яркое зарево пылало несколько минут. И опять все стихало, соловьи начинали надрываться, свистели, щелкали, будто этот переполох в небе их совсем взбудоражил... Четверть часа, полчаса, и снова другие битвы. Я стояла на лесенке "совиного домика", кругом все спали (или просто боялись высунуть голову в окошко), курила папиросу за папиросой; так вокруг фермы упало пять самолетов, один из них в двух километрах от дома. А совы тоже работали, на рассвете они загнали на закрытые ворота во дворе толстую крысу, которая там сидела, вцепившись лапами, кружили, без конца на нее нападали и пытались сбить с ворот; однако крыса не сдалась и, когда совсем рассвело, проворно бросилась на землю и спряталась; я одна из всех жителей простояла всю ночь во дворе – и о чем думала? Не знаю. Когда грохался очередной самолет, я с ужасом понимала, что вот совсем рядом, в адском костре сгорает мальчишка – немец, американец, может быть англичанин... – не все ли равно?!

Немецкая армия начала покидать Атлантическое побережье, по ночам с шоссе слышались немецкие окрики, скрежетали танки, при яркой луне английские истребители бомбили немецкие колонны,

собаки в *Grosrouvre* лаяли и выли. Но вот Би-Би-Си передало, что через три дня должно прекратиться любое движение по большим дорогам ("Мы будем обстреливать все, что двигается по дорогам"), и я тут же решила, что вернусь в Париж; побежала в *Grosrouvre*, узнала, что через день на Париж из дальней деревни уйдет последний автобус, а потом всякое сообщение с городом приостановится.

Весь следующий день я бегала по деревне из дома в дом и тщетно умоляла мрачных с виду фермеров довезти нас с Никитой и чемоданом за семь километров к последнему автобусу. Все как один отвечали одно и то же: не поедет ни за что, ни за какие деньги – ведь вы слыхали, что сказали англичане? Я была в отчаянии: уже дала знать Кириллу, чтобы он встречал нас в Версале. Как быть? Ругала себя дьявольски, что зевала до сих пор и никого не слушала. Наконец, уж последний дом, дальше просто поле; и вот тут, после категорического отказа хозяина ехать, я собралась с силами и сказала ему, подчеркивая каждое слово: "Но мне ведь необходимо быть в Париже, мой муж болен, тяжело болен – вы должны сами понять, что это значит!"

Он долго молчал, что-то сам с собой медленно рассуждал и, наконец, ответил: "Вы бы так сразу и сказали. Раз так, значит, едем, ждите меня в восемь утра... Кто его знает, что будет".

На следующее утро, по июльской жаре, мы с Никитой в высоком кабриолете опять пустились в путь – вот уж таскать, не перетаскать!!

Ехали только вдоль дорог по межам, по обочинам, обязательно только под деревьями – так хорошо, что все дороги во Франции обсажены деревьями! В той деревне, куда доехали отлично, посреди площади стоял автобус и... несметная толпа пассажиров! Не я одна бежала назад в Париж...

Подошел шофер, крикнул: "Montez, montez, faites vite!", и все ринулись, давя друг друга, кто первый вскарабкается, – Никиту почти сразу от меня оторвали, я только успела схватить его за куртку – но его душили, голова закинулась назад, он кричал : "Maman, maman, j'étouffe!" Но все дальше ускользал от меня, – вот сейчас раздавят... Тут раздался могучий окрик моего возницы, который, оказалось, решил удостовериться, что мы влезем в машину, – он принялся кулаками направо и налево раздавать крепкие тумаки и кричал: " Позор, позор, мальчика чуть не раздавили!" Расчистив дорогу, он галантно посадил Никиту, а за ним и меня в тамбур... Толпа сомкнулась за мной, нас втолкнуло внутрь автобуса, чуть не до переднего сиденья, дверца хлопнула и... поехали!

В Версале ждал Кирилл, и на другом, уже городском автобусе, мы поехали прямо на квартиру к Henri de Fontenay, где нас уже ждала жена его, и я почувствовала, что сделала правильно, вернувшись в Париж.

Я прожила в громадной роскошной квартире около трех недель; хозяйки почти никогда не было дома, она уходила к сестре мужа,

Женевьеве, которая была при смерти — через две недели она скончалась. Сам Fontenay был в Нормандии, Де Голль еще "в подполье" назначил его губернатором Нормандии.

Я узнала, что Игорь Александрович все еще в тюрьме Фрэн, куда его перевели из *Sûreté Générale* (тогда одно из отделений Гестапо) значит, пока жив.

Моими советниками все это время были двое наших друзей: Арсений Федорович Ступницкий и Григорий Николаевич Товстолес. Обычно Ступницкий меня заранее предупреждал о совместном визите; мы втроем садились в громадном кабинете Henri. Часто у Ступницкого были какие-то сведения про Игоря Александровича. Он их получал от русского адвоката Стрельникова, допущенного в немецких трибуналах к защите арестованных, — видно у него был знакомый в отеле *"Мажестик"*, и от него он получал справки.

Тут со мной проделали прегадкую штуку люди, которых я почти не знала, — русские, много моложе нас; Товстолес был с ними знаком и даже любил их — так вот, русский эмигрант Б. пришел к Григорию Николаевичу и предложил ему "выкупить" Игоря Александровича за... миллион франков! Говорил: "Торопитесь, а то вот-вот вывезут большую партию заключенных в Германию или просто здесь расстреляют". Это было числа 10-15-го июля; сидели мы втроем долго, я чувствовала себя беспомощной — откуда взять такие деньги? И откуда он все так точно знает? Что-то до сих пор такого рода предложений никому не было. Советники мои ушли, сказав: "Вам решать, а не нам, есть доводы и за и против, ответ надо дать послезавтра".

Я вызвала Кирилла, он тоже пришел в ужас, но из его сомнений трудно было прийти к какому-то решению. Через два дня и Ступницкий и Григорий Николаевич снова пришли: "Что же? Что решаете?" Я была в плохом виде, двое суток не спала; стала все же расспрашивать Товстолеса про его друга Б. Он снова уверял меня, что это прекрасный человек, а сведения у него от товарищей детства, которых он когда-то знал в Берлине... Они-то и служат в Париже, в центральном Гестапо, и случайно договорились и до Игоря Александровича. Время шло, Ступницкий нервничал: "Ну, скажите же, что же?.." Я наконец ответила — нет, твердо и бесповоротно! Это просто гнусный шантаж. Да и глупо, ведь "они" отлично знают, что никак и ниоткуда я миллиона достать не могу. Они ушли и я осталась, как побитая... Да, все правильно, они хотят меня подвести, взять, если не миллион, то хоть сто тысяч, думают, сколько-то наскребу, а потом и меня продадут...

Как раз в эти дни я с Никитой покинула Mme de Fontenay и переехала к Татьяне Валерьяновне Гревс, в маленькую двухкомнатную квартирку на бульваре Гренель в доме, где жило много русских эмигрантов, среди которых некоторые как раз служили у немцев. Но я никуда не выходила, и никто (кроме консьержки)

не знал, что я тут живу. Вряд ли немцы стали бы меня искать в это время, им было не до меня, но так как они приходили за мной на рю Жан Гужон, то все же надо было соблюдать осторожность; страшнее всех в это время были французские "милиционеры", их возглавлял Дорнан: это было как бы французское отделение Гестапо (было и такое!), и они-то, чувствуя, что их дело худо, напоследок хватали людей и люто зверствовали, пытали и убивали. У Fontenay мне оставаться не следовало, я поняла, что это могло быть опасным и для них, и для меня.

Прошла неделя, и вот спешно прибежали мои двое советчиков; оказалось, Б. опять пришел к Григорию Николаевичу и заявил: "Последний раз предлагаем выкрасть Игоря Александровича из тюрьмы. Но теперь уж будет не миллион, а два – все стало много труднее". Григорий Николаевич возразил: "Откуда же взять такую сумму?" И Б. в ответ воскликнул: "Ну, за Кривошеина Резистанс и больше найдет".

Мы все трое были подавлены: ведь отступление немецких войск с побережья шло уже полным ходом...

Я тут же ответила резко и определенно отрицательно – это было числа 21-22-го июня.

А 24-го были именины Ольги Игнатьевой и, хотя я просто никуда не ходила, нигде не показывалась и на квартире у себя ни разу не была, тут я вдруг решила: пойду к Игнатьевым пешком, ведь не следят же за мной все время – немцам не до меня, конечно! Это было легкомысленно, однако я это сделала – пошла.

Ольга Алексеевна жила с матерью, графиней Софьей Васильевной, недалеко от *Champs-Elysées*, в стареньком доме... У них был народ, меня усадили пить чай – вошла моя знакомая и, увидев меня, вскрикнула: "Как, вы здесь?" – "Ну да, почему бы и нет?" – "Ну, значит, все благополучно".

Но вот вошла и еще одна милая женщина, жена сторожа на заводе *Lemercier* – ее муж был в России морским офицером и получил эту работу на заводе по моей рекомендации. Увидев меня, она остановилась в дверях как вкопанная и вскрикнула: "Нина Алексеевна! Вы здесь?! Значит это неправда, неправда?! Какое счастье!"

Все замолчали, и я ей сказала: "Прошу вас, объясните, что это все значит? Что именно неправда?" Она ответила, всхлипывая: "А утром в Клиши говорили, что Игоря Александровича вчера расстреляли!"

Я встала, извинилась перед хозяйками и побежала домой, к Татьяне. Там телефона не было, но у консьержа в подъезде был. Начала звонить Ступницкому. Нет, ничего не знает, сейчас будет звонить Стрельникову – звоните мне завтра с утра.

Утром Стрельников сообщил, что вчера Игоря Александровича из тюрьмы перевели в лагерь Компьень; туда, вероятно, можно будет послать передачу, но раньше надо узнать, под каким номером

Игорь Александрович значится, иначе не примут (Нахтигаля давно уж в Компьене не было, он был переведен в Париж в какое-то военное бюро).

Я вытащила свой чемодан, это был старик-чемодан, принадлежавший в России матери Игоря Александровича, и стала укладывать вещи для передачи. Уложила так, чтобы Игорь Александрович понял, что укладывала я, и даже был игрушечный слон, что означало, что и Никита со мной. 1-го августа, в день памяти Серафима Саровского, Кирилл поехал с этим чемоданом в Компьень, чемодан приняли и Игорь Александрович получил его.

В первые августовские дни я по совету Сергея Алексеевича Игнатьева пошла к какому-то немецкому генералу. Игнатьев уверял: "У него добьетесь свидания, он, говорят, человек отзывчивый".

Действительно, это был момент подходящий, может быть Гестапо под конец поведет себя человечнее... Я и пошла, попала в квартиру, на которой не было никакого объявления, и сразу же мне стало ясно, что попалась, что нахожусь в тайном отделе Гестапо – в бюро стояли два гестаповца в шапках с черными околышами – самые страшные, это я отлично знала.

Тут меня опять вывез немецкий язык – от нервного перенапряжения в голову сами являлись самые характерные, самые по-настоящему немецкие обороты! Я слышала, как звенел мой голос и резко требовал свидания с "добрым генералом". – Он никого не принимает. – "Моего мужа, русского гвардейского офицера, сына царского министра, почему-то держат без объяснения причин!" Я бушевала, написала прошение "доброму генералу" и, свысока кивнув головой служащей, смущенной моей дерзостью, торжественно выплыла из этого логова; до угла шла тихим шагом, но, завернув за угол, в переулочек с бульвара *Haussmann* – не стесняясь, побежала изо всех сил, да так уж и бежала до станции метро.

Однако был и некий результат от этого похода; через неделю я получила на свой домашний адрес ответ от генерала, и оказалось, это был генерал Хиллер, третий по чину и рангу гестаповский начальник во всем Рейхе; он на официальном бланке сообщал мне, что "в свидании с мужем отказано, так как он участвовал в заговоре против немецкого Рейха, является преступником и достоин наказания". Выходило, что генерал Хиллер сам выдал Игорю Александровичу нечто вроде официального диплома; я долго его хранила и даже в 1948 г. увезла с собой в СССР. Там, после ареста Игоря Александровича, сотрудники КГБ на Лубянке сожгли все резистанские бумаги, которые у нас нашли при обыске в Ульяновске, в том числе и копию ответа "доброго генерала", к которому мне посоветовал пойти Сергей Игнатьев.

Освобождение Парижа

Наступил август, мы с Никитой жили у Тани Гревс – в этом доме был большой внутренний двор, квартира располагалась на первом этаже, так что Никита иногда просто в окно выскакивал во двор, где играл с внуком консьержа Даниэлем, мальчиком лет 12-ти. На них никто особого внимания не обращал, а я после похода на бульвар *Haussmann* в тайное Гестапо сидела дома и просто не выходила. Как везде и всюду, когда жила у друзей, сразу начала готовить на всю компанию, продукты доставала Таня и ее муж Шушу (еще один Шушу!) Федоров. Их собака – фоксик Топси оставался дома и целый день не ел и не пил, чтобы я поняла, что хоть почему-то готовлю я, но купить его не удастся; я предлагала ему ежедневно кусок сахара, но он делал вид, что даже и не видит его, а стоило Тане вечером войти в дверь – кидался на этот кусочек и, громко хрумкая, его съедал. По улицам Парижа, особенно по набережной, все чаще двигались с побережья немецкие машины и танки – пыльные, усталые люди, многие раненные – немцы покидали Францию...

Числа 15-го августа, в воскресенье, раздался резкий звонок в дверь; мы даже испугались, однако это был просто Шушу Угримов и с ним один из его друзей, оба нагруженные громадными мешками. Шушу громовым своим голосом крикнул: "Верблюд пришел! Принимайте товары!" Тут были и мука, и манная крупа, и картошка, и сухари, а, главное, дровишки, какие тогда употреблялись для запалки газогенераторных установок в автобусах. Вот это было замечательно, ведь мой мангалок и керосиновые горелки уж были принесены к Тане, но чем топить эту печурку? Шушу Угримов, как хороший хозяин, обо всем этом подумал и дней за десять до освобождения Парижа все это мне притащил; благодаря ему мы тогда две или три недели могли готовить себе во дворе горячую еду и пить горячий чай, или подобие чая. Весь двор нам молчаливо завидовал; по вечерам, когда не было тока, в нашей квартире светились тусклые лампы "Пижон", а по утрам, воткнув в печурку предлинную трубу, я готовила "настоящую" еду.

Понемногу нормальная жизнь в Париже замерла – ждали, вот-вот сбудется; говорили, что все в городе заминировано немцами – и мосты, и водопровод, и даже Нотр-Дам; словом, положение такое, что если немцы этого захотят, от Парижа останутся одни развалины, а куда бежать? Но парижане, как-то внезапно и дружно, взяли и изменились – переменили образ жизни, стали любезными, с открытыми лицами друг с другом разговаривали. Внезапно наступило иное царство: все друг друга любили, весело подмигивали – на улицах Парижа вдруг стало весело!

В эти последние дни оккупации я изредка выходила с Никитой погулять в сады Трокадеро и назад, через мост Гренель. Немецкие машины, набитые офицерами, неслись по набережной, не скрывая уже полного развала и бегства; было среди них и много раненых с забинтованными головами или руками. Как-то одна машина замедлила ход и близко совсем проехала около тротуара – на капоте, раскинувшись, лежал офицер без кителя, весь в бинтах, видно было только очень молодое лицо с оскаленным от боли ртом... и на нас пахнуло сладковатым запахом гноя.

Было очень жарко, тихо, вдоль каменной ограды Сены зеленели каштаны. Они проехали, а ко мне подошел пожилой парижанин, которого я раньше не заметила, остановился и сказал: "Как вы находите это зрелище, мадам? И в такой чудесный день?!" Я ему ответила: "Этот юноша – немец и враг, но сегодня – мы уже можем сказать, что его жалко, что он наверно умрет... Mais c'est la guerre! Это закон войны." Мы еще постояли, и пошли каждый в свою сторону.

Действительно, погода стояла дивная, и от безделья, от желания показать немцам, что нам, мол, до вас и дела больше нет, на набережной около моста Гренель стала собираться масса народа. Внизу, там, где с баржей сгружали уголь или щебень, надевали купальные костюмы, грелись на солнце; дети играли, а более отважные пловцы влезали на перила моста и оттуда с гиканьем бросались в Сену, вызывая бурный восторг публики.

Еще день-два спустя – иду к консьержу звонить Ступницкому, снимаю трубку и набираю сперва *INF* – этот номер передавал последние новости – и вдруг слышу: *"Ici les Forces Françaises de l'Intérieur. Vous écoutez les FFI"*. И далее бюллетень новостей! Название "ФФИ" я услыхала впервые; гляжу в окно мимо проходит немецкий патруль. Вот чудеса-то! Ведь телефонная станция уже передает голос внутренних сил Сопротивления – а уж на завтра из мостовой, будто сами, выскочили баррикады, появились молодые люди и девушки с повязками на рукаве "ФФИ".

Где-то началась стрельба, Би-Би-Си передавало, что американские войска и силы генерала Леклера быстрым маршем идут к Парижу, что шведский консул Нордлинг ведет переговоры с Красным Крестом о том, чтобы из Компьеня не вывозили больше транспортов с заключенными резистантами в лагерь Бухенвальд. Новости лились потоком, и из окон домов слышались передачи Би-Би-Си; их уж слушали, не стесняясь. Конец, конец! Но какой?

На следующее утро иду в булочную за хлебом; на чугунных столбах воздушного метро расклеены призывы ФФИ, распоряжения полковника Ролля, призывающие население Парижа к защите города. Однако ползет слух, что Гитлер приказал Париж спалить целиком и все взорвать, что комендант города генерал Холтиц уже заявил, что он этого приказа не исполнит, что американские войска недалеко, даже совсем близко. Однако американский генерал Паттон решил

обойти город, и... что тогда будет? Страшная ловушка... Однако кафе на углу открыто, у стойки много народа, все говорят, все возбуждены, пьют белое вино – парижский арэопаг снова заработал!

Никита и его друг Даниэль заперты нами – мною и бабушкой-консьержкой – во дворе – на улицу не сметь даже и думать! Они слоняются, подходят к окну, задают несносные вопросы, но я, наконец, пускаю в ход Шушу Федорова – его авторитет для Никиты непреложен. Этот на вид очень спокойный и как бы средний человек на самом деле был не только неглуп, но даже умен, и характер имел крепкий – мальчишки его всегда слушались.

Утром 24-го августа все затихло, где-то в городе все сильнее стреляют, метро не работает; наливаю ванну до краев водой, также чайники и кастрюли. А немцы? Где дивизия генерала Леклера? Напряжение доходит до предела, консьержка шепотом сообщает Тане, что грузинский князь, что живет на верхнем этаже, уж исчез, удрал в Германию – ну, туда ему и дорога!

Часов в 8-9 вечера Би-Би-Си предупреждает: слушайте, слушайте, скоро будут экстренные передачи (от полковника Ролля к американцам прибыл сквозь фронт для переговоров представитель, и сейчас все решится; надо ждать, что генерал Леклер двинется на Париж).

А что же в Компьене? Про это никто ничего не говорит, но есть слух, будто шведский консул договорился с генералом Хольтицем. Радио у нас поставлено на волну Би-Би-Си, потихоньку, однако; Часов в 10 вечера: "Слушайте, слушайте экстренную передачу: войска генерала Леклера выступили по направлению к Парижу, ген. Паттон со своими войсками тоже. Слушайте Би-Би-Си, не отходите!"* Да мы и не отходим.

Во дворе загораются окна, люди снимают темные шторы, которые были обязательны целых четыре года. У меня широко открыто окно во двор. По радио начинает прерывающимся голосом обращение к французам какой-то пожилой английский клерджимен – он годами жил во Франции и говорит по-французски, но путает слова – колонна Леклера уже двигается к Парижу, скоро первые

---

*) Много позднее, только уж после окончания войны и когда Игорь Александрович вернулся живым из Бухенвальда, – мы узнали, что для переговоров с ген. Паттоном был послан Рожэ Галлуа-Кокто, начальник штаба полк. Ролля. Он и вел переговоры с ген. Паттоном, который отказался дать приказ о наступлении американских частей на Париж; тогда Кокто с трудом разыскал ген. Леклера; тот вместе с Кокто приехал к ген. Паттону и заявил ему, что французские части немедленно выступают, чтобы спасти Париж, и Паттону пришлось отдать такой же приказ своим войскам.

После войны мы познакомились с Галлуа-Кокто, и в данное время мы с ним встречаемся – это один из милейших и обаятельнейших французов, каких только пришлось нам узнать!! А Игорь Александрович был с ним тесно связан еще по работе движения Сопротивления.

части будут у Орлеанской заставы. Он плачет от волнения, выкрикивает: "Префектура Парижа восстала, так же как и все силы полиции, в центре города идет бой. Париж свободен, Париж освобожден! Выходите на улицу, сейчас зазвонят колокола всех соборов, сейчас зазвонит большой колокол на башне Нотр-Дам!" Выбегаем во двор, на улицу – где-то полыхает огонь, стреляют все сильнее; ударили колокола, один, другой – вот наша церковь Сэн-Леон, другие и... наконец, густой, низкий бас Нотр-Дам. Но защелкал недалеко пулемет, видимо, у Эколь Милитэр, вбегаем назад, в квартиру.

На следующее утро Никита уж вскочил, умыт, одет – нет, нет, на улицу – ни за что, сейчас оденусь, тогда видно будет. Но минут через десять издалека, с улицы, из-под сводов воздушного метро внезапно раздается общий крик, будто это кричит весь наш квартал: "Les voilà, les voilà!" – "Вот они!!" Передо мной мелькают красные марокканские сапоги, в которых тогда ходил Никита за неимением других – он прыгнул в окно, и след простыл! Бегу через двор на улицу – от угла, где кафе, под сводами метро, по всей улице с нашей стороны и вдаль за метро по улице Сен-Шарль – несметная толпа, не знаю сколько, две-три тысячи человек! Девушки в светлых платьях, в руках букеты – синие, белые, красные цветы – у многих волосы повязаны лентами, тоже сине-бело-красными, сотни маленьких национальных флагов, все машут, кричат, мальчишки прыгают, и вот из улицы Сен-Шарль под метро начинает заворачивать колонна легких бронированных машин "джипов", и в них в английской форме цвета хаки сидят солдаты дивизии Леклера, молодые, загорелые, радостные; им кидают букеты, флаги – вся толпа как один человек кричит, поют Марсельезу... Стою как завороженная – неужели такое в жизни бывает?.. Но где Никита? Нигде не вижу, подбегаю к одному, другому, нет, никто его не видел. Оборачиваюсь – из-за угла выехал громадный грузовик и медленно наступает на нас. Он набит немецкими солдатами, у них пулеметы, и они начинают стрелять по толпе. Все бросаются на землю. Перепрыгиваю через людей, перехожу улицу около кафе (где все тоже лежат на полу, а одно окно уж выбито пулями) и бегом кидаюсь в наш переулок; передо мной с невероятной быстротой мелькают красные сапоги... Бегу за Никитой молча, окрикнуть его нет голоса; вбегаю в подъезд, за мной почти сразу Татьяна, кричит: "Где Никита? Где? Вы его не видели? Там только что в ближней машине молодого солдата убило!" – "Да вот он, Никита, он уже дома! Дверь в квартиру открыта, и на нас смотрит Никита с каким-то диким от испуга и восторга лицом... Таня шепчет: "А я так боялась, что его убьют", – и... падает на пол без сознания.

Днем идем на соседнюю улицу, там в частной хирургической клинике, убранный букетами цветов и лентами (белые, красные, синие) лежит молодой воин из колонны Леклера. Он родился и рос здесь, как раз в этом квартале, успел крикнуть в толпу: "Пойдите

вон на ту улицу, напротив метро, там живет моя мать, Мадам Моро, скажите, что приду к семи часам к обеду". Он был из тех, кто прошел с генералом Леклером весь путь от озера Чад.

В середине сентября один за другим приходят, разыскав меня у Тани, двое незнакомых русских; первый – очень молодой, фамилии не помню, рассказывает, что он был в лагере Компьень, познакомился там с Игорем Аленсандровичем; 17-го августа его взяли на состав товарных вагонов вместе с 1200 других узников Компьеня и увезли. По его сведениям этот поезд покинул Францию, и все они, вероятно, в Бухенвальде. Он сам попал на следующий транспорт два дня спустя, и тут железнодорожники взяли и разобрали пути недалеко от Компьеня, их поезд не смог пройти, а потом уж немецкая охрана разбежалась, железнодорожники разбили замки на вагонах, и так они освободились. Он улыбается, лицо сияет – чудом избег Бухенвальда!

Второй посетитель – двоюродный брат Иллариона Илларионовича Бибикова, носящий французскую фамилию Сюшэ. Илларион Бибиков, бывший капитан русского военно-морского флота, женат на моей ближайшей приятельнице с детских лет Ольге Яроцкой. До 1948 г. я вечно бывала у Бибиковых, у них дети Димка и Наташа намного старше Никиты. Дети были удивительной красоты, особенно Наташа; ее изящная фигурка, васильковые глаза и по-настоящему золотые локоны заставляли всех оборачиваться на улице. Но и Димка был по-своему красавцем, с какой-то особенной посадкой головы, прекрасными руками и милейшим выражением узкого породистого лица. Не скрою, что он был моим любимцем, хотя учился более чем средне, был какой-то никчемный, пожалуй непонятый и недостаточно любимый в семье... Когда ему приходилось неважно, он прибегал ко мне и у меня отсиживался. Во время войны Бибиковы очутились в горькой нужде, и наконец Иллариону Илларионовичу пришлось поступить переводчиком к немцам. А в ноябре 1943 г. они все принуждены были переехать в морскую крепость Брест, где во время войны была громадная база немецких подводных лодок и где работало около тридцати русских переводчиков. После высадки крепость эта подверглась сильнейшей бомбежке американской авиации. После освобождения Парижа немецкий комендант хотел крепость сдать – ведь немецких войск на севере Франции больше не оставалось. Но немецкое командование парашютировало в Брест большой отряд "черных" эсэсовцев, которые продолжали бессмысленную защиту крепости. Тогда американцы объявили два утра без бомбежек, чтобы гражданское население могло покинуть город. Сюшэ, который с женой тоже был на работе переводчиком, зашел к Бибиковым и умолял их уйти вместе с ним. Но Бибиковы боялись, говорили, что слишком далеко идти пешком: чуть ли не 500 километров до Парижа, да и тут в Бресте, в недрах возвышающейся над гаванью горы – роскошное убежище, тайный ход, пробитый еще

при Людовике XIV, – гора больше 80 метров чистого гранита – это не пробьют никакими бомбами, даже в 10 тонн.

Так Сюшэ ушли, а Бибиковы и около 1000 человек оставшихся в городе жителей по приказу немцев в тот же вечер принуждены были спуститься в это естественное убежище. Там были койки, туда раз в день приносили горячую пищу. Адская бомбежка Бреста шла теперь без отдыха и срока, днем и ночью. До убежища вела вниз лестница, вытесанная прямо в камне, около 150 ступенек – дальше за койками шел тайный ход к гавани, и тут, вдоль стены, стояли громадные ящики, покрытые брезентом с красным крестом и надписью *"Medikamente"* – лекарства.

Восьмого сентября в тиши и безопасности подземного туннеля праздновали именины Наташи Бибиковой (ей уж было 14 лет), а также и матушки, жены священника русской православной церкви Бреста. Впрочем, кюре из Брестского Собора тоже остался – оба говорили: капитан судна не покидает! Около десяти вечера тушили освещение, а очередной дежурный шел наверх, на площадь, где рядом со входом в подземелье был установлен движок. В тот вечер дежурным был некто Войно-Панченко; я его немножко знала, и все, что случилось после ухода Сюшэ, рассказал уж позже он.

В этот вечер после тяжелой бомбежки чины батальона Тод (род саперов – в это время там были старички лет по 60 и мальчики от 14 до 16 лет) отказались выйти на уборку разбитого квартала и снизу из гавани вошли в потайной ход и там спрятались. К вечеру гестаповцы пришли за ними, стали их палками выгонять, началась перестрелка, и кто-то из Гестапо бросил несколько гранат, часть попала в ящики с "медикаментами", но... под брезентом с красным крестом оказался склад боеприпасов, произошел невероятный взрыв, волна гремучего газа понеслась наверх, к выходу в город, сжигая и губя по дороге всех, кто там был.

Американская военная комиссия только в начале декабря выехала в Брест для осмотра этого бомбоубежища, а Войно-Панченко, как единственный оставшийся в живых из всех бывших там в тот вечер, был при этом как свидетель, дежуривший у движка. Он тогда в вечер взрыва внезапно увидал, как из узкой лестницы, ведшей в убежище, с невероятным грохотом вырвалось пламя метров 30-40 высоты. Его бросило на землю и оглушило; придя в себя, он попытался было спуститься вниз, но тяжелая чугунная решетка наглухо закрылась волной воздуха, и в декабре американцы с трудом смогли ее открыть. Никого живого там не осталось; всего погибло около тысячи жителей и четырехсот тодовцев. Погибла и вся семья Бибиковых.

* * *

Потянулась зима 1944-45 г. – одна из самых тяжелых: почти не было топлива, электричество давали скупо, час утром, час к обеду; вечером было особенно плохо, камфорки еле-еле грелись. Никита, ложась спать, укутывался в несколько одеял, а я ночью готовила на завтра, чтобы днем за час все согреть. Мерзли ужасно. Деньги я от Lemercier получала с трудом, он не очень-то хотел мне выдавать жалование Игоря Александровича, пока к нему наконец не поехал Henri de Fontenay, который в это время уже жил в Руане и был "коммисаром Республики" в Нормандии (по-русски бы сказали – генерал-губернатор), и крупно с ним поговорил, сказав, что мой муж считается французским офицером в плену и что по закону он обязан мне выплачивать деньги, пока не выяснится его судьба. В ноябре я, по совету знакомых, пошла повидаться с директором заводов "Рено", которого, как говорили, жена выкупила у гестаповцев за несколько слитков золота. Эта история казалась тогда довольно-таки фантастической, однако потом, после войны, все оказалось правдой. Эта решительная дама погналась на машине через фронт... в Бухенвальд. Приехала туда через два дня после того, как транспорт, где был ее муж, также как и Игорь Александрович, прибыл в лагерь, вызвала двух стражников, дала им часть слитков (или пообещала их – точно не знаю). Так или иначе, в ту же ночь эсэсовцы вывели ее мужа, она отдала им слитки и увезла мужа назад, опять через фронт, прямо в Париж, в огромную роскошную квартиру на бульваре Сен Жермен... Но у нее была машина, тогда как ни у кого не было, были и слитки золота – вероятно на весьма порядочную сумму. Все это так, но была у этой женщины и удивительная смелость и решимость поставить на карту и свою жизнь, и жизнь своего мужа, а также умение, пусть даже за золото, уговорить эсэсовцев вывести из этого кромешного ада узника, да еще директора громадного завода!

Сам же директор "Рено", бывший узник, принимал два раза в неделю родственников вывезенных с ним вместе заключенных; ему показывали фотографии. Но он мало что мог рассказать. От этого визита у меня остался горький привкус.

В те же дни я получила через неведомых мне железнодорожников две записки от Игоря Александровича, которые он сумел выбросить через щель вагона, в котором его везли в Германию. Железнодорожники писали, что не решались переслать эти записочки пока немецкая армия окончательно не покинула Францию. Я им, конечно, ответила сразу и поблагодарила – в ту пору подобрать записку на путях тоже было рискованно.

Мы жили с Никитой очень одиноко, питались плохо и скупо. Мне предлагали работу в большом еврейском банке Лазар; передали, что никогда не забудут, как Игорь Александрович помогал евреям, но de Fontenay не советовал начинать работать до окончания войны, на случай, если бы понадобилось хлопотать пенсию. Иногда я ездила в Дурдан, в 50 км от Парижа, на дурданскую мельницу, где жили

Угримовы. Изредка вечером заходил ко мне посидеть наш друг Петр Андреевич Бобринский – всегда ласковый, с мягким голосом, тихими манерами, один из самых очаровательных эмигрантов нашего поколения. Изредка заходил и Яков Борисович Рабинович, тоже участник Сопротивления – всегда дружественный, всегда готовый помочь, со смешной фамилией из тысячи еврейских анекдотов, верный друг. В 1917 г. он был призван, служил юнкером и среди других участвовал 25 октября в защите Зимнего Дворца. А я в тот вечер ехала в трамвае через Дворцовый Мост по дороге домой из Народного Дома, и какую-то минуту в этот вечер мы, не будучи знакомы, находились почти что рядом... в истории.

Вообще же народу заходило мало. Никита к весне начал болеть, я держалась, старалась не поддаваться темным мыслям. Но вот кто непрестанно заходил и занимал меня всякими рассказами, так это все тот же Григорий Николаевич Товстолес (о его дальнейшей судьбе будет много позже, если удастся дойти до этого момента, тоже страшного!). Никаких вестей из Бухенвальда, конечно, не было. Я побывала всюду : и в Красном Кресте, и в Норвежском консульстве, и в Шведском – никто про Игоря Александровича ничего сказать не мог.

В течение зимы 1944-45 г. я получила несколько продуктовых посылок из Америки, от Толстовского фонда. В начале декабря мне прислали извещение, что мне есть посылка в каком-то Комитете. Я была поражена – ни с кем в Америке я за всю войну не переписывалась и не могла понять, от кого бы это могло быть. Мы с Никитой поехали, там было нечто вроде бюро, где были русские, но все незнакомые. Молодая дама дала мне пакет; не помню, было ли на нем что-нибудь написано, – кажется, у нее просто был список имен. В посылке был американский солдатский паек: коробки разных консервов, сгущеное молоко, шоколад и пакетик масла. Никита в один присест съел сгущеное молоко, шоколад тоже.

Возвращение Игоря Александровича из Бухенвальда

Только 13-го мая 1945 г. я узнала, что Игорь Александрович жив и освобожден из лагеря Дахау, в Баварии, куда их всех из подземного лагеря Лаура (отделения Бухенвальда) вывезли за несколько часов до того, как американская армия освободила его. Сперва получила записку, вложенную в чрезвычайно любезное письмо, через Aumônier général, ездившего из Парижа для посещения освобожденных лагерей в Германии. Американцы плохо разбирались, кого они, собственно, освободили, а полосатые пижамы, напоминавшие им американскую каторгу для самых тяжелых

преступников, их тоже сбивали с толку. А потому они хоть, конечно, заключенных не убивали, но и никуда никого не выпустили и продолжали держать всех в Аллахе (отделение Дахау) под стражей в бараках. Они начали всех кормить и даже без разбора, так что в первый же день многие от этого излишнего питания умерли.

Но... всему конец, Aumônier Général * вернулся в Париж, сделал доклад о том, что видел. В Дахау вскоре приехал генерал Леклер, вызвал на плац всех французов (Игорь Александрович числился в лагере французом и носил букву "Ф" на красном треугольнике). Священник отслужил мессу, во время которой все причащались, и тогда генерал Леклер обратился к этим бывшим заключенным с речью и обещал, что скоро их "освободит" отсюда.

Игорь Александрович как один из очень тяжело больных попал в первый поезд, шедший во Францию, но сперва пробыл в "приемной инстанции" на озере Констанца целых две недели. Там уж были врачи, всякие осмотры и помощь, и вот наконец полная свобода: отдельная комната и кровать с простынями. 31-го мая я получила телеграмму от французского главнокомандующего генерала де Латтр-де-Тассиньи, извещавшую меня о прибытии Игоря Александровича в Париж на Северный вокзал. На следующий день по радио объявили, что встречать репатриированных из Германии следует в отеле "Лютеция", куда их будут привозить с вокзала. Кирилл туда и поехал, ждал долго и наконец около шести вечера встретился с братом. Какие-то скауты, люди весьма юные, но и весьма решительные, останавливали частные машины – а таковых к тому времени было уже немало – сажали туда освобожденных людей и их родных, и те везли их по домам. Так приехал и Игорь Александрович вместе с Кириллом около семи вечера. У нашего подъезда стояло человек 30 соседей. А Никита весь этот день с 10 утра просидел на корточках на углу нашей улицы Жан Гужон и площади Франсуа I, был в полубезумном состоянии, ничего не ел и отказался вернуться домой. Всем жителям нашего мини-квартала он сообщал, что ждем папу и что ген. де Латтр маме прислал телеграмму... Я изредка выходила на улицу за ним последить, но возвращаться домой не заставляла – действительно, это ведь был особенный день! Последнее время, в частности, всю весну, он болел, был очень нервен и, видимо, вполне понял, где его отец, хоть я и избегала с ним об этом говорить.

Игорь Александрович тяжело болел целых шесть недель – плевритом, а потом туберкулезом в скрытой форме. Его лечил молодой врач Алеша Краевич, который все сделал, чтобы Игоря Александровича спасти. К нам на дом приезжали все специалисты,

---

*) Такого рода "Aumônier Général de l'Armée" в войну 1914-18 г. был в России протопресвитер Георгий Шавельский, возглавлявший все духовенство Армии и Флота. Это был незаурядный человек, тонкого ума, широко образованный; он в войну раза два-три бывал у нас, да и все мы были прихожанами домовой церкви на Кирочной, где он был настоятелем.

привозили рентгеновскую аппаратуру для снимка легких, несколько раз приезжал самый большой специалист по легочным болезням Рауль Курильский. А я? Я объявила всем знакомым, что настало время мне помочь и что теперь я буду принимать всякие продукты, что бы ни принесли. Очень скоро люди откликнулись: знакомые, незнакомые, соседи и жители нашего квартала. Часто, открывая дверь, я находила на площадке корзинку – были тут фрукты, овощи, масло, молоко, даже рыба, которой тогда было мало. Приносили и просто пачку сахара или макарон. Так что не надо все же считать, что все французы "сантимщики" – я ведь никогда не узнала, от кого были эти дары. Я почти без перерыва готовила и как главное лечение давала Игорю Александровичу поесть в любой час, иногда до десяти раз за сутки. Краевич считал, что главное – питание, и пусть Игорь Аленсандрович ест, сколько хочет; главное – поддерживать организм не переставая. Температура у него была все время высокая: от 39° до 41° – и так несколько недель.

Приходили родные и знакомые мне помогать – ведь я одна не могла даже перестелить кровать. По утрам я около 7 ч. ложилась на час, не то вздремнуть, не то просто отдохнуть, принимала горячую ванну, переодевалась и... снова начинала готовить. А днем приходили посетители, немного, не надолго – но ведь надо было человеку все выговорить.

В июле Игоря Александровича вывезли в дом отдыха недалеко от Фонтенбло, устроенный Красным Крестом, и он начал там вставать, выходить в сад и по несколько раз в день получал, помимо завтрака, обеда и ужина, бутерброды с толстым слоем масла; наконец, в августе мы, по совету проф. Рауля Курильского, уехали в горы в Савойю, недалеко от Швейцарской границы и попали (через знакомых, конечно) в чудный старинный замок, стоявший на высоте пятисот метров, с дивным видом на зеленую долину. Владельцы замка были русские, семья Штранге. Там было уютно, красиво, все было вкусно, – комнаты у нас были одна 45 кв. метров, другая – 25 м., подоконники шириной в метр, все за нами ухаживали, старались, чтобы нам было хорошо, весело, беззаботно... Погода стояла райская, и нам показалось, что мы и правда в раю.

*

Постепенно жизнь в нашем доме вошла в колею, или казалось, что так. А ведь и в самом деле – война, крах Европы, ужасы нацистских лагерей, которые в нашем доме были особенно понятны, – все это затмило нам прелесть и очарование жизни во Франции. За четыре года оккупации у нас на глазах творилось немало гнуснейших вещей; никогда не надо забывать, что мы под конец войны боялись "петэновской милиции" не меньше, нежели гестаповцев в фуражках с черными околышами.

Русская эмиграция вышла из этого тяжелого испытания расколотая и не без пятен. Некоторые соблазнились легкой наживой на поставках немцам всего того, чем Франция была богата. Конечно, были и французы, которые занимались тем же, но нам от этого не легче. Казалось, что у эмигрантов, нашедших приют во Франции (а их здесь было особенно много, и "чудили" они немало и, надо сказать, пользовались полной свободой: издавали бесконечное количество газет, журналов и при этом ссорились, клеветали друг на друга, не стесняясь), должно было обязательно сказаться чувство приличия – ведь они жили в чужом доме.

В движении Сопротивления стали понемногу узнаваться многие скромные люди, которые вошли в никому неизвестные тайные ряды бойцов против немецкого фашизма. Осенью 1945 г. у нас собралось несколько человек из бывших русских резистантов и порешили учредить некое объединение всех русских участников Резистанса. Вскоре собрали в каком-то зале тех, кого мы уж успели узнать, и так родилось "Содружество Русских Добровольцев, Партизан и Участников Сопротивления", главной целью которого было собрать сведения о всех неизвестных еще нам русских резистантах, описать их подвиги и отдать должное всем тем, кто погиб – был убит, замучен или умер в концлагере. Это предприятие было официально зарегистрировано. Игорь Александрович был избран председателем, и вскоре, приблизительно в начале 1946 г., мы задумали издавать *"Вестник"*, посвященный рассказам об участии русских в борьбе против нацизма во Франции. Первый номер вышел в июле 1946 г., второй в феврале 1947 г. Тут приходилось узнавать, выискивать, идти по следу от одного к другому – ведь были люди не только в Париже, но и в Савойе, на севере Франции, в таких больших городах, как Марсель или Тулуза.

Нам удалось выпустить две тетради *Вестника*. Я с жаром принялась за работу, записывала показания и рассказы – например, моей приятельницы Сони Носович, которая была арестована немцами вместе с Вики Оболенской; Новиковой, которую мы раньше не знали и у которой в концлагере погиб единственный сын. Собирали материалы все понемногу, а распределяли их, собственно, В.Б. Сосинский (родственник Вадима Андреева) и я. Сосинский считался опытным в деле оформления журнала и распределения статей. Я, кроме записей, и сама написала некоторые заметки, например о Зиссермане, а также предисловия к обоим номерам *Вестника*. Перечитывая сейчас эти предисловия, думаю, что их можно было бы написать попроще, не поддаваясь искусу красоты слога, но для того периода несколько выспренный тон был, верно, естественным. Сейчас, через тридцать три года, когда вокруг нас снова начинает греметь война, когда во многих странах появились свои "резистанты" – все иначе. Но тогда казалось, что все эти дела, геройства, жизнь в постоянном страхе – все это было в Европе впервые в нашем веке, и было острое ощущение радости: выжили!

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Во Франции в это время проживало около 65.000 русских эмигрантов. Это немало – однако, если сравнить с цифрой нынешнего года, когда одних португальцев здесь живет около двух миллионов, то цифра покажется незначительной. Но русская эмиграция вся без исключения была эмиграцией политической; после войны рознь и уклоны среди русских сильно обострились – да и понятно, что победы советской армии поразили умы, и многие считали, что это начало новой эры, что вот-вот будут и внутри страны перемены… Потом оказалось, что в то время и в СССР было немало людей, думавших как мы, ждавших как мы… А вышло наоборот, и через малое время началась "холодная война" и страшные годы 1948-50 – новая волна террора на всю Россию, пожалуй, не легче, нежели 1937 год!

И вот, на фоне этих чаяний, сомнений, споров и прений в парижской газете *Русские Новости* 22-го июня 1946 г. был опубликован "Указ Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР подданых бывшей Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции". Указ этот был подписан в Москве 14-го июня 1946 г. Шверником и Горкиным. Заявления об обмене паспорта можно было подавать в посольство СССР во Франции вплоть до 1-го ноября 1946 г.

Это было не совсем неожиданно. Еще во время войны, в феврале 1945 г., группа видных эмигрантских деятелей была принята послом А.Е. Богомоловым вскоре после его приезда из Алжира; возглавлял группу В.А. Маклаков, были там два адмирала: Кедров и Вердеревский, известный общественный деятель А.С. Альперин и другие.

В беседе с Богомоловым Маклаков заявил, что они готовы пересмотреть прежние позиции по отношению к СССР. Шума поднялось много, об этом "визите" печатались статьи в эмигрантских газетах, толковали на собраниях, шли всякие фантастические слухи…

Патриотические заявления были сделаны также Бердяевым. Казалось, раз так – то чего же сомневаться? Газета *Русские Новости*, родившаяся на месте существовавшей до войны милюковской газеты *Последние Новости*, имела окраску вполне советско-патриотическую; редактором ее был Арсений Федорович Ступницкий, мой советник и "ходатай" в трудное время, когда Игорь Александрович был вывезен немцами в Бухенвальд; да и он всю оккупацию держался позиций нам вполне родственных.

Обмен паспорта

Через неделю после опубликования от 14-го июня 1946 г. мы с Игорем Александровичем пошли в советское консульство на *Boulevard Malhesherbes*, отдали там наши нансеновские паспорта и вскоре получили советские, дававшие право на проживание заграницей; Никита был вписан в мой паспорт. Собирались ли мы в скором времени уехать насовсем в СССР? Да, собирались, думали, что со временем поедем, как только Игорь Александрович достаточно оправится от ужасов Бухенвальда.

Так началось наше "смутное время". Сперва все шло гладко, и, главное, понятно, и только постепенно мы услышали тяжелый лязг надвигавшихся на нас событий, стали замечать, узнавать, чего сразу не уразумели. Говорят, во Франции около 10.000 русских эмигрантов тогда взяли советские паспорта; хорошо это или плохо, умно или непроходимо глупо? Теперь думается, что это было акция нужная советской пропаганде ввиду сведений об истинном положении в СССР, которые узнавались через вторую эмиграцию в Европе: власовцев, бежавших из немецких лагерей, пленных солдат, вывезенных немцами украинских и белорусских девушек. Эти всячески прятались, укрывались от возвращения на родину – однако появилась советская Репатриационная Миссия, имевшая заданием собрать и вывезти назад в СССР возможно большее количество военнопленных. Таким образом создался недалеко от Парижа пресловутый лагерь *Beauregard*, и туда (подчас и с помощью французской полиции) полковник Никонов и его помощники (а в их рядах был и сын милейших владельцев замка в Савойе Миша Штранге, внезапно надевший советскую форму младшего лейтенанта) загоняли всех, кто, по их мнению, подлежал репатриации. Со временем эта миссия вывезла на *Beauregard* несколько эшелонов, так что состав находившихся там постоянно менялся.

Но вернусь несколько назад. Еще во время Освобождения Парижа вышедший из подполья "Союз Русских Патриотов" (одна из

эмигрантских организаций Сопротивления) явочным образом занял особняк на *rue Galliéra*, где раньше, во время оккупации, находилось "Управление делами русской эмиграции", возглавляемое пресловутым русским гестаповцем Жеребковым. Тут этот союз и начал развивать свою деятельность, понемногу укрепился, расширился, а после указа от 14-го июня в него вошли многие новоявленные "советские граждане". Появилось у них и свое правление – в разное время туда входили разные люди: Матяш, Качва, Марков – для нас это были люди новые, которых мы раньше совсем не знали.

Вскоре во всех кварталах Парижа (а также и во многих городах Франции) образовались местные отделения Союза, каждый со своим председателем. Всюду проходили собрания, лекции, доклады – все на одну и ту же тему: СССР и его достижения. Можно себе представить, что французским властям это новое лицо русской эмиграции мало нравилось. Впрочем, многочисленная армянская колония тоже решила, что пора армянам домой, в Армению, где когда-то, в 1915 г., после турецкой резни, их радушно приняли, а они и во Франции жили очень благополучно, но оказалось, что слово "домой" имеет особое звучание.

А в особняке на *rue Galliéra* заработала дешевая и приличная столовая, там же открылась русская библиотека (где я, кстати, работала целых шесть месяцев); некоторых новоявленных советских граждан стали приглашать на приемы в советское посольство на *rue de Grenelle*. Мы оба были из тех, кого часто приглашали, и тогдашний посол Богомолов весьма "вельможно" и ласково нас приветствовал при входе в большой зал, стоя на площадке парадной монументальной лестницы в мундире, при регалиях, и рядом с ним жена, приятная, светская, всегда отлично и скромно одетая, говорившая недурно по-французски – она нам всем очень нравилась.

Входило ли в планы советского правительства разрешить новым советским гражданам и в самом деле вернуться домой? Как-то на большом собрании выступавший с докладом Богомолов на вопросы об отъездах отвечал уклончиво, а когда кто-то из присутствующих спросил, можно ли будет, вернувшись на родину, навещать родных, оставшихся во Франции, долго молчал и наконец сказал, что "вряд ли в первое время это будет возможно"... Однако армяне уезжали и уезжали, да и большая группа русских тоже в 1947 г. уехала – им в особняке на рю Галлиера устроили торжественные проводы, но, сказать честно, у многих уж начались если не сомнения, не сожаления, то некое душевное ущемление – тут что-то не так, не так уж победно, едва ли нас ждет небо в алмазах... А одна из новых советских гражданок через два-три месяца получила открытку от брата, вернувшегося на родину в какой-то провинциальный город, и в открытке значилось: "Ждем тебя обязательно! Как только выдашь Машу замуж, приезжай к нам...", – а Маше ее было два года... Шли слухи про Ахматову и Зощенко, холодная война уже брезжила,

”климат” и во Франции менялся, на Севере особенно, где произошел ряд социальных конфликтов на угольных копях. Словом, настроение в стране было напряженное.

Однако, жизнь шла своим чередом. В мае 1947 г. я поехала лечиться в *Bagnoles-de-l'Orne*, знаменитый курорт для восстановления кровообращения; когда вернулась, пришлось Никите экстренно делать операцию аппендицита, а потом с 15-го июля до конца августа мы с ним поехали в милую Покровку, где мне все так нравилось – после войны там было людно, шумно, но... строго, никаких политических прений Павел Михайлович Калинин не допускал.

Главное общественное событие в это лето был прием 3-го июля у Молотова, он незадолго до своего возвращения в Москву принял целую группу эмигрантов в посольстве на *rue de Grenelle*; тут были и взявшие паспорта, и не взявшие – А. Ремизов, адмирал Вердеревский, А.Ф. Ступницкий, и из ”Союза Советских Патриотов” – А.К. Палеолог, Н.С. Качва, Д.М. Одинец, а также некоторые представители грузинской и армянской колонии в Париже и из Шанхая – Чиликина. Молотов вел долгую беседу со всеми и в заключение сказал: ”Может случиться, что вернувшись на родину, особенно в провинции, будут попрекать их эмигрантским прошлым...” Вздохнул и добавил: ”Что ж делать! В семье не без урода. В таких случаях обращайтесь прямо КО МНЕ!!” Тут был и некий намек, но... и прямое обещание, не волнуйтесь, мол! Вы же знаете, кто я, а я за вас заступлюсь. Эх! Вот мне как раз и пришлось вспомнить это обещание, и в 1951-52 г. не одно прошение я послала на имя Молотова...

15-го августа на *rue Galliéra* состоялся организационный съезд ”Союза Советских Граждан”; этот съезд долго подготовлялся специальной комиссией, которую возглавил А.И. Угримов; почетным председателем был избран А.Е. Богомолов, а председателем съезда – Игорь Александрович Кривошеин. Съезд продолжался два дня, и в присутствии делегатов от Парижа и от французских провинций был выроботан устав Союза и избран состав Правления (председатель С.Н. Сирин, ген. секр. Н.С. Качва, А.Ф. Палеолог и некоторые другие). От имени съезда была послана приветственная телеграмма Президенту Французской Республики Ориолю за подписью Игоря Александровича, и был от Президента Республики получен любезный ответ на имя Игоря Александровича – это отмечаю в связи с событиями, происшедшими вскоре, всего через два месяца.

Внезапно в ноябре в лагере *Beauregard* грянул скандал, который поразил воображение парижан. Что-то с этим лагерем было не то; ползли слухи, что там насильно содержат и насильно будут увозить в СССР людей, подлежащих ”репатриации”. И вот 12-го ноября 1947 г. французская полиция – около 2000 человек с танками – окружила *Beauregard*, где тогда проживало около 600 советских граждан, и произвела обыск и опрос всех этих людей. Результат этой обширной акции был просто ничтожный – выйти из лагеря захотела только

одна особа, некая Свечинина: она с двумя детьми была снята с поезда, увозившего из Франции новых советских граждан, по просьбе мужа, с которым у нее шел развод; муж не хотел допустить, чтобы она его детей увезла из Франции – словом, дело было чисто семейное, а не политическое!

Было ясно, что страница перевернулась, что "смутное время" скоро кончится – как? Тревога, тревога, вот это было тогда главным чувством... Играли, собирались, "изучали" – вот теперь и итог близко! Мы тогда перестали всерьез думать об отъезде из Франции, да и заявления на отъезд еще и не подавали...*

Холодная война грянула и у нас, на rue Jean Goujon, в добром старом доме, которому уж было лет 150, да и мы тут прожили почти двадцать лет... У меня тогда, к концу войны, появилась довольно редкая книга *L'Evangile du Verseau* изданная Французским Теософским обществом; мне ее подарил один русский врач-теософ. Это совсем иная версия Евангелия и достаточно, для нашего понимания, странная. Однако я об этой книге говорила в Покровке с П.Г. Калининым. Тот очень заинтересовался и как-то, уж верно в конце октября, прислал свою невестку из Покровки за книгой. Я подошла к полке взять ее и... место книги оказалось пустым, так что между двумя соседними книгами осталось непонятное пустое пространство. Вечером я показала Игорю Александровичу, что книгу кто-то взял; он сперва смеялся: кто же мог ее похитить? И тут мне стало ясно, совсем внезапно, кто! "Да у нас в наше отсутствие делают обыски!" – "Глупости, глупости, кто делает обыски?" – "Да кто – все та же *rue des Saussaies*".

А наутро Игорь Александрович стал искать ряд папок с делами и бумагами для третьего сборника Резистантского Вестника, да еще что-то с рю Галлиера – нет, этих папок тоже нигде нет...

В воскресенье с утра решили основательно перевернуть всю квартиру – я подошла снова к полке, где раньше стояла книга *L'Evangile du Verseau* и... о чудо! Она тихо и мирно была дома, на своем месте, только была плохо, в спешке, назад поставлена и сантиметра на 3-4 выглядывала наружу из ряда. А из другой комнаты Игорь Александрович кричит: "Вот мои бумаги, нашел наконец – они ведь, оказывается, просто лежали на месте. Как же я их не заметил!" – "Не лежали на месте, а вернулись на место, да и моя теософская книжица тоже уж снова дома!" И тут же, не думая, – вниз к консьержке: "Скажите, мадам Pillard, когда у нас в мое отсутствие делали последний раз обыск?" Она отвечает: "Да, верно, в четверг, когда вы были на базаре". – "Как же это вы так их пускаете?"

---

*) Да и внутри Франции произошли вдруг крупные перемены – коммунисты, которые еще со времен Алжира входили в состав Правительства, в мае 1947 г. вышли из него, и общий курс политики резко переменился.

– "Я? Да ведь вы и сами знаете, что я служащая, не имею права не дать им ключа". Бегу назад, бросаюсь к комоду – так и есть – все украдено, последние драгоценности, которые у меня оставались: браслет Елизаветинский, кольцо с прекрасным сапфиром, старинный серебряный складень – все, все исчезло! А с кого теперь требовать?

Высылка из Франции

25-го ноября 1947 г. около 9-ти утра – звонок в дверь. Открываю, стоят двое; у этих людей во всем мире одинаковые лица, сомневаться не приходится... Просят Игоря Александровича пройти с ними на минутку (pour un moment) в коммисариат, но я сразу спрашиваю: "Надолго ли?" – "Да нет, нет, к завтраку вернется". Однако, прошу подождать, вытаскиваю чемоданчик, Игорь Александрович собирает какой-то минимум вещей и уходит с ними. Говорит мне по-русски: "К завтраку не ждите".

Начинается последний акт перед нашим отъездом в СССР. В этот день арестованы во Франции по приказу министра внутренних дел Жюля Мока двадцать четыре "новых" советских гражданина. В числе высланных кроме Игоря Александровича были: А.П. Покотилов, А.А. Угримов, Н.С. Качва, А.К. Палеолог, С.Н. Сирин, В.Е. Ковалев, А.И. Угримов, А.И. Марченко, А.А. Геник, М.Н. Рыгалов, Н.В. Беляев, В.В. Толли, И.Ю. Церебежи, В.И. Постовский, Розенкампф, Л.Д. Любимов, Таня Розенкопф, Сабсай, В. Плихта, А. Гущин, Д. Белоусов и еще два человека, фамилии которых я не помню.

Шушу Угримов тогда уже жил в Аннеси, и его оттуда почему-то привезли в... наручниках! Все они были свезены к вечеру автобусом в Кэль (против Страсбурга на немецкой стороне Рейна) и потом вывезены в советскую зону Германии, а вскоре попали в пересыльный лагерь около Бранденбурга.

Акция была произведена Жюлем Моком после довольно-таки значительного выступления французских коммунистов в предместьях Парижа. Надо думать, что "Союз Советских Граждан" вызывал активное отталкивание у французских властей. Во Франции, где осело столько русских беженцев в 20-х годах, было бесконечное количество всяких союзов: воронежских кадетов, смолянок, витязей, "бывших" офицеров Лейб-Гвардии таких-то и таких-то полков – да разве все перечислишь. Но их никогда полиция не трогала, рассматривая их как полублаготворительные организации. Конечно, "Союз Советских Граждан", его собрания, его пресса носили уже характер чисто политический и могли казаться центром коммунистической пропаганды. Вопрос: были ли они таковыми на самом деле?

Но для министра внутренних дел тут была возможность отделаться от "нежелательного элемента", дать громкий ответ французской Коммунистической Партии.

Эта высылка дала повод советскому правительству направить ноту протеста и показать, что она "защищает советских граждан заграницей". В Бранденбурге всей группе обещали, что скоро они будут на родине, а пока... надо подождать. В Бранденбурге никого не обижали, кормили и даже под конец стали пускать группами в город. Приезжал туда уполномоченный из Переселенческого отдела из Москвы, некто Пронин, один из более или менее приятных и приличных людей из этого учреждения, и всем были даже назначены города, где им жить и работать, кому – куда...

На мои плечи в этот очень трудный период пала большая тяжесть – упрекать мне было некого, искать у кого-то поддержки – трудно. Мне пришлось взять Никиту из очень хорошей школы и отдать его в школу, организованную в Париже при Союзе Советских Патриотов. Что же, эта школа была не плохая, там был милейший директор Николай Николаевич Кнорринг, зять поэта Бэк-Софиева. Патрон Жан Лемерсье рвал и метал; друзья, родные, знакомые? Тут было много разного. Пожалуй, самое резкое отношение к себе я встретила у Кирилла, он меня только что не проклял вслух, считая, что это все "мои затеи". Словом, дыма и пороха вокруг меня было не мало.

К тому же в эту весну вернулась из Греции моя мачеха Елена Исаакиевна; она жила то у Тани Гревс, то у меня. Она обожала такие острые психологические моменты, во всем принимала активное участие, и одно из главных дел, которое она подняла и таки довела до победного конца – это отъезд Тани Гревс вместе с нашей группой (семей высланных в СССР 24-х человек) в конце апреля 1948 г. Роль Таниного мужа в этой истории так навеки и осталась для меня неясной... Человек будто и приятный, и милый, Ал. Ал. Федоров сразу сказал, что он никуда из Парижа не поедет, во всяком случае сейчас, ну, а позднее видно будет... Но это я забегаю вперед.

Советский консул Абрамов начал сколачивать нашу группу. Это сделалось не сразу, некоторые семьи жили в провинции (в Ментоне, Аннеси, Бельфоре). Дамы специально приезжали в Париж – словом, коломыга наша двигалась медленно и тяжело; с деньгами у большинства было неважно. Кое-кто в это время уехал из Парижа, но не на Восток, а просто в Нью-Йорк – эти были, конечно, не из высланных, а из тех, кого не трогали, кто как раз азартнее всех восхвалял Советскую Россию. Работать в ООН, в русский отдел, уехал с семьей В.Б. Сосинский (который участвовал в создании *Вестника Участников Сопротивления*) и его зять Вадим Андреев с женой и детьми. Потом уже, в 1958 г., Сосинский приехал в Москву и, странно, мы с 1961 г. жили рядом с ним, на одной площадке, в том же доме, в Измайлове.

Вернусь назад, к рассказу об отъезде нашей группы. В ней были и одиночки, а именно: Игорь Константинович Алексеев (сын Станиславского) с дочкой Ольгой, Хренников, сопровождавший некую прекрасную даму – дальний родственник плохого композитора), Татьяна Валериановна Гревс – всего 32 человека. Из них детей было: двое Булацель, Лиза и Алена, Татка Угримова, Никита Кривошеин и Ольга Алексеева; последней было 17 лет и она числилась в Молодежной группе вместе с Таней Толли, которой было уже лет 19, а была эта Таня Толли – прямо красотка.

Время шло, и все, кто был в Бранденбурге, уехали в СССР в феврале 1948 г. и даже уже расселились по местам, назначенным Переселенческим Отделом. Игорь Александрович очутился в городе Ульяновске, бывшем Симбирске, на родине Володи Ульянова. Я постоянно получала письма от Игоря Александровича, так что про него все же кое-что знала, мне же ему писать было трудно: мои письма читались двумя цензурами, приходилось обдумывать каждое слово.

Отъезд в СССР

Консул Абрамов глухо нам говорил об отъезде: есть препятствия, осложнения. Да какие же? Он неизменно отвечал: "Хлопочем, хлопочем". Настроение у нашей группы, где многие даже друг друга не знали (например, я совсем не знала семью Толли, а также Рыгаловых и жену Сирина, которая, кстати, во время пути на электроходе "Россия" и далее, в Одессе, оказалась очень милой женщиной), становилось понемногу мрачнее и напряженнее: надо было решиться или устраивать свою жизнь здесь на Западе, или скорее уезжать. Эта проблема стояла и передо мной: банк Лазар снова мне предлагал принять меня на работу, ждал ответа; Лемерсье мне выплачивал ежемесячно деньги, но этому скоро должен был прийти конец. Да и надо было что-то купить, а для этого и что-то продать – холодильник, мебель, книги – и пошить себе меховое пальто, шапку, Никите тоже теплые вещи, кое-что привезти Игорю Александровичу, который уехал без вещей с тем знаменитым чемоданчиком... Мои советники де Фонтенэ и Ступницкий покачивали головой, говорили, что нашей семье необходимо скорее соединиться. Нервы у меня были перенапряжены, с Никитой мне было трудно справиться, он, увы, подпал под влияние одной из двоюродных сестер Игоря Александровича, тоже взявшей советский паспорт, равно как ее муж. Она внушала Никите, что мои опасения ни на чем не основаны, что Сталин самый великий и добрый человек в мире, и всячески его

настраивала против меня... Да, "та" семья меня недолюбливала – глубокое непонимание разделяло нас с первого дня. А эта вот кузина была весьма неглупа и по-купечески властна; в отсутствие Игоря Александровича она сочла возможным овладеть юной душой его сына.

В конце марта 1948 г. я, вызвав Henri de Fontenay, объяснила ему: необходимо что-то предпринять, чтобы нам, наконец, разрешили выезд из Франции. "Да кто же вам мешает?" – воскликнул он. – "Вот это-то и надо узнать, тогда хоть что-то станет яснее", – возразила я. Фонтенэ подумал и сказал: "Я знаю одного депутата от коммунистической партии во французской Палате, я его завтра же попрошу сделать в Палате запрос о том, почему семьи советских граждан, высланных из Франции, не выпускают из Франции. Согласны? Буча, конечно, будет; может быть "они" и поймут, что это дело поднято вами, вы не бойтесь". Подумала, подумала – говорю: "Давайте, налегайте – все равно теперь назад хода нет".

Так оно и произошло: ровно через три дня этот депутат обратился в Палате с официальным запросом к министру внутренних дел; тот с места ответил, что в первый раз об этом слышит, но немедленно наведет справки и даст ответ. На следующем же заседании Палаты был дан официальный ответ правительства по этому делу, а именно: он, министр внутренних дел, никогда не слыхал о том, что у семей 24-х высланных советских граждан есть какие-либо затруднения с выездом из Франции и что это несомненное недоразумение. Пусть едут, куда хотят и когда хотят, препятствий никогда и не было...

Ровно через день консул Абрамов экстренно собрал всех, кто из нашей группы был в Париже – все явились в консульство на бульваре Мальзерб ровно к 5-ти часам. Я пошла с Еленой Исаакиевной, которая тогда жила у меня – боялась возможных неприятностей. Стеклось нас немало: Рыгаловы, Толли, еще человек десять. Абрамов вышел из своего кабинета и, поздоровавшись, радостным голосом объявил: "Поздравляю, разрешение на въезд в СССР для вашей группы я получил сегодня утром". Вот и оказалось, что "препятствия" со стороны французского правительства в один день исчезли. Мне все было ясно, а другие... что они подумали? Я никогда об этом ни с кем из них не говорила. О запросе в Палате Депутатов они, возможно, и знали, но со мной никто из них этого не связывал.

Абрамов, который со мной всегда был подчеркнуто вежлив, попросил меня первую зайти к нему в кабинет, и я вместе с мачехой вошла. Абрамов сказал, что отъезд будет примерно через месяц и что он просит меня, став во главе всей группы, заняться сборами, а по приезде в СССР взять на себя переговоры с возможным начальством. Я, не растерявшись, сразу же ответила, что это мне не по силам и не по здоровью, а вот есть М.Н. Рыгалов, человек решительный, бодрый, ну и просто мужчина, и что я очень прошу, чтобы группу возглавлял он; спасибо, что хотели именно мне доверить столь нелегкое дело...

Тут мне показалось, что я как-то неловко сижу рядом с мачехой на диванчике, а когда я открыла глаза, то где-то вдали смутно услыхала голос Елены Исаакиевны, говорившей: "Ну вот, она и глаза уж открыла, сейчас совсем в себя придет". Я видела, как Абрамов с перекошенным лицом нервно бегал по кабинету из угла в угол, кто-то еще шлепал меня по щекам, мачеха пыталась влить мне в рот какие-то капли... Оказалось, я потеряла сознание и была в глубоком обмороке около получаса, если не больше. Минутами всем казалось, что я умерла; Абрамов от такого дела совсем одурел, ведь какой мог получиться мировой скандал! Ему, наверно, мерещились крупные заголовки в западных газетах всякого толка: "Смерть в кабинете советского консула!"; "Русская дама, бывшая эмигрантка, умирает от сердечного припадка в кабинете советского консула!" Понятно, что такой конфуз мог повлиять на его дальнейшую карьеру.

Знаю, что как только меня поставили на ноги, служащие консула подхватили меня и понесли вниз по лестнице... ноги мои болтались в воздухе. Они сунули меня вместе с мачехой в такси, еще кто-то из нашей группы поехал вместе с нами. Меня внесли вверх по лестнице до нашей квартиры и уложили на диван в большой комнате, где еще так недавно после Бухенвальда боролся со смертью Игорь Александрович.

Все пять следующих недель, до нашего отъезда из Франции, мачеха от меня не отходила и сутками не ложилась спать. Годы войны, Сопротивление, метание то туда, то сюда, последние два года с 1945 до 1947, болезнь Игоря Александровича, высылка в ноябре 1947 г. – все, все вылилось сразу в этом никак не запланированном, тяжелом нервном заболевании, в столь театральном сценарии последних дней пребывания во Франции. Целыми днями я не могла говорить, не могла проглотить не то что ложку супа, но даже ложечку чая; ни днем, ни ночью не была я в состоянии оставаться в комнате хотя бы на минуту одна – кричала, билась, но... так никогда и не заплакала. Не могла видеть чужого человека – страх был непобедимый.

Никита жил все это время у тетки Игоря Александровича, Ольги Васильевны Кривошеиной, вышедшей в 1926 г. замуж за Сергея Тимофеевича Морозова. Морозовы жили тогда в отличном "Русском Доме" имени о. Георгия Спасского в Севре, под Парижем. Там к Никите все хорошо относились. Он был единственным обожаемым внуком, его порядочно баловали, и он начал слишком уже шалить; да ведь и было ему уже 13 лет, возраст, конечно, трудный, ну, да и дела семейные были нелегкие, что и говорить!

Когда я наконец смогла понемногу вставать, пришлось почти сразу собираться в дальний путь. Мачехой были куплены три плетеные корзины, и началась укладка. Говорили: книг не берите, все равно отнимут, там же цензура, и я раздарила бесконечное количество ценных книг, очень редкие издания. Говорили: не нагружайтесь

лишними кастрюлями, сковородками и т.п. – там купите, и я слушалась, и почти все хозяйственные вещи бросила в Париже. Главную роль в этом играла мачеха, а ведь она не желала мне зла. Когда я приехала в Ульяновск, где в те годы даже стакана нельзя было купить, то локти кусала. Воля моя была на корню подорвана болезнью, я была ужасно слаба, с трудом училась снова ходить и даже связно говорить.

Друзья стали приходить прощаться; впрочем, немногие решались переступить порог нашего "чумного" дома. Почему-то особенно помню расстроенное лицо В. Алексинского; ведь уезжала навеки не только я, но и его лучшие друзья Угримовы... За день до отъезда внезапно пришел и сам патрон Жан Лемерсье, мрачный, серый; он вдруг заплакал и сказал: "Вот когда я понял, что каждое су, которое я в жизни заработал, весь мой завод, все дело – всем я обязан только Кривошеину". Я ответила ему: "Месье Лемерсье, теперь уже поздно, ничего все равно не вернуть".

Отбытие было назначено с Лионского вокзала на вечер 19-го или 20-го апреля. Для нашей группы были зарезервированы два вагона второго класса, и сопровождал нас служащий консульства Рязанцев – он кое-как с помощью словаря кумекал по-французски. Мачеха ехала с нами – проводить до Марселя. Платформа была загружена провожающими. Вот вижу в окно М.В. Поленову, Товстолеса, Ступницкого. А вот под окном стоит и Шушу Федоров с фоксиком Топси под мышкой; Топси рвется к Тане Гревс и плачет, у Шушу лицо... ну, и не сказать, какое! Что это они делают? Зачем? – Так навсегда и осталось загадкой. Сижу в одном купе с Надеждой Владимировной и мачехой, чтобы быть всю ночь под бдительным надзором, – голова у меня все еще неважная. Henri de Fontenay и его жена довезли меня из дома до вокзала и сразу уехали. Henri говорит: "Простите, слишком тяжело оставаться до конца".

Поезд двигается все скорее; начинается длинная ночь до Марселя, колеса стучат, в голове у меня хаос, солома. Спать немыслимо. Посреди ночи потихоньку выхожу в коридор – и дальше, через тамбур, в другой вагон. Тут меня перехватывает из своего купе Вера Михайловна Толли, которую я почти и не знаю – добрейшая душа! Она меня усаживает рядом с собой, успокаивает – я болтаю чертову ерунду, хохочу... Но вот в дверях и мачеха с перекошенным с испуга лицом – кто его знает, что со мной, а она крепко спала и не заметила... Верно, Рязанцев успел ее угостить из своей неизменной фляжки.

Под утро задремываю, Никита спит в углу, умаялся – все спят. Въезжаем на вокзал – это Марсель. Солнце сияет, погода чудесная. Нас куда-то везут в небольшом автобусе – кажется, в мэрию. Происходит нудная выдача бумаг, сдача всех денег. Рязанцев то исчезает, то снова появляется. В чем же заминка? Может нас и правда не хотят выпускать? Но вот часов около десяти опять

тот же автобусик, едем в порт на посадку на электроход "Россия", который специально зашел в Марсель, чтобы принять нашу группу.

За нами едет открытый автобус с военными; все молчат, лица напряженные. Дома, хибарки кончаются; въезжаем в "Старый Порт" – Vieux Port, известный всему миру по чудесной трилогии Марселя Паньоля "Мариус", "Сезар", "Фанни". Сейчас это была груда страшных развалин, где не пройти - не проехать – все разворочено, дыбом стоят огромные кубы бетона, острые осколки покрывают прежние причалы. Высаживаемся, военные нас окружают и по узкому лазу ведут к более или менее очищенной площадке; сразу перед нами вырастает громадный корабль – это и есть электроход "Россия", блистательно белый, 32.000 тонн водоизмещения – английское трофейное судно, бывшее личной яхтой Гитлера, позднее переданное по договору англичанами советскому правительству. Это, кстати, был последний рейс "России" за границу: началась холодная война. Из Вашингтона были отозваны в СССР почти все советские дипломаты (около 120 человек). "Россия" стояла в Нью-Йорке, а дипломатам, уезжавшим на "России", пришлось самим таскать на борт свои тяжелые багажи: ни один носильщик не соглашался им помочь. Вот и стояла "Россия", как некий колосс, возвышаясь над причалом.

Нас вывели на эту площадку, окруженную со всех сторон развалинами и каменным хаосом, и военные тесно нас окружили. Рязанцев поднялся по трапу на борт, а мы остались. Эти юные военные были *C.R.S.**, вооруженные автоматами; лица у них были деревянные. Кто-то подстелил мне плед на острый каменный щебень, я на него села и вдруг почувствовала полное изнеможение. Вскоре жара на нашей площадке стала почти непереносимой; у кого-то оказался зонтик, его надо мной раскрыли. Пить ни у кого не было.

На "России" помимо нашей группы было уже немало пассажиров, человек двести, все жители Тель-Авива, спешившие домой – они гостили в Нью-Йорке у родственников. И, конечно, не могли понять, что это за жалкий табор русских женщин и детей валяется на земле под жгучим марсельским солнцем. Они вслух по-русски нас жалели, пробовали нам кидать апельсины – но никто из нас не двинулся, мы оцепенели. Время тянулось бесконечно, вот уж и три, и четыре часа дня, а ведь после шести вечера выход из гавани в море для крупных судов запрещен. Но кого спросить? Никого, кроме юных, безусых стражников, нет.

Часов около пяти – движение, выходит Рязанцев, куда-то уезжает на автомобиле и... очень скоро возвращается – с кем? Да с мачехой. Ох, вижу это все как во сне, в тяжелом сне... Рязанцев бежит наверх по трапу и через несколько минут начинается посадка.

---

*) Специальные подразделения полиции, созданные в 1945 г. для поддержания порядка.

"Скорей, скорей!" Кто-то просит, чтобы меня подняли наверх первой, а до палубы далеко, и лестница сквозная. Встаю, иду к трапу, Никита передо мной. "Иди, иди впереди, я буду на тебя смотреть, чтобы не видеть воды". Никита ступает на лесенку и живо взбегает наверх. Тащусь, схватившись крепко за поручни, в другой руке сумка, где паспорт и лекарства, ноги свинцовые, не слушаются. Медленно, но двигаюсь... Вдруг вижу, как за поручнями поблескивает вода, и тут сразу конец – повисаю на перилах, тошнота, дурнота, сейчас свалюсь вниз, туда, прямо в жирную воду... Кто-то кричит, но уже рядом со мной один матрос, другой, они ловко подхватывают меня, и во мгновение я уж наверху, где стоит совсем сконфуженный Никита – видно, ему неловко, что мама и по лесенке не сумела взойти. Дежурный офицер галантно козыряет, говорит: "Идите лучше прямо в свою каюту, вас проводят", – и, действительно, рядом со мной вырастает медсестра в белом и ведет нас с Никитой в кабину.

Минут через десять прихожу в себя, подымаюсь на палубу, все наши уже тут, сейчас отчалим, трап уже поднят, но чего-то еще ждут. И вдруг откуда-то с кормы опускают на землю пологую лесенку, и по ней, качаясь, сбегает Рязанцев, и я вижу, что там стоит мачеха и машет нам... Рязанцев, сбегая, кричит нам: "Задержал, уж извините, но как же было не выпить на родном судне!" Он обнимает мачеху, оба что-то пьют, видимо – шампанское. "Россия" медленно начинает выходить в море. Вечер так хорош, весь Марсель утопает в золотых лучах весеннего солнца. Говорю Никите: "Смотри, смотри, запомни, вот наверху *Notre Dame de la Garde*... Я там была, когда тебя еще на свете не было. Верно уж никогда больше и не увидим".

ЧАСТЬ III

СССР. 1948—1974

ЭЛЕКТРОХОД "РОССИЯ"

В самые смутные минуты жизни, когда уж как будто все, как будто дальше и судьбы нет, – эта самая судьба возьмет да и сделает подарок. Так было с нашим морским путем до Одессы: мы шли все время как по зеркалу – не то что качки, волн не видали, даже в Черном море. Шли вдоль итальянских берегов, мимо греческого архипелага – всюду было солнце, красота и водная гладь.

У нас у всех были кабины второго класса, по двое, по четверо в кабине. Дипломаты и тельавивцы ехали в первом классе. Дипломаты к нам не подходили, им было запрещено, или, вернее, они сами опасались нас. Жители же Тель-Авива заговаривали, стараясь понять, почему это нас так странно охраняли в Марселе, смотрели на нас с удивлением, спрашивали: "Кто же это вас заставил?" О, этот вопрос еще годами будет нас сопровождать в жизни.

Питались мы в большой столовой, кормили нас отлично: всегда свежие фрукты, фруктовые соки, блюда обильные. Многие из нас тут подкормились, что было неплохо – когда мы попали в Одессу, то не раз вспоминали эти богатые трапезы, а там сразу пришлось кушак подтянуть. Я не могла ничего есть, нервное сжатие глотки возобновилось, и я все свои порции отдавала Никите и Тане Гревс.

Неожиданно для нас мы зашли в Неаполь и простояли там полтора дня. Было разрешено сходить на берег, и все пассажиры, включая нашу группу, уехали в город, смотрели музеи, знаменитый "Грот", а я оставалась одна в своей каюте – сойти еще раз вниз по трапу?! Об этом и подумать было мне страшно. Сидела около иллюминатора и без особых мыслей смотрела на пристань, где тоже было мало порядка и всего навалено вдоволь. Но вот в полдень подбежала неаполитаночка лет восьми в рваном ситцевом платьишке, загорелая, босоногая, с шапкой черных кудрей и прелестным личиком цвета слоновой кости. Увидев меня, она стала мне кланяться, делать выразительные жесты: мол, дайте хоть что-нибудь поесть... Она гладила рукой животик – может быть я не понимаю, что значит быть голодной, раз еду на таком роскошном корабле? Но ведь у меня ничего

не было, ни денег, ничего. Я ей отвечала жестами и кричала в иллюминатор те несколько итальянских слов, которые знала. Тогда она начала танцевать, прищелкивая в такт пальцами и подпевая. Уж не знаю, учили ли ее этому или просто уличные дети так сами умеют в Неаполе? Окончив танец, она еще постояла, а я вдруг вспомнила, что где-то должны быть у Никиты леденцы, нашла их горсточку в его рюкзаке и стала их ей кидать на пристань через иллюминатор. Один она сразу сунула в рот, остальные – в какой-то карманчик под платьем. Когда увидела, что все, еще раз поклонилась, послала мне воздушный поцелуй, быстро, почти не касаясь камней босыми ногами, убежала и навсегда исчезла.

Мы покинули Неаполь под вечер и уже только на следующий день перед обедом увидали на площадке около лифта (на "России" было шесть этажей и два лифта) большую группу незнакомых нам пассажиров: все они были молодые, молчаливые, сумрачные, и все – евреи. Как же это мы их раньше не встречали? Однако скоро узнали, что их приняли на борт в Неаполе поздно ночью, что они опаздывали (откуда?) и что их ждали.

Откуда же вы? – Они молчали в ответ. Позже выяснилось, что все они были в немецких лагерях уничтожения, и каждый из них каким-то своим чудесным способом спасся от огненной печи. Одна молодая девушка рассказала, что она четверо суток пролежала, забившись под нары, на полу камеры, прижавшись плотно к стене, – и ее не заметили. А когда лагерь был уже освобожден, она с трудом выползла – настолько ослабела, что и это было ей не под силу. Вся ее семья погибла, да и у всех у них родные погибли в печи или от голода. Эти люди ни с кем не общались, на палубу не выходили, а после чая садились и пели хором на древнееврейском языке. Смотреть на них спокойно нельзя было. У них с собою были книжечки-самоучители, и они старательно учили иврит. Я тогда впервые узнала, что такой язык существует.

Была еврейская Пасха, и завхоз, молодой человек, вполне приятный и вежливый, попросил нас ужинать пораньше: к 8 ч. вечера в столовой второго класса (а еврейская группа ехала в третьем классе) будет традиционный пасхальный ужин для этих молодых евреев. Мы от удивления сперва даже приумолкли – что за неожиданная религиозная терпимость, нет, даже больше того? "А ваш повар разве знает, как готовить еврейскую пасху?" – спросила Надежда Владимировна. – "Наш повар – одессит, все умеет, не думайте", – был ответ завхоза.

Никита подружился с мальчиком чуть моложе его, сыном важного дипломата; родители не мешали – видимо понимали, что дальше корабля это знакомство не пойдет. Бегал он и к каким-то молодым матросам "вниз". Мне это мало нравилось, но как остановить? Ведь не могла же я бегать по громадному судну за 13-ти летним мальчиком. Но Никита горько поплатился. Незадолго до

отъезда я подарила ему скаутский нож с разными лезвиями, отвертками, пробочником – все из первоклассной стали. Он отыскал нож в рюкзаке и понес его "вниз" похвастаться, и как раз самый-то милый из матросов взял у него нож, долго крутил, а потом заявил: "Ну, тебе этот нож ни к чему, все равно отнимут, а мне он пригодится", – и положил нож себе в карман... Никита был в отчаянии. "Ведь он украл, мама, он просто украл!" – а я тогда уже поняла: хорошо, что нож исчез, хорошо, что его у нас в багаже нет.

Никак не могу похвастать, что я уже тогда, на "России", *все* поняла, нет, но от окружавших меня людей, от всех этих советских людей иного поколения – дипломатов, помощника капитана, подавальщиц в черных тугих платьях, в белых накрахмаленных передничках и наколках, в модных туфельках на невозможно высоких каблуках – от них всех шла ко мне телепатическая передача: я чувствовала, как они *меня* воспринимали – тут были и жалость, и насмешка, и злобное отталкивание и, главным образом, полное несовпадение мироощущения. Это было очень страшно, иногда на меня находила настоящая паника.

С утра мы выходили на палубу, усаживались в шезлонги, разгуливали. "Синее море, белые чайки, лазурные берега". Многие мечтали бы о таком морском путешествии. Часов около десяти делал обход палубы помощник капитана. Это был грек из Одессы, высокий, прекрасно сложенный, с гордым лицом морского волка, загорелый, глаза пронзительно-черные, нос с горбинкой, белая фуражка безупречно посажена на седеющих волосах, в узких губах вечная незажженная трубка. Он подходил к каждому, козырял, спрашивал – как чувствуете себя? Все ли в порядке? Ему можно было без страха задавать вопросы: где мы точно? что это за остров? что за берега? Он отвечал охотно, показывая трубкой где и что, кланялся и двигался дальше эластичной покачивающейся походкой. У нас он имел огромный успех: он был такой, каким должен быть капитан большого корабля, ходящего в заграничное плавание, человек "видавший виды".

Надумали наши дамы, Ирина Николаевна да Ольга Модестовна Булацель (ее муж претерпел ту же судьбу, что Игорь Александрович – был выслан из Франции тем же министром, но в другой группе и несколько позднее, а она с двумя дочками – Лизой, восьми лет, и Аленой – четырех – плыла с нами на "России"), чтобы наши дети дали маленький "вечер песни и пляски" для всех пассажиров. Я сразу и резко была против этого, всячески отговаривала, доходило до того, что я говорила, почти теряя спокойный тон, что "дети не ученые обезьяны", и нечего их заставлять фигурять в такой обстановке. Но нет, была сделана заявка завхозу, который, кстати, особого восторга не проявил, и... дети начали репетировать вечные эмигрантские номера – матрешка, русская, хоровод, и даже из каких-то шарфов и платков пытались смастерить подобие костюмов. Однако за день до спектакля завхоз пришел и спокойно заявил, что детского

вечера не будет. Почему? Да нет, ничего не случилось, просто это не очень удобно.

Заходили в порт Яффа, там сошли все туристы из Тель-Авива, у них настроение было тревожное, но они нам ничего не говорили, да и вообще как-то отошли от нас, а с теми из Неаполя контакт наладился, и они нас уже не чуждались.

Неожиданно мы узнали, что должны сделать еще один заход, не предвиденный расписанием – в Хайфу. Когда подходили к Хайфе, я стояла на палубе вместе с Надеждой Владимировной, а рядом с нами – помощник капитана. На громадном чудесном рейде там и сям из воды торчали не то шесты, не то палки... "Что это? – спросила я помощника капитана, – это какие-нибудь маршруты для судов? Что за палки торчат всюду?" Капитан, улыбаясь, ответил: "Да это все мачты затопленных судов, эти вот три – в прошлый заход их не было, значит совсем недавно затонули". – "Но как это? Кто же топит? Что же, и люди гибнут?" Он помолчал, прибавил: "Да тут все время дерутся, ну и мины, особенно по ночам. Тут причалить, и то становится трудно!" Было часов около пяти дня, навстречу нам вышел лоцман, и "Россия" осторожно, будто мелкими шажками, стала подруливать к пристани. Мы все столпились на палубе, что же это тут делается?

Прелестный город как на ладони, за ним невысокие холмы, и там, за холмами, идет сильная перестрелка, ухают пушки, вовсю стрекочет пулемет. А по набережной четко видно, как бегут целые семьи, несут детей, старухи воют, да и молодые тоже, рвут на себе волосы. Мужчины погоняют ослика или мула, но больше так, пешком, груженные кулями, таганами, матрацами. Другие прыгают с пристани в лодки и гребут вдоль берега с напряженными, перекошенными лицами; мужчины потрясают кулаками, кричат проклятия израильтянам и плачут. Их становится все больше – этих арабских беглецов, покидающих родной город. А мы стоим неподвижно, оцепенев – случайные зрители...

Но вот с палубы спускают на берег сходни, два офицера становятся по обе стороны сходен, а на земле также занимают позицию двое: израильский офицер (или служащий в гавани?) и с другой стороны – английский офицер в хаки. За нами какое-то движение – это юные пассажиры, подобранные на "Россию" в Неаполе. Направляясь к сходням, некоторые нам слегка кивают головой – у них совсем особые лица – сосредоточенные, серьезные до предела – вот пришла их судьба. В руках у них личные бумаги, они, проходя, показывают их дежурным офицерам на палубе, некоторые слегка кивают, быстро произносят: "Спасибо, спасибо", -- это слово они может быть раньше знали, или уж на "России" выучили?.. Внизу сходен опять проверка, сперва документы смотрит израильский офицер, потом английский, жест рукой – "проходите". В нескольких шагах стоит грузовичок, каждый подходит к нему, девушки тоже.

Солдатик выдает им оружие, винтовку, патроны, пакет с рационом, еще что-то. Они строятся, и постепенно все удаляются бодрым, военным шагом и довольно слаженно, туда, вверх в гору и дальше за нее, откуда все еще слышны выстрелы, но уже теперь потише и удаляясь. Так вот куда они ехали и куда их везли!..

Ночь в Хайфе проходит напряженно: весь экипаж на месте, никто не смеет ложиться спать, все одеты и, кому полагается, при оружии. С берега нас освещают четыре ярчайших прожектора. С "России" тоже, не переставая, своими прожекторами освещают и нащупывают берег, город, рейд. Где тут спать – видно, боятся, что нас могут ночью взорвать. Да кто? Ну, арабы, конечно, да и англичане тоже могут – им не доверяй!

Наконец наступает утро. "Россия" опять с лоцманом отчаливает от пристани, медленно, медленно выходит в море. Стою на палубе с Надеждой Владимировной. Утреннее солнце освещает палестинский берег, виден желтовато-серый песок, уходящий в даль дюнами, поросшими пучками сухой травы. Надежда Владимировна говорит мне: "Смотрите на этот берег, на песок, вот тут, возможно, проходил Спаситель. Что ни говори, для нас это священный берег".

А на мысе, далеко уходящем в море, стоят фантастического размера резервуары с горючим, таких я никогда в жизни еще не видела, да и какое их невероятное количество! Понятно, что из-за этой земли будут вечно драться.

Но вот и Дарданеллы, бесконечные ряды белых крестов английских военных кладбищ. Медленно, тихо-тихо проходим Константинополь: весна, мечети сияют, видны мраморные дворцы вдоль Босфора, и вот уж вода меняет цвет, темнеет – мы в Черном море! "Ну, говорит нам завхоз, потирая руки, – теперь все, будем к 1-му мая в Одессе, наш капитан дал телеграмму, поставим рекорд и красное знамя получим". На два часа заходим в Констанцу, принимаем груз, и дальше; "Россия" набирает скорость, кажется, что мы буквально несемся. А как же мины? Говорили ведь, что их еще немало осталось, что следовало бы осторожно. Но нет, нам судьба доехать до цели, волноваться не стоит.

Последние два дня провожу много времени с одной женщиной, с которой чуть ли не подружилась на "России"; она работает уборщицей внизу и выходит ко мне почти украдкой – на палубе ей бывать не полагается. Она первая ко мне подошла и заговорила, произнесла какую-то банальную фразу вроде: "Вы что же, все на родину едете?" Видно, ей очень хотелось что-то узнать и, главное, понять про нас – может быть нам очень плохо жилось за границей? Или же советское правительство велело нам вернуться? Но эта тема сама уходит быстро как бы по взаимному сговору – она понимает, что все равно ей всего никак не понять, а я? – Мне трудно объяснить, я и сама запуталась – а вот, что соскучилась по родной земле, это она отлично понимает. А дальше, где-то в уголке, то там, то здесь, где

она меня поджидает, я ее расспрашиваю о том, как она прожила войну, как попала на "Россию", как ей живется. Она одета так, как почти все женщины в СССР после войны. Сапоги какие-то грубые, юбчонка неизвестного цвета и... ватник! Такой ватник я вижу впервые, а ведь кажется, уже и тепло, не жарко ли в нем? На голове у нее шерстяной платок вроде бы коричневого цвета. Говорит: "Да нет, не жарко, ночью-то холодно еще, да я так привыкла". Лицо молодое, и хоть некрасивое, но ужасно милое, элегантности в ней — никакой, она и не знает, что это значит. Зато есть какое-то особое в ней достоинство, она вызывает уважение, симпатию к себе, словом, сразу к себе располагает. Невольную мысль, что ее "подослали", сразу же отметаю, ерунда — быть не может. Но я уже поняла, что на "России" никому нельзя некоторых вещей говорить, особенно про *dolce vita*, а потому беседы наши идут незатейливо, но "по душам", и она несколько раз мне повторяет: "Как хорошо, с кем поговорить есть, а то ведь там, внизу, больше помалкиваю, кто я для них? Я ведь не спекулянтка, не торгую парфюмерией, они на меня как на дуру смотрят!" Она в войну была мобилизована, попала на военный траулер в Черном море, три раза тонула... Муж когда-то был, да будто и не было его, детей нет — она одинокая. Прощаемся, жму ей руку. "Ну, счастливого вам!" — говорит она.

* * *

Мы уж пришвартовались в одесском порту, завтра Первое Мая, красное знамя за нами, ура! Совсем темнеет, верно уже около десяти вечера; сидим по каютам и ждем. Горничные и подавальщицы появляются в дверях каюты, суют мне в руки пакетики — нейлоновые чулки, губная помада, пудра "Рашель" — шепчут: "Потом зайду, возьму, уж помогите, а?" Вдруг дверь в кабину с грохотом растворяется, влетает к нам тот мальчик, дипломатский сынок, с выпученными глазами и кричит: "НКВД на борту!" — и, как петрушка, исчезает в свой отсек к папе-маме — дипломатам.

Проходит минут десять, может больше, и в каюту входит военный в форме НКВД, на голове фуражка, сам среднего роста, лицо серое, похожее на пятно. Я волнуюсь и от этого злюсь на себя. "Ну что ж, говорит он, посмотрим ваши вещички, вот откройте сумочку свою, что в ней?" Открываю сумку, он берет ее, начинает по одной вынимать вещи. Попадается тюбик губной помады, второй. "Это ваше?" — "Да, конечно". — "А зачем вам *два* тюбика?" — "Один везу в подарок знакомой". — "Ну, а может отдадите его мне?" Как быть: отдать, сказать: "Да ради Бога, берите, это же ерунда". Но ведь так начав, можно и все дальше делить "на двоих". — "Да нет, отвечаю, зачем вам, у меня другого подарка с собой нет". Он молча кладет тюбик назад. — "А это что?" — "Это самопишущая ручка". — "А зачем

вам две?" Начинаю злиться, слышу, что голос у меня звенит: "Одна – мне, одна – подарок мужу. Я знаю, у него нет". – "А не отдадите мне?" Что же это он так просто и так уж нагло; да верно надо было просто самой ему сразу предложить: "А может хотите одну, пожалуйста, вот, мне ничуть не жалко". – Ну, а вдруг он скажет: "Это что – взятка? Нет, гражданка, у нас этого не бывает, это вам не Запад, а ну-ка составим протокольчик!" Беру перо из его рук, кладу назад в сумку, повторяю: "Нет, нет, это подарок мужу. Я ему уж даже написала, что везу".

Он перебирает дальше вещи, у меня с собой в кабине очень мало чего, все в багаже, в трюме. Он отбирает три модных журнала. – "Да почему же? Это ведь только моды!" – "Нельзя, нет, это запрещено". Никита оказался хитрее: свой рюкзак он спрятал в шкафик в умывалке. Вскоре наш "смотритель" нас покидает, видно, что он недоволен.

У остальных в нашей группе по-разному: у кого много поотбирали, у кого – ничего. Нам говорят: завтра с утра едете в Люстдорф, это недалеко, километров в 15-ти от города. Утром совсем не жарко, даже прохладно. На пристани нас ждут не то два, не то три грузовичка, за рулем солдаты. Стоят какие-то офицеры, но будто и не НКВД . С трудом лезем в эти открытые грузовички, где вдоль борта шатко расположена узкая доска для сиденья. "Ну, поехали!" – звучит классическая фраза, но для нашего уха она звучит чуждо – это вечное советское "ну!": вот оно впервые. Сколько длится кошмарный путь до Люстдорфа, трудно сказать. Дороги просто нет,едем не то по ухабам, не то по овражкам – или, может быть, это бывшее поле битвы и под нами – воронки от бомб? Грузовичок кренит, кренит до отказа. Вот сейчас перевернется, вот уж вылетаем с доски, ноги покинули дно грузовика, цепляемся в последнем отчаянии за невысокий борт... но нет, наш юный водитель, боец лет восемнадцати, каким-то чудом выпрямляет наш "экипаж", и несколько секунд мы едем без всякой качки. Он, наконец, попал на дорогу, но опять крен, еще ужаснее, в другую сторону, сейчас уж вылетим все туда направо. Однако после легкого момента сомнения грузовичок снова вскакивает на лапы. Рядом со мной сидит Ирина Сергеевна Сирина, человек удивительно спокойный, владеющая своими нервами в совершенстве. Она внезапно наклоняется ко мне и кричит мне в ухо: "Господи! Скорее бы уж покрушились, просто уж выдержать невозможно". Никита вцепился в меня, весь зеленый, его укачало, да и к тому же ему просто страшно.

Проехав улочку с желтыми домишками, подъежаем к большим воротам, где стоят часовые. Нас встречает высокий, очень приятной наружности лейтенант, говорит что-то приветливое. Наши шоферы помогают нам спрыгнуть на землю – шлагбаум поднимается, и мы все входим в "репатриационный лагерь Люстдорф".

Лагерь "Люстдорф" и его обитатели

Для нас отведен просторный каменный дом, куда солдаты сщс вносят кровати, стулья и столы. Кто здесь раньше жил, не вполне понятно. Мы жмемся друг к другу, как испуганное стадо. Маленькая Алена Булацель что-то шепчет на ухо матери, та смущенно обращается к лейтенанту – его фамилия Владимиров – тот также смущенно указывает ей на какой-то странный амбар или склад. Она открывает дверку – о ужас! Там жуткая дыра, не меньше трех метров глубины, покрытая грубой деревянной решеткой. Ольга Булацель вскрикивает, хватает назад Алену, которая уж туда почти вошла. "Не ходи туда, не ходи! – кричит она почти истерически, – провалишься, провалишься!" Да и верно, маленькая Алена легко может провалиться... или оступиться и уж не вернуться из-за этой зловещей решетки. Нас душит смрад лагерной уборной. Владимиров крайне смущен этой тяжелой сценой. "Ну, а в доме?" – "В доме водопровод не работает", – отвечает он. "Но как же тогда? Нас тут тридцать два человека..."

Утром – чай с черным хлебом. С непривычки кажется очень голодно, но я от этого не страдаю, у меня снова началось нервное сжатие глотки, и я не могу глотать – отдаю все Никите и Тане. Но нас ожидает сюрприз: за ночь неподалеку от нашего дома выросла будка обычной "дачной уборной", все как у людей, все чистенько – и страшные вчерашние клети нам больше не угрожают. "Кто же это подумал? Кто о нас позаботился?" За обедом, разливая щи (в которых появились кусочки мяса), наш юный повар Гриша игриво подмигивает, хохочет и даже пританцовывает... Оказывается, это он, услыхав про все это дело, тихонько ночью перенес "домик", украв его у какого-то другого дома; ну, а рыли утром рано – кто? верно, пленные? Ай да Гриша! Он и сам в восторге от своей шутки.

Пленных здесь много, сколько – сказать трудно. Нам строжайше запрещено с ними не только разговаривать, но и отвечать на их вопросы; особенно это касается французских "милиционеров", приспешников страшного Дарлана, палачей и мучителей участников Сопротивления. Рядом с нашим навесом стоит род большого амбара, а перед ним, на небольшой площадке, стулья – для оркестра. И вот начинается зрелище, которое мы вчера не видали, а сегодня, гуляя по двору до обеда, наблюдаем впервые, но так будет каждый день – и... оно станет для нас обычным, каждодневным, да и ничего тут особенного нет. В половине первого в большой амбар стекаются немецкие пленные, все солдатня в нормальной немецкой форме. Они рассаживаются за длинными столами и ждут обеда, а на помост перед открытым амбаром сходятся музыканты со скрипками, флейтами и литаврами – их человек, может быть, тридцать. Вот

выходит и дирижер, но он в штатском (или так мне это сейчас видится в памяти?), у него палочка, все чин чином. Внимание! Он стучит по пюпитру и... оркестр начинает играть. Что за марево? Солнце припекает, с моря несется соленый бриз. Немцы – те, которых в течение четырех лет мы видели гордыми завоевателями на улицах Парижа, – сидят в этом лагере, едят щи и слушают музыку – вальсы Штрауса, Мендельсона, облетевшую весь мир песенку "Лили Марлен", а наша группа смотрит и слушает, как в сюрреалистическом фильме... Оркестр заканчивает концерт веселой песенкой – говорят, это сочинение дирижера – он чех, да и музыканты тоже все чехи. Какие же это чехи, кто они? Верно из немецкой армии... Но мы никогда ничего про этих всех людей не узнаем, спросить некого, кроме самих этих людей, а нам с ними говорить нельзя и так и не придется. Веселая песня, которую оркестр играет каждый обед в заключение, навсегда, навеки запечатлена в моей памяти, а припев ее подхватывают все обедающие:

"Jetzt sind wir noch im Osten,
Doch wollen wir nach Westen
. . . .
Начальничек, давай, давай!"

Третью строку не помню, а казалось, забыть невозможно будет. С Надеждой Владимировной подолгу обсуждаем это удивительное музыкальное событие, восхищаемся веселым, и вместе с тем надрывным напевом лагерной песенки. Молодцы чехи, истинные музыканты, мы им аплодируем, дирижер нам кланяется, расплывается в улыбке. Что они ждут в этом лагере? Обмена? Какого-то приказа? Приказа откуда? Или просто нет транспорта? Французские милиционеры в малиновых беретах пытаются с нами заговорить, но мы от них уходим. Немцы тут живут в каких-то низеньких бараках, вроде будок, их бесконечное количество рядов. Я один раз-таки попала туда, в этот немецкий городок. У меня от сапога оторвался каблук, ходить просто невозможно, а все остальное в корзинах, которые стоят на таможне в Одессе. Гриша-повар советует пойти к немцам, там есть отличный сапожник. С опаской иду туда, скоро попадаю в проходы между этими низкими бараками, и вдруг отовсюду как-то сразу вылезают немецкие пленные, их все больше, глазеют на меня. Делается очень страшно, но пускаю в ход немецкий язык, говорю коротко и резко, то, что я называю *Kommando Stimme*: "Укажите, где здесь сапожник, мне необходимо починить сапоги". Один немец сразу ведет меня, правда еще далеко, и вот выходит сапожник. Я уже совсем спокойна, даю ему туфлю и прошу поскорее мне принести, даю ему также рубль, и он обещает. И правда, завтра обувь у меня, все в исправности, но я понимаю, что сильно наглупила, и что могло получиться и весьма неприятно. Но нас ведь заперли, и жизнь сразу заставила меня "ловчить". Лагерь хоть будто с "человеческим лицом" в Люстдорфе, однако – все же лагерь.

Наши дамы в сопровождении лейтенанта Владимирова едут в Одессу на таможню для осмотра багажа из трюма "России". Я чувствую себя опять совсем плохо. Вместо меня едет в город Таня Гревс с ключами, Никита и Татка тоже едут. Возвращаются довольные: повидали Одессу, развлеклись, и у кого-то даже нашлись подспудные деньги, и они все поели пирожков с лотка. Но начинаются и отъезды из Люстдорфа. Первыми уезжают Игорь Константинович Станиславский (Алексеев) с дочкой Олей. Они и вообще не жили в лагере, а сразу же почти переехали в Одессу, в гостиницу, а вскоре прибыла из Москвы сестра Станиславского, и они все уехали в Москву в мягком вагоне. Уезжают и Угримовы – у Ирины Николаевны в Москве живет сестра Татьяна Николаевна Волкова – они тоже уезжают в "мягком" – какое это магическое слово, его люди смакуют и хвастают: вот как у нас ездят!

А мне предстоит ехать в Ульяновск, где с марта живет Игорь Александрович. Но там уже живет и другой высланный из Франции, генерал Владимир Иванович Постовский. Его супруга погрузилась в Марселе на "Россию" с фантастического размера контейнером, где вся их мебель, утварь – все, все. Нам из Парижа консульство не позволило везти мебель, ну а Постовская никого и не спрашивала – из Ментоны, где она жила, привезла контейнер к погрузке в Марсель, не бросать же его на пристани? Вот он и ждет ее в таможне в Одессе. Для меня это очень важное обстоятельство: из-за этого контейнера-мамонта нам – то есть мне с Никитой, Постовской, да Литвиновым, чья дочка тоже была выслана и тоже уже в Ульяновске, и жене Н.С. Качвы – придется ехать до Ульяновска далеко уж не в мягком, а просто в товарном вагоне, прицепленном к товарному поезду! Помаленьку картина предстоящего нам путешествия – тысяча километров по разбитым войной путям – начинает кристаллизоваться в моем воображении, и меня одолевает несказанный страх... Как же это мы поедем – без расписания, без воды, без питания? А кто будет знать на станциях, что в этом вагоне не шины, не кули с мукой, а люди, и такие люди, которые уж двадцать пять лет не жили в этой стране? С кем из моих попутчиков посоветоваться? Ведь я их почти не знаю, все они – чужие мне, не только чужие, но многие и чуждые. Не сплю, не ем от волнения. Один человек меня поддерживает, утешает, успокаивает – это милейшая Вера Михайловна Толли. Ее я тоже раньше не знала, но она уже с отъезда из Парижа за мной "присматривает", с тех пор, как я ночью в поезде убежала к ней в другой вагон. Сколько хороших людей мне жизнь послала в эти страдные годы!

Таня Гревс будет жить в Саратове. Из Москвы в Люстдорф приезжал уполномоченный от Переселенческого Управления и всем назначал, где кто будет жить, в каком городе. Почему? Ответ один: потому. Вот и она уезжает тоже в "человеческом" поезде, а почему же нас, определенных в Ульяновск, пришили к контейнеру

Постовской? Я пытаюсь просить кого-то, чтобы и мне с Никитой ехать в обычном поезде, – нет, на Ульяновск все поедут вместе в теплушке. Наконец, по совету Веры Михайловны, иду в дом, где Управление, а, вот оно, наконец, великое всеобъемлющее учреждение – знакомьтесь! Там по утрам сидит в конторе *некто*, человек на вид будто и мало заметный. Вера Михайловна говорит мне: "Попробуйте к нему". Вхожу, молча кланяюсь, жду. "Что вам угодно?" – Отвечаю: "Я к вам по поводу нашего отъезда в Ульяновск". – "Что ж? Тут все в порядке, вагон будет через четыре дня, а то и раньше". Смотрит на меня холодными гляделками, рожа препротивная. – "Вот я пришла вам сказать... я не поеду так". Молчание. "То есть, как – не поедете?" И вдруг на меня находит наитие, я твердо знаю, что надо говорить. "Да вот, без бойца не поеду, дайте нам сопровождающего из ваших солдат, пусть он нам поможет в пути". Начальник молчит. Видно, такая просьба не входит в установленные рамки. "Какого бойца? Как же это я его откомандирую? Нет, это невозможно". Повторяю спокойно и ясно: "Нет, нет, учтите, прошу вас, мое заявление, а я иначе не поеду!" Он совсем озабочен, наконец произносит: "Ну, зайдите завтра". Иду к двери, но опять возвращаюсь, становлюсь перед столом и начинаю снова: "Вы, товарищ (фамилию забыла, тогда знала), поймите меня, у меня сын, ему тринадцать лет, сами знаете, какой это трудный возраст. Отца уж полгода нет, он у меня от рук отбился, просто не справляюсь с ним. А что мне муж скажет, если он у меня по дороге убежит, да исчезнет? С кого он тогда будет спрашивать? Нет, нет, я просто настаиваю, вы и сами подумайте, и поймете меня". С легким кивком головой ухожу. Вера Михайловна в восторге от моей находки. Ну, теперь нужно только настаивать и настаивать...

Объясняю всей нашей группе, едущей в Ульяновск, что я предприняла. Постовская скорее довольна, ее несколько тревожит везти такую ценность, как ее "супер-контейнер" без охраны. Жена Качвы презрительно пожимает плечами: "А по мне, советская женщина ничего не должна бояться. Чего там? Другие ездят в теплушках, и мы отлично проедем". Оказывается, кстати, что будет не один вагон, а целых два. В другом поедут Рыгаловы (Николай Михайлович, его жена и дочь Марианна, а их сын уже в Куйбышеве, и они едут туда же). "Вот, Нина Алексеевна, товарищ Рыгалов вам и поможет в пути..." Но за день до отъезда приходит к нам в дом лейтенант Владимиров и сообщает, что боец нас сопровождать до Ульяновска назначен, это Гриша, но другой, не повар. Он завтра будет на вокзале в Одессе". Спасибо, спасибо, благодарю и кланяюсь.

*

Назавтра нас везут на товарную станцию в Одессу, где ожидает багаж, там и мои три корзины. Платформа завалена чемоданами, кулями. Все садятся на свои пожитки, получается вид цыганского

табора. Кто-то подходит ко мне и спрашивает: ”Вы что это, артисты будете?” – ”Да, да, как же, наша труппа едет на гастроли на Волгу”. Вопрошающий смотрит на меня с удивлением, что это? Говорит по-русски чисто, будто и не евреечка, а чего-то картавит. Читаю в его глазах упрек, чего врешь-то так плохо? А нам накрепко запрещено говорить, куда мы едем...

Наконец, начинается погрузка. Все идет медленно, мучительно, но вот знаменитый контейнѐр встал на место и занял почти половину теплушки, и наши три корзины там же, теперь и мы влезаем. Там есть какие-то деревяные нары, где одиноко стоит новое металлическое ведро. Моя первая просьба юному бойцу Грише: ”А где же еще одно ведро?” Он удивлен: а для чего же? Однако вскоре исчезает и приносит второе, эмалированное. ”Вот спасибо, Гриша, это у нас будет для чистой воды. Кстати, может быть сразу и наполните? А когда тронемся в путь?” – ”Ну, когда – как паровоз дадут и прицепят. А пока, ну что ж, ложитесь, да и поспите, уже вечер...”

Перед отъездом из Люстдорфа каждому взрослому было выдано каким-то важным генералом сто рублей, мешок черных сухарей, килограмм копченой колбасы и, кажется, килограмм сахара. Таким образом, например, Качва или Мария Василиевна Постовская получили это для одного человека, а я – для двух, для себя и Никиты – столько же!

Шестеро в теплушке

Утром 15-го оказалось, что мы уж катим. Поезд идет не спеша, медленно плывут сады, белые домики с крытыми балкончиками, во дворе – кирпичная летняя плита... И бесконечные фруктовые сады, где все деревья под корень срублены немцами – удивительно даже, что им хватило и упорства, и времени извести столько садов! Скоро уж десять часов, пить хочется безумно, да и поесть бы не плохо. У меня с собой походная спиртовка и сухой спирт, и чашечка, где можно заварить чай или кофе. Расставляю все на своих нарах, наливаю воды из белого ведра, скоро вода кипит, кладу щепотку чая и достаю черные сухари. Зову Никиту, ищу колбасу, чтобы отрезать ему кусочек. Но колбасы нет, в чем дело? Наконец, Никита говорит: ”Мама, я ночью проснулся и был такой голодный, что достал и съел кусочек”. – Молчит минутку, все нас слушают, Гриша тоже... – ”Ну и что?” –”Да вот, я не заметил, оказалось, что все съел”. Это был момент настоящего отчаяния, и я вдруг почувствовала, что сейчас разревусь. Ведь больше, кроме мешка сухарей, у нас ничего нет на все время вплоть до Ульяновска... Взяв себя в руки, спрашиваю

Гришу: "А когда же первая станция?" Он отвечает не сразу, видит, что я еще не все поняла, "не допоняла". – "Да остановка будет, когда понадобится машинисту, да не на обычной станции, а на товарной". – "Ну, а там буфет есть?" – "Какой там буфет, разве что бабки вынесут продавать, да и продавать-то некому, у машиниста харч с собой". Вот так, теперь все ясно; пью чашку чая, грызу кусочек черного сушеного хлеба – он вкусный, понемногу тает во рту, как леденец.

Колеса стучат, степь плывет, становится очень жарко, время остановилось. Один Гриша спокоен и ясен – он на посту, исполняет задание, у него вопросов нет. А мы? Мария Вас. Постовская, с которой я здесь впервые поближе познакомлюсь – и буду ее потом в течение пяти лет встречать в Ульяновске – надо думать уж сейчас, в этой теплушке, где на стрелках нас встряхивает и чуть не валит с ног – все "допоняла"... Она молчит, с утра обтирает руки, лицо, шею какими-то притираниями, умело подмазывает лицо, накручивает вокруг головы изящный яркий тюрбан и, хотя она значительно старше всех – в синих штанах (правда джинсов еще не родилось, но синие брюки уж многие дамы носят) и красном пуловере выглядит моложе нас всех. Да она и просто очень красивая, у нее прекрасные, тонкие черты лица. Она помалкивает, сидит картинно у открытой двери теплушки и изредка, обращаясь к Грише, с глубоким вздохом восхищенно восклицает: "Ах! А красота-то какая!" На Гришу привычный вид родной степи мало действует. Он с нами любезен, услужлив, но... все время на чеку; рассказы о всяких грабежах, о воровских шайках, о банде "Черной кошки", орудовавшей несколько лет в Одессе в конце войны – все это, видно, его тревожит.

Остальные дамы относятся ко мне холодно, почти враждебно; правда, все давно поняли, что Гриша – это наш якорь, наша единственная надежда доехать до Ульяновска, не застрять на много дней на каком-то запасном пути, не умереть от голода и жажды.

Гриша понимает, что мы сами себе ничего съедобного достать не в состоянии. Поезд останавливается лишь на больших сортировочных станциях, стоит он среди других товарных составов. Все неподвижно, никакого прохода никуда нет – разве что проползти под составом и под следующим тоже и рисковать тем, что один из этих бесконечных поездов внезапно тронется. И тогда, когда он, наконец, медленно двигаясь, освободит свой путь – возможно, что наш собственный поезд тоже двигается, или же ушел – куда? Кто его знает! Может быть его просто переформировывают, а может быть он тоже, очень медленно, однако ушел совсем! Гриша исчезает на станциях а мы, спрыгнув ненадолго с вагона и поразмяв ноги, живенько вскакиваем назад в наш деревянный дом на колесах. Страх остаться одному, без копейки, без настоящих документов – сильнее всего. Когда Гриша возвращается, мы все облегченно вздыхаем, он часто весь красный и взволнованный – говорит, крепко

спорил с начальником товарной станции: "Поймите, у меня груз – *люди*! Я не могу их сутки на жаре держать – перецепляйте, живо!" Иногда он грозит, что напишет или телеграфирует (!) жалобу какому-то мифическому военному начальству и, видно, этот последний аргумент действует на начальника товарной станции. Гриша машет какими-то документами с печатями, кто его знает, кого это он везет? Уж лучше пропустить. И вот наша теплушка в каком-то приступе подвижности начинает снова стучать по рельсам, катит одна "под горку", чтобы с размаху стукнуться о другой состав; но и этого мало, неведомый и невидимый нам паровоз – другой, с обратной стороны – двигает нас теперь назад и с истинным садизмом припаивает к каким-то невидимым нам бесконечным составам товарных вагонов и цистерн. И вот мы опять безнадежно стоим все на той же станции. День идет к концу, и вдруг, свисток, скрип досок и тормозов, хлопанье буферов – и мы опять в пути.

Гриша пытается нам достать что-нибудь съедобное, он бегает за свежей водой. Съедобная добыча у него редко богатая – или молоко, или ряженка, подчас круглый пшеничный хлеб, кстати, очень вкусный. Как-то достал он нам несколько яиц, другой раз немного охотничьей колбасы. Я ничего молочного не ем с тех пор, как себя помню, и даже в эти голодные дни с ужасом отворачиваюсь от варенца с густой розовой пенкой. Все остальные, однако, едят; хлеб бывает почти каждый день. Интересно, как бы это все было без Гриши? Как питаются в другом вагоне Рыгаловы и Толли? Наверно, молоденькие девицы Таня Толли и Марианна Рыгалова бегут вслед за Гришей...

Гриша также занимает нас рассказами про Черную Кошку и других бандитов. Он просит и нас тискать ему *рóманы*, кто что помнит. Вот к этому никто из нас не приготовлен, да и что ему может быть интересно из того, что мы могли бы рассказать? Тогда он сам начинает *рóман* – он длится целых три вечера – про "Василия, который был племянник Микадо". Мы делаем вид, будто верим, что так все и было. Это – первое правило игры, и все его сразу поняли. Впрочем, я про этого самого "племянника Микадо" еще не раз услышу в Ульяновске и даже позднее в Москве, уже в середине пятидесятых годов. Эта байка крепкая, и всем она ужасно нравится, а, главное, там вечный русский герой: был сперва вроде бы и совсем никто, а на самом деле оказался царского рода – это всем слушателям, да и рассказчику, особенно приятно. Но есть и другой *рóман*, этот уж просто переделка из Александра Дюма-отца.

Однако дни тянутся в теплушке бесконечно, и кто-то из дам предлагает Никите поиграть в карты, сперва в "подкидного", а потом и в "белот", классическую народную игру во Франции. Никита немного умеет, и тогда начинают и Гришу учить "белоту" – он в восторге, воспринимает все очень быстро, с азартом шлепает карты

с восклицаниями: "А я иду под вальта". – "А у меня на это есть крести!" Наш коллектив, огороженный досками вагона, совсем сплотился и даже подружился – тут даже есть что-то очень хорошее, и об этом приятно вспомнить.

Всему бывает конец, и горячим майским утром наш состав въезжает на Ульяновскую-Сортировочную. С тем другим вагоном, идущим на Куйбышев, мы расстались на большой товарной станции Рузаевка. Гриша прикреплен к нам, и те две семьи – Толли и Рыгаловы – дальше следуют одни – их одиссея до Куйбышева от Рузаевки без Гриши – сплошной ужас. Она длится чуть ли не две недели; днями они простаивают в жестокую жару среди сотен перегретых вагонов и лишены возможности достать что-либо поесть или хотя бы чистой питьевой воды! Вот он, Гриша-то!

Игорь Александрович не без труда находит нас на товарной станции. Тут же и Постовский, и Качва. Знакомлюсь с Постовским. Наш багаж привезут позже на грузовике, а мы едем на машине, которую предоставил по этому случаю завод, где работает Игорь Александрович, прямо в гостиницу "Россия" – единственную во всем городе, и где Игорю Александровичу дали с утра просторную комнату. Никита плохо себя чувствует – от пыли, жары и плохого питания у него внизу ноги сделался громадный нарыв, который его мучает, и он еле ходит. Наконец, можно помыться, прийти в себя. Игорь Александрович спрашивает: "Что теперь делать?" – "Обедать", – отвечаем мы в один голос с Никитой. – "Ведите нас в ресторан, где повкуснее, есть хочется ужасно". В пути это не чувствовалось. Идем по улицам советского провинциального города, машин почти нет, лошадей, конечно, тоже; зато изредка встречаются быки, запряженные в древние телеги – везут керосин, кирпичи, песок. Тротуар есть, но весь в выдолбинах, местами асфальт просто исчез – говорят, его сожгли в войну, когда были ужасные морозы. Входим в военную столовую, там чисто, отдельные столики, покрытые чистенькими накрахмаленными скатертями, за многими столиками сидят молодые офицеры, тоже чистенькие, подтянутые, с довольными, спокойными, вполне сытыми лицами. С прежними дореволюционными офицерами эти лица ничего общего не имеют – совсем другие. Все другое, хоть форма и напоминает что-то родное. Впрочем, лица их очень русские, они все русые, румяные. В ожидании обеда за соседним столом заказывают водку – каждому приносят по стакану – 200 граммов – и тарелку черного хлеба. Они поднимают стаканы с удовольствием и... пьют сразу, одним длинным глотком – вот это я вижу первый раз в жизни... Но ничего, все спокойны, кое-кто закусывает корочкой черного хлеба, далеко не все. Наблюдаю за ними с величайшим удивлением. Игорь Александрович говорит мне: "Тут все так пьют, двести граммов – обычная порция, это ведь офицеры из Первого Танкового училища, ни один из них никогда не

появится на улице выпивши". И правда, юные офицеры чуть порозовели и продолжают вести тихими приличными голосами беседу.

Мы с Никитой наелись всласть, потом днем немного погуляли по знаменитому Венцу, и довольно рано, после чая, ложимся спать... Да и ровно в 11 вечера электричество выключили; у нас в номере стоят целых три свечи в старинных подсвечниках. Никита на диванчике около окна в одно мгновенье засыпает, а я так устала, что разговаривать просто не способна. Игорю Александровичу надо завтра рано на завод, а это довольно-таки далеко... Все спят, и я, несмотря на вечную бессоницу, задремываю. Рядом со мной на стуле свеча и коробка спичек. Дверь в коридор я заставила стулом. Откуда-то с нашего этажа все еще несутся пьяные крики, суета, женский визг...

Сколько времени прошло? Наверно минут двадцать. Просыпаюсь будто кто-то меня сильно толкнул, все еще неясно в голове – ясно только, что в нашей комнате творится что-то ужасное...Чиркаю отсыревшие спички, раз, другой, свеча горит – со стола посередине комнаты на меня злыми красными глазами нагло смотрят громадные крысы... они деловито рвут никитин рюкзак, который лежит на столе и где осталось немного пшеничного хлеба с пути... Но и на полу идет громкая возня, писк; освещаю угол – там четыре крысы что-то из наших вещей тащат в угол; там ими прогрызена громадная зияющая дыра! Достаю с соседнего стула свою альпийскую палку, замахиваюсь на крыс, и они на некоторое, весьма короткое время, куда-то исчезают, но скоро снова все тут и грызут и тащат к себе все, что им нравится. Пытаюсь разбудить Игоря Александровича, но что он может сделать? Он отвечает мне сонным голосом, что во всех комнатах гостиницы то же самое, и что приходится с этим мириться... и крепко засыпает... К шести утра, когда уже совсем светает, на моем стуле догарает последняя свеча, крысы сами уходят к себе домой в угол, ну теперь хоть немного заснуть... Но нет, не тут-то было... На громадном плацу, прямо под окнами, стройными рядами появляются курсанты младшего курса Первого Танкового училища и в течение часа проделывают под музыку духового оркестра гимнастику всякого рода – все тот же напев, надрывно-грустный, безнадежный повторяется и еще, и еще. Кладу думку на ухо, пытаюсь заставить себя хоть подремать, но печальные трубы льют и льют свою музыку. Я, наконец, встаю и смотрю в окно на безупречно слаженную гимнастику юных курсантов. Площадь грязная, пыльная, голос военного мастера спорта однообразно выкрикивает команду, опять, опять, льется тот же полумарш-полуполька – дико, страшно... Мне и сейчас еще кажется, что все это было только что, вчера, что юнкера эти так и до сих пор маршируют по пыли в горячее майское утро, что также шлепаются и пищат в комнате крысы, что в коридоре визжат и бегают пьяные жильцы... Но площадь давно уж заасфальтирована, Первое Танковое много лет как перестало

существовать, гостиница та — закрыта, а новая, тоже носящая название "Россия", переехала в бывшее здание НКВД, где чисто, аккуратно и крыс нет. А кто из туристов, приезжающих теперь в Ульяновск посмотреть "Ленинский Мемориал", знает о том, что он живет в тех же стенах, в том же здании, где когда-то давно, в пятидесятые годы, было НКВД?

УЛЬЯНОВСК (1948-1954)

Мы прожили в СССР двадцать четыре года, из них я провела почти шесть лет в Ульяновске и потом, с 1955 г. – вплоть до отъезда назад в Париж – в Москве. Слова: "назад", "отъезд" в данном случае почти теряют смысл – когда тут, собственно, что было? Однако, в данное время (1979 год) вот уж пять лет, как мы снова живем в Париже, и идет последняя, "четвертая треть" нашей жизни. К сожалению, когда я жила *там*, то никогда ничего не записывала – оно и понятно, а потому придется писать только по памяти, пытаясь держаться того, что тогда *там* думалось и говорилось, а не теперь уже здесь, где все, что хочешь, можно и говорить и записывать...

И следует ли считать наш путь назад в Париж в 1974 г. – провалом, а наш отъезд в СССР в 1948 г., в одну из самых жестоких вспышек террора – идиотским поступком, внушенным "ура-патриотизмом" и абсолютным непониманием того, что нас *там* ждало?

У меня на эти, до сих пор жгучие вопросы бывают (и по нынешний день) разные ответы...

В Ульяновске мы сразу попали в ведение Ульяновского Отдела Переселенческого Управления. Возглавляла его Вера Григорьевна Золинова: лет сорок пять, лицо татарского типа, неприятное, жесткое; манеры резкие, голос обычно знал один тон, одну модуляцию – приказ... но, изредка, если нужно, и слащавая вежливость, будто участие, будто интерес к вашей судьбе. Однако полного презрения к нам "реэмигрантам", она не могла скрыть, и рассовывать этих *ci-devant*, этих ненавистных парижан на самые низкие работы в городе доставляло ей ощутимое удовлетворение.

Откуда только пошло это, противное всякой словесной логике, название "реэмигранты" (если нас и вообще-то надо было особо отделять от иных обычных советских людей!) – но никто никогда моих объяснений не понял или не хотел понять.

Первое время, недели две-три, мы прожили в гостинице, потом получили через Переселенческий Отдел "жактовскую" комнату,

в деревянном старом доме, в квартире, где жили Николай Васильевич Романов и его жена Александра Федоровна, люди уже немолодые, слащавые до приторности — он бывший счетовод и... бывший ктитор и регент хора в уже не действовавшей в то время церкви, она — отличная белошвейка, и повариха, и первоклассная хозяйка. Комната наша была не так мала и не так плоха, а в сравнении с другими жилищами той эпохи могла сойти и за первоклассную. Но очень скоро оказалось, что стена, отделявшая нас от Романовых, не стена, а просто фанерная перегородка, не доходившая до потолка сантиметров на пятнадцать — таким образом, если мы слышали все, что говорилось у Романовых, то они еще лучше слышали нас. У них была вторая комната, столовая, и оттуда ничего не доходило, а они, притаившись в своей спальне, слышали нас постоянно. От этого позже произошло много горестей, тогда только мы и поняли, почему нам "дали" такую комнату, вызывавшую у остальных "реэмигрантов" нескрываемое чувство зависти.

Дом был далеко от центра, автобус ходил когда хотел: иногда ждешь, ждешь, и идешь наконец пешком, и тут, конечно, автобус нагоняет, и часто полупустой... а идти до центра было два километра, и никаких магазинов кроме булочной на всем пути не было. Впрочем, для того, чтобы жить и выжить в Ульяновске в эти годы, надо было быть "при здоровьи": концы длинные, и все тащи на себе. Последние два года, что я жила в Ульяновске, там появились такси, в некоторых домах телефоны — ну, а первые годы были жестокие, что и говорить.

Но и тогда все валили на войну, да и сейчас, через тридцать пять лет, тема войны не исчерпана: мол, не будь войны... А самого Ульяновска война и не коснулась, но я не сразу это поняла и думала, что тут, верно, немцы похозяйничали. Когда мы ехали на грузовике на улицу Рылеева 22, где было наше будущее жилище, я впервые увидела отдаленные от центра улицы, и была уверена, что вижу следы бомбежки... Я ехала в кабине грузовика, водитель был совсем мальчишка, но объезжал феноменальные ямы и провалы в мостовой удивительно ловко; я обернулась к нему и сказала: "Ну, видно, город не раз бомбили, до сих пор следы остались!"; он долго ничего мне не отвечал, и я подумала, что он обиделся... но он наконец ответил: "Нет, нет, тут и вообще немец никогда не был", — помолчал и добавил: "Бомбежки тоже не было". Я подумала, что лучше мне побольше молчать!

Пришли на Рылееву мои три большие плетеные корзины, которые проделали длинный путь в трюме электрохода "Россия", потом стояли немало в таможне одесского порта, ехали со мной в теплушке из Одессы до Ульяновска и, наконец, пребывали немалое время в камере хранения гостиницы "Россия". Александра Федоровна Романова с нескрываемым любопытством вертелась вокруг нас, когда мы раскрывали злосчастные эти корзины, в которых содер-

жалось все наше имущество после двадцати пяти лет жизни в Париже... Особенно похвастать было нечем. К тому же содержание корзин оказалось порядочно разворованным – исчез новый костюм, который я везла Игорю Александровичу, сапоги из лучшего обувного магазина на *Champs-Elysées*, исчезли десять больших катушек ниток, двадцать пакетов иголок, кремни для зажигалок – да, словом, почти все, что легко можно было продать – сейчас всего и не вспомнишь! А спрашивать было не с кого, ведь у меня никакой страховки не было... верно, поработали и в трюме на "России", и в камере хранения в гостинице. Но теплые зимние вещи чудом не тронули – ни мои, ни Никитины. Надо было нам тогда, тут же, преподнести что-то "парижское" чете этих Романовых – увы, тогда в голову не пришло... А впрочем, дари не дари, судьба наша была уже не в наших руках. К тому же мы их с самого первого дня побаивались, но всячески старались им не показывать, не сознаваясь в этом и себе самим. А они немедленно стали звать нас к себе, угощать, отлично накрывали стол, и Александра Федоровна в русской печи пекла удивительные пироги, роскошные блины, и даже делала пельмени...

В это первое лето шли какие-то бесконечные встречи и собеседования у Веры Григорьевны, осмотры всей нашей группой ленинских памятных мест и тому подобное*, а приехало в Ульяновск за этот год около сорока человек – и большинство из них там так и застряло. Игорь Александрович продолжал работать на заводе – он был эвакуирован во время войны из Харькова и размещался в каком-то ужасающем строении недалеко от базара; цеха были душные, вентиляции совсем не было; многие станки были в самом плачевном состоянии; существовала и некая испытательная лаборатория. Рабочие были почти все из Харькова, управление тоже; в нем были все больше евреи, кроме директора завода, который, как полагалось, был русский. В это время им был некто по фамилии Дубовой, который будто и инженером вовсе не был, человек не злой, не добрый – никакой; любил возиться с автомобилями в заводском гараже – разбирать и собирать! Но и крепко любил выпить. Тогда его увозили домой. Мне кажется, что к Игорю Александровичу на заводе относились очень хорошо, хорошо его встретили, он получил назначение на этот завод от Министерства Электропромышленности, словом, его положение на этой работе было вполне законно и, как будто, прочно. И рабочие, и технический персонал очень скоро поняли, что у Игоря Александровича теоретическая и практическая подготовка много выше, нежели у остальных, и оппозиции к себе,

---

*) За шесть лет в Ульяновске я умудрилась ни разу не побывать в доме-музее, где жил все свое детство Ленин; также и потом, в Москве – в мавзолее так и не была никогда.

как к чужаку или бывшему белоэмигранту он там не встречал. Но вполне вероятно, что в руководстве завода, в верхней группе инженеров и были затаенная злоба и зависть. Возможно, они опасались, что вдруг кто-то из мастеров ответит: "Нет, Кривошеин иначе указал нам эту деталь изготовлять, и мы уж так и будем!" Зарплата была вполне приличная, а, главное, в то время на заводе еще вполне законно работал ОРС (Отдел Рабочего Снабжения), и многие продукты Игорь Александрович просто покупал в лавке на территории завода, куда никто посторонний входить не мог. Пропуск, пропуск — всюду были дежурные вахтеры: у входа в "проходную", да и из одного цеха в другой или на склад тоже нужен был пропуск. В ОРСе Игорь Александрович покупал все, что так трудно было достать: сахар, варенье, мыло, муку, масло; я тогда над этим образом снабжения и не задумывалась, а ведь это как раз и была одна из весьма умных привилегий — снабжать "своих" всем, чего было просто не купить в городе; да и через заводскую организацию можно было тоже запастись на всю зиму дровами, а никакого отопления, кроме печного, в Ульяновске тогда не существовало.

Словом, дебют нашей жизни в Ульяновске можно считать более чем благополучным.

Первое время мы встречались исключительно с такими же, как мы, то есть приехавшими из Франции в 1947-1948 гг. Эмигрантов из Шанхая там совсем не было, кой-кого из них я встретила в шестидесятые годы в Москве. Но ходили друг к другу мало и редко, город был, как многие волжские города, вытянут в длину над рекой, на высоте 110 метров, концы громадные, сообщения фактически никакого — все по образу пешего хождения. Так что ходили разве что в воскресенье днем — "в выходной". За первый год жизни в Ульяновске у нас наладились неплохие отношения с Марией Васильевной Постовской и ее мужем, генералом Владимаром Ивановичем Постовским; им жактовской комнаты не дали, но они сразу сняли просторную комнату в старом каменном доме и отлично ее обставили, так как в знаменитом контейнере, погруженном на "Россию" в Марселе и тоже ехавшем в нашей теплушке — была вся их мебель, вся кухонная утварь, занавески, ковры. Их комната вскоре прославилась на весь город — мебели нигде в Ульяновске не продавалось, ни занавесочки, ни, конечно уж, ковра купить было немыслимо, а про кастрюли или сковороды, или просто стаканы и говорить нечего... Все, все, что так или иначе касалось обычной человеческой жизни и быта, в продаже отсутствовало...

Владимир Иванович Постовский был тот казачий генерал, который был в гражданскую войну побежден Ворошиловым, и об этом писал Алексей Толстой в повести "Хлеб"; таким образом, Постовский был "исторической личностью"; на стене в их комнате висели его казацкая нагайка и кубанка; жена, изящная, красивая женщина, умела из любой пестрой тряпки скрутить прелестный

тюрбан. Эта пара всем в Ульяновске нравилась, и у них довольно быстро появились местные знакомые, даже "на верхах". Я у них бывала: поездка в теплушке, одесский лагерь Люстдорф нас сблизили, хоть и были мы люди очень разные – ну, да теперь стали просто ульяновские жители. Вскоре познакомились с Мишелем Провальским, зубным врачом, работавшим уже год в местной поликлинике, и с его женой, природной жительницей Берлина; говорили мы с ними по-французски – оба они по-русски изъяснялись средне – и это тоже объединяло. Мишель и его жена Маргерит были во Франции членами компартии; разумеется, они в Ульяновске ничего не критиковали и не осуждали. Впрочем, и не они одни, а, конечно, и все мы, приехавшие на Родину с большой буквы. Кстати, среди приезжавших в эти годы из Франции , были и другие члены французской компартии – здесь никого из них в партию не приняли.

В общем, репатриированных из Франции в Ульяновске оказалось около сорока человек: почти никто друг с другом раньше знаком не был, а здесь, в Ульяновске, нас всех объединили вопросы самого примитивного и подчас драматического характера – многих местные соседи приняли в штыки или недружественно, однако открыто этого выразить не смели, а только так, втихаря: ведь мы все получили советское гражданство по Указу Правительства – значит и рассуждать нечего!

Александр Иванович Угримов с Надеждой Владимировной оказались неподалеку от нас: "Дедушка" (я теперь буду его так звать, мы все всегда про него так говорили) был назначен на опытную селекционную станцию в Майне*, в ста километрах от Ульяновска, и, когда он по делам станции приезжал в город, то всегда к нам заходил. Его сын Шушу работал в Саратове инженером на мельнице, а Ирина Николаевна и Татка сразу из Одессы поехали в Москву к сестре Ирины Николаевны, Татьяне Волковой, и сперва решили пожить лето на Николиной Горе, на даче, принадлежавшей ранее отцу их Николаю Константиновичу Муравьеву, и уже осенью переехать в Саратов, где Шушу обещали дать сносное помещение, а пока он жил тесно, в плохонькой комнатушке.

В это первое лето было много хлопот – надо было Никиту устроить в школу, купить дрова на зиму , обзавестись самой примитивной мебелью – купить или заказать кровати, стол, шкап для одежды тут тоже много помог ОРС, заводские мастера занедорого смастерили нам отличный шкап, табурет, стол – а кровати железные, жуткие, но хорошо, что и такие удалось купить.

Никиту приняли в седьмой класс, по-русски он знал недурно, ему сделали небольшой экзамен, и он попал в ту самую школу, что окончил Ленин, – нам объяснили, что это великая честь. В августе В.Г. Золинова устроила Никиту в пионерлагерь, где-то в лесу непо-

*) Дедушка был по образованию профессор-агроном.

далеку, и он там пробыл три недели: боюсь, что ему там нелегко пришлось, однако никто его не обижал и не смеялся над его короткими летними штанами из Парижа – тут все ребята как один были в длинных брюках, перешитых бабкой или матерью из старой юбки; купить что бы то ни было в магазинах было немыслимо, ничего "промтоварного" просто не было в помине, а если что и "выбрасывали", то сразу вырастала такая очередь – страшно вспомнить! В этих очередях царили татарки и чувашки, их много было в городе, они стрекотали на своих никому непонятных языках и дружно лезли вперед – я очень скоро поняла, что становиться в очередь безнадежно, но, пока был ОРС, все как-то устраивалось.

Эти первые месяцы жизни в Ульяновске трудно вспомнить или, вернее, сейчас вновь почувствовать. Сразу обозначилось, что люди делятся на две категории: или злобные, полные ненависти к нам, преступные (так как каждым своим словом и делом поддерживали преступную власть и, конечно, себе в выгоду) – или же люди милейшие, приветливые, без грубых, циничных выражений – вроде "а я бы ему дала двадцать пять – знал бы, как это деду дерзить" – нет, эти люди никому ни десяти, ни двадцати пяти не желали, они стремились хоть как-то нас предупредить, поддержать и, очевидно, с ужасом думали, что мы ничего еще не поняли – они искренно жалели нас.

На улице Рылеева, в нелепом деревянном доме с неожиданными пристройками и помещениями, была со стороны двора-пустыря квартира, где жила молоденькая докторша, военная вдова с шестилетней дочкой, отцом и мачехой. С июля месяца у меня начались внезапные сердечные приступы-перебои, ускоренный или наоборот замедленный пульс и, самое мучительное – удушье: казалось, вот-вот, и уж больше и не вздохнешь. Она ко мне приходила, давала какие-то капли – а ведь лекарств в аптеках тогда почти и не было... А главное – она около меня сидела, клала мне грелку к ногам и что-то говорила успокоительное... Вечерами я стала к ней заходить; вскоре ее мачеха, женщина с лицом суровым и мало-таки приятная, начала тоже что-то говорить про наших соседей Романовых. Конечно, осторожно, но как-то сказала она и такое: "Я к ним просто не хожу, боюсь их". Это уж было отважно. Ну а наша Александра Федоровна Романова начала на эту мачеху "капать", будто какие-то тут были денежные истории; выходило, что мачеха мужнину дочку – докторшу – обокрала, да и вообще язык у нее злой, и лучше от нее подальше...

А на верхнем этаже, над нами, с соседнего крыльца жила некрасивая и простецкая женщина с тремя детьми: сын лет двадцати с лишним, побывавший коротко на войне, дочка лет восемнадцати и младший, Егорка, лет десяти, совсем одна уж худоба, лицо почти идиотское – военный недокормыш. Понемногу я и эту семью узнала – их фамилия оказалась Абрамович, а потом выяснилось, что сама

Абрамович была родной сестрой мужа дочки Романовых, Елены Николаевны, жены директора лесничества под Ульяновском. Жила она богато и зажиточно, и фамилия ее мужа была Леснов. Узналось и то, что фамилия его была с детства другая, и что он и его братья переменили фамилию на звучащую по-русски – уже и тогда еврейское происхождение некоторые пытались скрывать.

Мы пытались войти в общий ритм жизни. Первого сентября Никита пошел в школу; сперва все шло удачно, он был хорошо подготовлен, нашел себе даже друзей, и один мальчик, живший рядом с нами, сын офицера, стал его звать к себе домой. В середине сентября мне предложили вести три группы по немецкому и английскому языку в местном Пединституте, где была нехватка преподавателей иностранных языков – хотелось мне сперва отбиться, ведь я никогда еще не преподавала, а тут – я не знала ни программы, ни уровня общих знаний студентов, ни как обращаться с ними. Но... "от труда не отказываются", – заявила мне Золинова, – "а ведь вы *язы́ки* так прекрасно знаете, все говорят, уж неужели не сумеете студентов научить?" – "Н-да, что ж, попробую", – и я пошла знакомиться с высшими "бонзами" преподавательского состава Пединститута – переломный этап в моей жизни, и хоть в Пединституте я проработала всего год, все же некий опыт и решимость начать кого-то "учить" (чего я никогда в жизни делать не собиралась) сам собой явился, и в дальнейшем мне очень пригодился.

Во главе факультета иностранных языков стояли две пожилые дамы; обе когда-то, при царе Горохе, учились год в Сорбонне и окончили там годовой курс для иностранцев. В своем ульяновском Пединституте они преподавали языки с самого его основания; и грамматический, и синтаксический разбор предложения они умели делать прекрасно... Однако сказать самую простую фразу по-французски были не в состоянии. Остальные преподавательницы, молодые, и того не знали и, кроме одной, преподавали какую-то теорию, где главную роль играла "транскрибация" – с этим словом я встретилась впервые, и... сразу, с места в карьер, начала с этой чудовищной штуковиной активно бороться.

Сама властелинша иностранного факультета, Варвара Мирославна, сухонькая, старенькая, приняла меня кратко, велела прийти через три дня с "планом уроков" на первую четверть, сунула мне программу, учебники – скажу честно, что тут я совсем сплоховала, слабо пыталась ей объяснить, что я понятия не имею, как это "разбить, материал" по урокам и по часам – что это за "материал урока"? Я вернулась домой в полной растерянности.

Когда я через три дня вновь пришла в учительскую института, у меня была с собой пустая тетрадка – никакой план, даже на первую четверть, мне в голову не шел... "Нет, – сказала строго Варвара Мирославна, – без плана нельзя, это не разрешается, – ведь ваш план должен быть проверен и подписан".

И вот тут, когда я, несмотря на все мои знания языков, стояла как провалившийся приготовишка, одна из молодых преподавательниц села рядом со мной в уголке и, взяв лист бумаги, набросала мне примерный план первых уроков. Кто была эта моя спасительница? – не помню, а жаль; от волнения и неловкости я не обратила на нее внимания.

Однако через неделю план уроков в новенькой тетрадке был у меня разграфлен; в дальнейшем, когда я в течении учебного года вела три межфаковских группы (две английских и одну немецкую), я этого плана никогда не держалась, однако то, что для себя необходимо каждый урок точно и подробно подготовить, я усвоила скоро и навсегда. Много позже, в Москве, когда у меня были частные ученики, я этого принципа держалась неукоснительно.

Первая встреча со студентами: это было очень страшно, главное было не показать виду, что я новичок, как и они (все три группы были первого курса, и студенты тоже волновались). С одной из английских групп пришлось мне нелегко, другие две быстро наладились; я не скоро запомнила, как кого зовут, но оказалось, что это очень важно, что каждый из них думает, что его-то я как раз отлично запомнила...

Познакомилась я постепенно с деканом, важным и противным, сидел этакой скалой в своем кабинете, а про него рассказывали чуть ли не вслух, что из Германии он привез жене целый вагон мебели; ну, да не он один – другие ему, верно, завидовали – вон какой ловкий.

После первой четверти дело вроде шло на лад, или почти, а, когда подступил Октябрь, мне пришлось, высунув язык от волнения и страха, что вдруг что-то не так, как требуется – выбрать несколько октябрьских призывов из *Правды*, перевести их на английский и немецкий и затем написать на доске для моих студентов.

Вот когда выучка брать себя в руки и делать каменное лицо вполне пригодилась. Со студентами я наладила хорошие отнешения, но была строга и держалась несколько свысока. Они скоро поняли, что проклятый английский язык (который им ни к чему, да и степендию из-за него можно легко потерять!) им без меня не одолеть. А тут я сразу особым голосом им заявила: "Прошу, выньте тетрадки, будьте внимательны и не торопясь, списывайте, что я буду писать на доске – следующий урок буду спрашивать всех, и... выучите наизусть!" – повернулась к группе спиной и медленно, буква за буквой, стала выводить на доске: "*Es lebe unser geliebter Vater und Lehrer...*" и так далее, сама, конечно, списывая из своей тетрадки, – это им как раз было вполне понятно. Когда кончила, подождав, начала по очереди их заставлять читать и правильно произносить "*Our Teacher, whom we rever and love...*". Вот так-то, а они знали, что если хоть один из них не сумеет эти два-три лозунга прочесть, то неминуемая неприятность, верная двойка, вызов к декану, ну и черт знает что еще!

Первое полугодие закончилось неплохо, я и привыкла к Пединституту и привязалась к некоторым студентам; после урока беседовали мирно и дружески – какие-то гнезда сопротивления еще, впрочем, были, но это скорее были студенты постарше, из-за войны попавшие на первый курс лет в двадцать пять, или же то, что тогда называлось – "он семья погибшего" – то есть отец убит на войне – этих нельзя было трогать, как бы они ни бездельничали.

Но вот грянула ждановщина, и бедная наша старушка Варвара Мирославна собрала всех преподавателей "выслушать и обсудить". Это собрание одно из самых трагикомических событий этой зимы, но и страшное донельзя – вот когда началась в открытую гнусная заваруха: или молчи, или говори, что велено. Расходились с собрания этого все бледные, друг на друга старались не смотреть.

Как-то еще осенью, я в учительской что-то искала в "журнале", и внезапно набрела на удивительный предмет – "История английской грамматики", – что-то мне показалось тут больно замысловатое, принимая во внимание уровень преподавания иностранных языков, – и поинтеросовалась, кто же это ведет такую науку? – вижу в графе имя: Н.Я. Мандельштам. Неужели? – Да не может быть! Никого ни о чем не спросила, однако через несколько дней заметила незнакомую женщину с полуседыми рыжими волосами и сразу поняла, что это она.

Еще через несколько дней было у меня "окно", я пошла в коридор и села отдохнуть на твердый диванчик; подняла глаза и вижу – она сидит на другом конце. Набралась храбрости и спросила: "Простите, вы, кажется, Надежда Яковлевна Мандельштам?" – Она ответила настороженно и резко: "Да, я, а что?" – "Да нет – отвечаю, – ровно ничего, но... простите еще раз, вы вдова Осипа Мандельштама?" – "Да". Я увидела, что она испугалась ужасно – наверно, в институте никто, кроме тех, "кому следует знать", и не подозревал ничего, или даже не знали, кем был Осип Мандельштам. Говорю: "Видите, в чем дело... вообразите, когда-то, когда я была совсем молодой, в конце 1918 г., мне выпало счастье в одном доме в Ленинграде дважды видеть Мандельштама, да и слышать, как он читал свои стихи... Я ведь до того ничего о нем не знала, а тут было какое-то откровение, такие стихи, да и как он читал!.."

Через минуту мы сидели рядом и беседовали, будто старые знакомые – и вскоре Надежда Яковлевна пригласила меня к себе. Сперва я одна, а потом и вдвоем с Игорем Александровичем стали к ней заходить, а раза два-три и с Никитой. Она жила в хорошем старом доме, стены были увешаны старинными иконами, которые она собирала; она угощала нас вкусным чаем – однако, по ее просьбе, об этих встречах я никогда никому не рассказывала.

Она переехала в Ульяновск из Ташкента, где ей было хорошо и спокойно, но из-за больного сердца она не могла выносить тамошней жары.

*

В эту зиму 1948-1949 г., когда наша жизнь в Ульяновске казалось бы покатилась по рельсам, случилось и другое: в конце сентября или начале октября, поздно вечером, постучали в дверь кухни, я открыла, и вошел дедушка из Майны... Он, не поздоровавшись, подошел к кухонному столу, облокотился и с трудом выговорил: "Шушу арестован в Саратове, Ирина в Москве тоже, и Таня (Волкова, сестра Ирины Николаевны) – все, вот уж в начале августа, я недавно только узнал, теперь еду в Москву хлопотать – может быть, что и узнаю..."

Мы полночи просидели втроем на кухне, без конца строили предположения: за что? Дедушка все повторял: "Это наверно из-за Тани, у нее муж погиб в лагере в 1942 г., там верно что-то было..." Но мы возражали: она ведь продолжала жить в Москве, дача была за ней, и даже Ирина Николаевна с Таткой почти сразу поехали из Москвы на дачу проводить лето, да и мать Ирины Николаевны, Екатерина Ивановна Муравьева (она тоже ехала с нами в группе на электроходе "Россия") тоже была на даче... Может быть это Ирина Николаевна что-нибудь сказала...? У ней характер горячий... Казалось нам, и вполне искренно казалось, что кто-то из них в чем-то "виноват"! Ну, а что начался новый страшный приступ террора – этого мы еще и не замечали; если что в Ульяновске и было, то никто вслух об этом не говорил.

Что еще про эту зиму? В середине зимы Вера Григорьевна Золинова задумала поднести альбом фотографий Молотову от благодарных ему за Указ 1947 года "реэмигрированных", обосновавшихся в Ульяновске. Вере Григорьевне трудно было перечить, хотя замысел был "с душком"... Она возлагала на свой альбом немалые надежды – а вдруг сам Молотов ей ответит? Этим можно будет козырнуть в Обкоме. Стал фотограф обходить нас всех и снимал... вот мы все с Романовыми у самовара в их столовой распиваем чай, у самого Романова в руках газета *Правда*; а вот и Никита "готовит уроки", и сидит он за прекрасным письменным столом, на столе... телефон, какая-то статуэтка – и снимок сделан в кабинете у самой Золиновой: не снимать же Никиту на кухне, где он и готовит уроки, и обедает, и спит? Та же Золинова изготовила письмо к Молотову, и все мы принуждены были его подписать!.. Никита буянил, не хотел сниматься, я злилась ужасно – на себя, конечно: не очень-то мы храбрые, никому из нас не пришло в голову взять да и отказаться. Кстати, после отсылки альбома в Москву, мы никогда больше о нем не слыхали... Видимо, Молотов не ответил, и усердие Веры Григорьевны осталось незамеченным. А может быть, она и просто его не отсылала никуда, а отнесла в Ульяновское областное отделение МГБ на улице Карла Маркса? Среди сорока заграничных жителей Ульяновска был некий небанальный человек, уже сильно на возрасте,

одинокий, проживавший в гостинице; он был не то артист, не то танцор или фокусник, фамилию его не помню, мы все звали его Барабанщик; он говорил, что знавал Дягилева и его балет, князя Церетели и балет Монте-Карло, что он и так, и этак причастен был к русскому искусству за границей... Человек был достаточно едкий, очень неглупый и привез он с собой в виде багажа двести пятьдесят вееров! Как их у него по дороге или потом в гостинице не украли? Но он устроил для нас вечер и показывал эту коллекцию – там были веера начиная с французской революции, да и весь XIX век – вплоть до войны 1914-18 гг.

Вот этот оригинал первый меня предупредил про Золинову – не верьте ей, не слушайте ее льстивых речей! Она – человек страшный, я вот скоро уеду, а вы все с ней останетесь! Наплачетесь, она змея подколодная. А мне казалось, что он преувеличивает... Весной 1949 г. он уехал к сестре в Грузию, прожил там три месяца и поругался с ней. Но в Ульяновск он никогда не вернулся, а каким-то чудом, с остатком своих вееров, коих часть пошла на дальнейшее устройство его судьбы, очутился в Ленинграде, что было совсем не так просто. Через несколько лет он попал там в Инвалидный дом ВТД, лучший советский "дом престарелых" во всей стране!! Оказалось, что и веера могут пригодиться, а коллекция у него была замечательная.

Эта первая зима в Ульяновске была "нормальная", в декабре-январе недели три стояли морозы и до -35 -36°, с ветром это получалось порядочно холодно, но как-то морозы эти мы все трое перенесли неплохо, зимние вещи у нас были хорошие, в комнатах было тепло, питались очень прилично.

Зима эта тянулась ужасно долго – или мы просто отвыкли от бесконечной русской зимы? Но пришла весна и с ней пыль, суховей, внезапные жуткие грозы... Начались в召нституте экзамены: не знаю, кто их острее переживал – мои студенты или я? Но группы мои оказались вполне успешными, все перешли на второй курс, я прощалась с моими студентами: "До осени, отдыхайте хорошо", – и возвращалась домой с букетами ландышей и сирени. Варвара Мирославна мне сказала, что с сентября у меня будет не три группы, а пять, и чтобы я к этому приготовилась.

Никита тоже перешел в восьмой класс, он оказался в числе десяти лучших и в награду поехал с группой учеников на пароходе в Москву. Он был в восторге – в группе ехал милый мальчик Ваня, ученик из детского дома (ленинградского, эвакуированного во время войны) и любимая классная руководительница Халида Германовна – удивительно сердечный человек.

А я получила от Пединститута дешевую путевку в дом отдыха на Волге, куда и поехала – тоже на пароходе, на левый берег, за 50 километров от Ульяновска, вместе с двумя преподавательницами и двумя студентками четвертого курса.

О моем первом – и последнем – пребывании в советском доме отдыха можно написать отдельную главу, но я не обладаю талантом Зощенко. Впрочем, я там отдохнула; к счастью, мы жили своей группой в отдельном маленьком коттедже, а не в общем дортуаре на сорок человек!..

Мимоходом про девушку, которая обслуживала в громадной столовой наш столик: это одна из самых красивых русских женшин, каких я только видела в СССР! А красивых молодых женщин в Ульяновске было не мало, куда больше, нежели в Москве! Через несколько дней я обратила внимание моих спутниц на нашу юную "подавальщицу" – они рассмеялись и ответили: "Что же в ней красивого? Совсем простая, деревенская!" Но я настойчиво стояла на своем, а главное, что в этой девушке поражало – это ее манера, достоинство в каждом жесте, плавность походки, прелестная улыбка и природная вежливость. Да и кроме красивого лица у ней были точеные руки, чудные зубы – и... ни капли пошлости, жеманства или угодливости! Понемногу мои спутницы тоже ее рассмотрели, и как-то старшая из них честно мне заявила: "А ведь вы правы – она настоящая красавица, наша Маша!"

Арест Игоря Александровича

Tonnerre, n.m. (lat. tonitrus)
coup de tonnerre, événement
brutal, imprévu.
Petit Larousse 1975, p.1026

Молния, как всегда, ударяет без предупреждения – а можно ли было от нее укрытся и спастись?

В конце августа я пошла в Пединститут посмотреть расписание лекций и поговорить о новых группах; к великому удивлению я свое имя нигде не могла найти... Сперва спросила нашу обервахтершу тетю Валю; она как-то помялась, сказала: "Видно еще не решили". Пошла я искать кого еще спросить, оказалось, что никого нет на месте... Сунулась было к декану, но и его не было. Через несколько дней пошла опять, и, наконец секретарша института сказала мне, что я преподавать здесь больше не буду... На мои расспросы ничего точного сказать не могла. Директор? – Директор еще не вернулся из отпуска.

Я ничего не могла понять, видела какие-то натянутые лица – кто его знает, какую сплетню обо мне пустили? Или мое место

понадобилось кому-то из своих?.. Но занятия в Пединституте начались, никто оттуда ни разу ко мне не зашел, что хочешь, то и думай! Это все было для меня загадкой – неужели такой провал? Жизнь шла своим чередом, и вот 20-го сентября 1949 г. около часа дня я вернулась домой с базара, вошла в кухню и – увидела, что там стоит высокий и очень видный молодой человек в штатском; он резко обернулся и сразу задал мне вопрос: "Вы что здесь делаете?" Я возмущенным голосом ответила: "Я? Я пришла к себе домой, а вот вы, интересно, что делаете у нас на кухне?" Лицо его было странно, не по-человечески неподвижно, голубые глаза смотрели мимо меня. Он сказал очень четко: "Я – старший лейтенант Толмазов. Ваш муж задержан, в вашей комнате идет обыск, садитесь здесь и не двигайтесь никуда". С этими словами он ушел внутрь дома, в нашу комнату.

Я стояла, не двигаясь; из комнаты вышел мужчина в темно-синем костюме, лицо татарское, чернявое; он мне указал на ступени у лежанки, сказал одно слово "садитесь", вынул револьвер и, повернувшись ко мне спиной, стал глядеть во двор; в заднем кармане брюк у него топорщился другой большой револьвер. Я послушно села и мы оба застыли в молчании.

Как всегда, я машинально взглянула на ручные часы, и поэтому знаю, что просидела на этих ступеньках полтора часа; одно время мне стало так плохо с сердцем, что я открыла сумку, вынула лекарство, которое всегда носила с собой – очень крупное драже, я его обычно разбивала ступкой и потом запивала водой, но тут, чтобы спасти себя, взяла да и проглотила драже целиком... Мой сторож обернулся, и я ему сказала: "Я приняла лекарство, у меня с сердцем плохо!" Он пожал плечами и опять повернулся к окну; в сущности, он проворонил – принимать что-либо абсолютно запрещено, ведь так можно и отравиться!!

Наконец в кухню вернулся Толмазов и произнес: "Идите, только никакого крика!" Я ему не ответила и пошла в комнату, там Игорь Александрович сидел на кровати в углу у окна, как загнанный, у него было ужасное лицо. Тут стоял другой чекист Гаврилов, постарше первого, плотный, с толстым лицом. Он велел мне открыть сумку – там кроме платка, денег и лекарства был еще старинный кошелек из мягкой свиной кожи, а в нем были какие-то сувениры, вроде никитиного первого зуба, двух эмалевых пасхальных яичек с бывшего когда-то ожерелья, но там же лежало и кольцо с небольшим бриллиантом карата в 1,5–2 –подарок отца, каким-то чудом у меня сохранившийся, и обручальные кольца. Кольца Гаврилов просто отложил, а кольцо с бриллиантом взял, сказав: "Это мы внесем в список конфискованных вещей". Я стала резко протестовать, говоря, что это подарок отца: "Сами видете, таких вещей и не делают больше, ни за что его не отдам!" Мы пререкались некоторое время, и вдруг он это кольцо мне вернул... Дальше пошел бесконечный

спор о десяти небольших вырезках из *Правды* — кто вырезал, зачем, почему сохраняются. Я ему терпеливо повторяла, что они сделаны мною для Никиты, когда он в классе готовил доклад о конституции. Ну, а все же подробнее? Наконец и эти несчастные вырезки он отложил, сказав: "Хорошо, в протокол заносить не будем". Потом он мне показал список вещей, взятых под секвестр, — до суда их нельзя трогать. Туда входило все, что у меня было (кроме убогой мебели), и даже моя новенькая меховая шуба, привезенная из Парижа. "Но ведь скоро зима, — говорила я, — мне придется шубу носить, а что, если ее украдут?" — "А вы не волнуйтесь, носите", — назидательно ответил Гаврилов. "Шуба у нас общая, вместе жили — вместе наживали". Он велел Игорю Александровичу встать: "Пойдемте", и, обращаясь ко мне: "Имеете что-либо заявить? Есть претензии?" — "Да, да, — я закричала громко, — имею, заявляю вам глубокое возмущение, что вы арестовали моего мужа, который боролся в Сопротивлении во Франции, пробыл год в лагере смерти Бухенвальд, я заявляю вам, что он ни в чем не виновен, я протестую всячески против его ареста". Воцарилось молчание, потом Гаврилов сказал: "Пойдемте", — и вывел Игоря Александровича, Толмазов вышел за ним. Я выскочила на кухню и видела только, как отъехал "виллис" и — скрылся из глаз.

Я села в кухне и там сидела, войти в комнату было трудно: все валялось на полу — платье, белье, лекарства, книги, тетради... Романовы притаились у себя, не показывались, видно, подслушивали. Впрочем, для них, наверно, сюрприза не было...

Часов около четырех вернулся из школы Никита, увидел меня, разбросанные по кухне вещи. "Мама, что это?" — Я ему ответила: "Возьми себя в руки, сколько можешь — отца увезли". Он долго стоял неподвижно и только изредка шептал: "Гады, гады, вот гады!"

Вечером Никита поел что-то, сделал уроки — я считала, что завтра ему надо пойти в школу, а там видно будет — лег спать в комнате и сразу заснул. А я пошла на кухню, закрыла плотно дверь и стала взад и вперед бегать, и тут у меня начался дикой силы припадок аэрофагии; временами боль под ложечкой и в желудке была нестерпимой, и я по-настоящему изо всей силы билась головой о косяк двери, чтобы отвлечь себя от этой боли. К утру я начала понемногу дышать, боль стала поменьше, мысли несколько прояснились. Я вскипятила Никите чаю, он даже поел хлеба и ушел в школу, а к десяти утра пришла Шура, простая женщина, добрая, неграмотная — она два раза в неделю приходила ко мне убирать. Мне не пришлось ей много объяснять, и мы вдвоем начали уборку валявшихся на полу вещей: разбитых флаконов, растоптанных лекарств (а вдруг там яд?), валявшихся писем и бумаг.

Что я делала первые две-три недели после ареста? Тут у меня полный провал в памяти. Но вот, наконец, я очутилась в кабинете

у Веры Григорьевной Золиновой – надо было поскорее найти работу; гадкая харя холода, голода, крайней нужды уж была за углом.

Эта зима была ужасно тяжелой – найти подходящую работу оказалось немыслимым. Место в Пединституте я потеряла безвозвратно, об этом позаботилось МГБ, приказав снять меня с работы до начала учебного года и за двадцать дней до ареста Игоря Александровича. Студенты мои, все три группы, дважды ходили к директору, просили дать им опять со мной заниматься – они, думаю, уж знали, что я стала женой "врага народа", а потому их отношение ко мне было не лишено отваги... Если кто-либо из них встречался со мной на улице, всегда была милая беседа, но о главном ни слова...

Словом, подыскивать работу для человека с больным сердцем – это и для Золиновой было нелегко... А Романовы недолго ждали: они стали сперва незаметно, а потом и в открытую выживать меня из моей комнаты; они хотели поселить в ней сестру свою Марию Федоровну, милую старушку, при старом режиме служившую личной горничной у богатейшей симбирской помещицы графини Орловой. В ноябре Романов мне заявил, что все наши дрова уже сожжены, а остались только его дрова; я его боялась – он мог такое на меня донести "куда надо", что меня забрали бы, и тогда Никита один, в пятнадцать лет просто погиб бы или попал бы в приемники МВД для "брошенных детей". Да и шпана, царившая на площади Ленина около городского сада, была в курсе всего и пыталась Никиту к себе затянуть... Чтобы помочь ему, или наоборот, погубить? Кто знает?..

Готовить в кухне на плите Романов мне запрещал и выгонял самым грубым образом; он придумал и еще один приемчик, доводивший меня: часов с восьми утра на полный ход включал радио (в виде тарелочки на стене), закрывал дверь в свою комнату на ключ и уходил до позднего вечера. Рев репродуктора лился через фанерную перегородку, и только плотно закрыв дверь на кухню, можно было спастись от этой пытки...

Не легко подробно писать об этом времени; в ноябре Золинова мне объявила, что нашла мне работу секретарши в Управлении ночных сторожей города... Я пошла в небольшое, грязное, прокуренное помещение, где служащие приняли меня в штыки; понять в чем дело я сразу, конечно, не могла. Главой всех ночных сторожей города Ульяновска, охранявших в тулупах и с винтовкой в руках Универмаги, Гастрономы и иные чудища советской торговли, был некий "реэмигрант" Розенбах, корректный, аккуратный, идеальный представитель русских прибалтов, служивших поколениями "моему Государю". Он тоже был в группе 24-х новых "советских граждан", высланных из Франции Жюлем Моком, но знала я его мало, только изредка встречала. Когда я его увидела, то, ничего не подумав, подошла к нему поздороваться; он же посмотрел на меня с высоты своего громадного роста ледяными голубыми глазами

и, отступив, громко сказал: "Что вам нужно? По-моему, мы не знакомы!"

Я еще не знала, что меня можно настолько бояться, что даже для людей нашего круга я – чума.

В это вонючее Управление подчас заходили сторожа и сторожихи за ключами или тулупами, и так вышло, что одна из них со мной вместе вышла и заговорила; понемногу она стала появляться на моем пути ежедневно. Ее звали Маша; это была женщина лет пятидесяти, неграмотная, очень неглупая, милая, и я с ней стала беседовать: садились где-нибудь на скамейку, и она мне про себя рассказывала многое, а была она военная вдова. Розенбаха обожала, как, впрочем, и все остальные сторожа, говорила про него: "Ты на него не обижайся, боится человек, сама должна понять..." Но наконец я ее спросила, почему все служащие ко мне так относятся, и тут выявилось, что по приказу Золиновой для того, чтобы меня "трудоустроить", сняли с работы немолодую уже женщину, работавшую исправно в этом учреждении более двадцати лет!

На следующий день я пошла в Переселенческий Отдел, заявила Золиновой, что не согласна, чтобы из-за меня несправедливо увольняли эту женщину, и что к сторожам я работать больше не пойду... Вера Григорьевна только пожала плечами и очень ясно высказала мне свое неудовольствие.

Мою подругу Машу я через несколько дней случайно встретила на улице; она ко мне подошла, уверила, что та женщина снова на работе, и озабоченно спрашивала: "Ну, а ты как теперь будешь?"

Месяца через два Розенбаха схватило днем МГБ – прямо в помещении Управления сторожами и, редкий случай, все угрюмые, прокуренные служаки окружили своего шефа Розенбаха, умоляли его не забирать, некоторые сторожихи бросились перед гебистами с плачем на колени, целовали Розенбаху руки ... Ну, да что тут говорить: мы вот выжили после страшной заварухи этих лет, а Розенбах пропал без вести, погиб... *"тогда будет двое на поле: один берется, а другой оставляется".*

Многое еще можно рассказать про эту зиму, когда мы остались одни. Я писала и писала прошения, как все, – кому? Главным образом, Молотову – писала подробно, следила за тем, чтобы все было ясно сказано, не слишком длинно... верно, таких прошений в те годы написано много тысяч.

Изредка кто-то приходил ко мне с заказом – написать работу по немецкому или английскому переходному экзамену на следующий курс; однажды пришлось писать даже для саратовского студента... Платили за это тогда сто рублей, вернее, обещали сто, а когда работа была сделана, давали и меньше... Помню, одна ужасная старуха дала мне двадцать рублей и, уходя, со злобой сказала: "С тебя и этого хватит!" Пришлось мне под новый год принять тяжелое решение.

Я поняла, что никогда никакой работы не получу, – про такие положения я слышала еще в Париже, а вот теперь и меня ударило – умирай с голоду с мальчишкой, кому какое дело?! А за учение в 8-м классе надо было платить, правда немного – 150 рублей в год, ну, да не в этом дело – ведь никакого дохода у нас с Никитой не было, никаких родственников тоже. Мы были в городе чужаки, мы были *indésirables*. Я поговорила с Никитой, но что он мог мне ответить?.. И я явилась на тот же завод №650, где работал Игорь Александрович, прошла к главному инженеру Гальперину и попросила его принять Никиту на завод учеником в какой-нибудь цех... Гальперин как-то легко согласился, получил согласие директора завода Дубового, и я пошла в школу, где учился сам Володя Ульянов – известить директора, что принуждена Никиту перевести в вечернюю школу рабочей молодежи, и что придется ему стать на заводе учеником-токарем. Как приняли такой поворот в никитиной судьбе его одноклассники? Не знаю, но обе его классные руководительницы – Халида Германовна по 7-му классу, и Мария Федоровна – женщина пожилая, не менее шестидесяти лет, заслуженная, по 8-му классу – обе очаровательные, искренно полюбившие Никиту, – они обе просто плакали, умоляли меня переменить решение... А что было делать? Несчастные 250 рублей в месяц, которые Никита мог принести домой, должны были стать нашей базой, весьма, конечно, сомнительной и зыбкой...

Пошла я и в вечернюю школу рабочей молодежи – тут был иной мир, иные люди; им не надо было объяснять, "как это мать принимает такое решение". Они не умоляли меня его переменить.

Директор вечерней школы Филиппов был приветлив, умен и прост – обычный человек, без всяких фанаберий и марксистских фразочек. Был он неказистый и лысоватый, одет если не неряшливо, то, скажем, бедно и... был у него – увы, увы – красный нос... Нос покраснел у него законно: он выпивал, как многие. В этой школе Никита был самым молодым, следующим за ним по возрасту шел высокий красавец 28-ми лет – но был и майор сорока лет, сидел рядом с Никитой – этому надо было "доучиться"; он ушел на войну в небольшом чине, имея за собой пять классов, а теперь уже был майором, и дальше, не окончив среднюю школу, никуда по чинам продвинуться не мог. Сперва Никита ходил на завод еще в парижском пальто и костюмчике, потом у него появился ватник, и зимой он стал носить те высокие немецкие сапоги, которые Игорь Александрович привез из немецкого плена; ушанка была, конечно, с первой зимы. Он стал другим; теперь, когда он шел по улицам Ульяновска, с закопченным лицом и совершенно отчаянным, злым выражением лица, то мало чем отличался от других таких же "злых мальчиков" – а их было в Ульяновске немало. Надежда Яковлевна, которая его как-то встретила на улице (и он прошел мимо нее, не заметив), назвала его тогда – "трагический мальчик".

В середине зимы к Романовым приехал на неделю их сын Сергей Николаевич, сотрудник московского МВД в порядочном чине; он носил мундир, как полагается, был мужчина видный, с прекрасными манерами... Его мамаша нам его представила на кухне, и мы прилично побеседовали... Из Москвы он привез апельсины и виноград и вежливо преподнес Никите кулек фруктов, а Александра Федоровна попросила, чтобы я проверила, как он говорит на *языках* – что ж, оказалось, что отлично говорит. Я уже раньше от Романовых про него слыхала рассказы – вот, мол, как их сын благодаря революции преуспел: живет в Москве на Можайском шоссе, в том же доме и на той же лестнице, что сын Сталина Василий, и, как они говорили, вечно ездит в командировки за границу по личным поручениям Сталина... "На работе в Москве он очень устает, – вздыхая, говорила Александра Федоровна, – ведь на работу-то едет только к полуночи, потом утром поспит, а там и дела всякие, ужинает около 11-ти вечера, по-настоящему только один раз в день и поест!!"

В эту же зиму завелось у меня в Ульяновске новое знакомство – с одним заводским инженером; я его мельком видела еще до ареста: он сам подошел к Никите в цеху, спросил его про меня и не зайду ли я к нему посидеть? Он был бы рад – и дал свой домашний адрес; в той растерянности, в какой я пребывала, такое приглашение было приятно – значит, есть кто-то, кто сам меня приглашает... Вскоре я пошла по этому адресу, собственно, даже плохо зная, к кому иду. А это был Иван Федорович Сарычев, изобретатель, талантливый инженер, член партии с 1917 г., близкий друг Луначарского, и, как оказалось, пробывший четыре года на колымской каторге – с 1938 по 1942 г. Он работал на том же заводе, что прежде Игорь Александрович, а теперь Никита, но это, собственно, была синекура: этот заводишка мало мог его интересовать; он жил в небольшом деревянном доме, очень старееньком, принадлежавшем его второй жене, чувашского происхождения и местной уроженке – у них была дочка Лена лет 12-ти, а от первой жены, жившей в Казани и сильно партийной дамы, был сын, и, как много позднее узналось, работавший в казанском МВД. Был Сарычев охотник и собачник, по-своему весьма образованный, почитатель Маяковкого, любил читать вслух его стихи; он был всегда в курсе всех мировых событий. Из трех комнат на втором этаже, где жили Сарычевы, одна была его мастерской: там были всякие станки, аппаратуры, инструменты. Он раза два меня туда водил, но мельком.

Всегда был чай и угощение – "а вот попробуйте" – и мне подавалась тарелка с мясом, рыбой или дикой птичкой, но очень деликатно. Никто не подавал виду, что знает, как сильно хромает у меня питание.

Не банальный человек был Иван Федорович: язвительность, резкость его суждений, его всепоглощающая ненависть к Сталину,

которую он, по крайней мере при мне, не скрывал; да меня он тоже никогда не щадил, не стеснялся укорять за то, что мы уехали из Франции, издевался... Над чем? Да надо всем буквально... Словом, человек озлобленный, считавший, что дело его жизни предано – и уже непоправимо. Он считал, что кто-то на заводе (и даже называл – кто) приложил руку к аресту Игоря Александровича.

А вот как-то весной 1951 г. пошла я в колбасную лавку на Гончаровке – никого не было, кроме продавщицы, а все, что продавалось, было мне не по карману; в тот год все дешевые продукты сразу исчезли; я стояла в нерешимости, вдруг в магазин влетел какой-то мистер с портфелем под мышкой, очень делового вида, торопливый – спросил девушку: "Заведующий здесь?" – "Нет, ответила она, – а вот Иван Иванович есть" – "А ну, позовите-ка его". Вышел сам Иван Иванович, в белоснежном халате, высокий, тучный – поздоровались. Человек с портфелем спрашивает: "А начальничек где же сегодня?" – "Начальничек – фюить...", – и Иван Васильевич свистнул громко. "Как, как это – фюить?" Маленькая пауза. "Как фюить? Да так – пятьдесят восьмая!" Все помолчали, и даже долго... "Ой, Господи!" – вскричал посетитель и, круто повернувшись на каблуке, опрометью бросился вон из колбасной... Тут и я быстренько убежала, а придя домой, совершенно потрясенная тем, что "старший колбасник" и тот исчез по пятьдесят восьмой, решила, что чего-то я не поняла до конца, что надо это теперь выяснить, и занялась на несколько дней чрезвычайно для меня трудной математической задачей – я ведь до комического плохо считаю и научиться никогда не смогла. Но тут я взяла лист бумаги и стала ставить палочки – по палочке на каждого, про кого я знаю, или просто слыхала, вроде как про колбасника, что он арестован. Вспоминала, подсчитывала про громкие суды, которые были, например, в Ульяновске, – словом, всех, всех, кто только пришел в голову... Потом прикинула, сколько во всем Советском Союзе жителей, сколько надо тут вычесть детей и глубоких стариков, и потом сравнила оба получившиеся числа, и вышло у меня, что в лагерях находится в данную минуту... одиннадцать миллионов!! Пересчитывала много раз и, наконец, пошла вечером к Ивану Федоровичу.

Я ему сказала, чем была занята, и какой у меня результат – скажите, это я ошиблась? Может ли быть – одиннадцать миллионов? Иван Федорович долго не отвечал, потом сказал: "Ну, что ж, вы хоть и дама, а считаете не так уж плохо, однако ошибка тут есть – не одиннадцать, а пятнадцать. Правда, американцы считают, что больше двадцати... но будем считать мою цифру правильной..." Я была поражена, убита – что же это за ужас? "Эх, Нина Алексеевна, – говорил не раз Иван Федорович, – вы все говорите – немцы, Бухенвальд, Гестапо! Ведь это же враги! Вот облили генерала советского водой и выставили на мороз, он за ночь и замерз..., а ведь на Колыме

это было обычное дело – украл мальчишка хлеб ночью с голодухи – ну, и облить его – не то что за ночь, а за несколько часов станет ледяной статуей... А летом выставить голого на "гнус", чтобы гнус закусал насмерть!... И привязывали крепко, а кто поможет, пожалеет – того рядом голенького тоже – пусть всем станет ясно, как с врагами надо расправляться..."

Рассказывал Иван Федорович и про свое детство. – Его мать была перчаточница, годами работала в Москве у французской хозяйки, зарабатывала хорошо, кое-что умела по-французски, хозяйку француженку и любила, и уважала. Отец его был старшим мастером на каком-то небольшом московском заводе, каких тогда в Москве было много. Жили хорошо, квартира была в две комнаты, по воскресеньям мать пекла пироги и ставила большой котел щей с мясом, так, чтобы и на понедельник хватило... Были у них и два кота – ежедневно разносчик приносил котам обед – печенку и легкое, что-то около полуфунта: коты только это и кушали. В 1917 г. Иван Федорович вступил в партию. Иногда, очень редко, я решалась спрашивать Ивана Федоровича, что же он *теперь* думает? Но как-то случилось, что он на мое очень скромное замечание раскричался, стал бегать из угла в угол, чуть ли не рычал и наконец даже... расплакался. Я была в отчаянии, и никогда больше...

А рассказы про Луначарского, про процесс обкомовцев в Ульяновске, когда любимого в городе инженера Народный Суд оправдал, и рабочие на руках его вынесли из зала суда; рассказы про золотые прииски на Колыме, про самородки, которые редко, но попадались – все это было так живо и интересно. Сам Иван Федорович на Колыме потерял два пальца правой руки, но как это случилось, я никогда его не спрашивала.

Надо вспомнить и другого инженера – он работал на большом станкостроительном заводе недалеко от Ульяновска; завод получил из Германии какой-то электрический прибор, и он, узнав про Игоря Александровича, пришел к нему на работу с просьбой перевести инструкцию. Так он попал к нам, и в течение лета и осени 1949 г. несколько раз заходил, сидел, пил чай, словом, бывал и по делу, и дружески. Его биография была не вполне обычная: долгие годы он был циркачем, проделывал вольтижи на велосипеде над сеткой... Как-то рабочие забыли натянуть сетку, он бросился с потолка вниз и... упал на арену; калекой не стал, но цирк пришлось покинуть. Потом он кончил какой-то институт и, так как он был человек незаурядный, то вскоре попал на этот крупный концерн под Ульяновском. Но... Романов не дремал, он, видно, всех аккуратно записывал, кто к нам приходил; и когда Игоря Александровича "задержали" – (*"ваш муж задержан"...*), его недели через две начали таскать, и все по ночам, чтобы на заводе никто не знал, да и чтобы на работу аккуратно являлся... Вот так он, бедняга, провел полгода: ночь на допросе ("ну, расскажите еще раз поподробнее, как это вы

познакомились с Кривошеиным"), а весь день на заводе; только ляжет, задремлет – а уж за ним машина. Всю эту историю я узнала много позже, случайно, после смерти Сталина, когда начались первые освобождения и реабилитации. Полгода без сна!!

*

В июне 1950 г. нежданно на Рылеевой появился некий шофер, служивший у генерала МВД в Берлине чуть ли не три года. Генерал вернулся в Ульяновск, и он вместе с ним, а жил он и его семья до отъезда в Германию в нашей комнате, которая вполне законно числилась за ним – у него даже был на нее ордер... Началась борьба не на жизнь, а на смерть – потерять жактовскую комнату, потерять крышу над головой! Ну нет! Я вышла из оцепенения и бросилась в схватку "за площадь" с отчаянной решимостью.

Романовы сразу стали на сторону шофера, да и председательница жилотдела нашего района тоже – да и кто тогда посмел бы пойти против служащего МВД, хотя бы и простого шофера?... Я купила замок, тщательно закрыла дверь и окно, ведь если бы, не дай Бог, шофер сумел проникнуть в мою комнату и поставить там чемодан – был бы конец, его ордер выдан раньше моего, и выдворить его было бы невозможно. Жилотдел предлагал мне другую комнату; мы пошли с Никитой смотреть – это было на берегу Свияги, самый отдаленный и даже жуткий район, туда и милиция-то избегала заглядывать... Никита говорил: "Ни за что, ни за что сюда, да я часто из школы ночью возвращаюсь после двенадцати, а тут меня или изобьют, или убьют сразу же, я знаю, какие здесь живут, да и вам будет страшно!" Я заявила служащей жилотдела – "Нет, ни за что сюда не согласна, а вот если шофер не боится, почему вы ему сюда не предлагаете?"

Шофер говорил со мной чрезвычайно грубо, служащая жилотдела пыталась запугать – "зачем отказываетесь, хорошо, что и это предлагаем..." – "Но ведь это вы, ваш отдел выдал Игорю Александровичу ордер на комнату, где я живу, чем я тут виновата?" Такие доводы выводили ее из себя: "Мало ли что! Тогда думали, шофер не вернется, а теперь обстановка изменилась"... Через неделю такой перепалки шофер и служащая жилотдела мне как бы официально заявили, что завтра с утра взломают дверь, вещи мои вынесут и... делу конец, тогда и на улицу Шевченко, на берег Свияги, с радостью побежите!

Что делать, что, что? И вот часов в десять вечера я внезапно приняла решение и сказала Никите: "Одевайся, идем". Когда мы уже были на улице и отошли от дома, я добавила: "Идем в проходную МВД, я вызову Гаврилова, расскажу ему все; если через два часа не выйду – беги, значит и меня схватили; беги в шпану, на Рылееву – ни за что". Идти было очень далеко, темно, страшно – а проходную... я ее хорошо знала, не раз там зимой побывала...

Это была деревянная пристройка у дома МВД на улице Карла Маркса; внутри было две скамьи вдоль стены, висел телефон на другой стене, и перегородка с оконцем, где сидел дежурный...

Я туда вошла в пол-одиннадцатого, сняла телефонную трубку и сказала: "Прошу Юрия Дмитриевича Гаврилова вниз." – "Кто просит?" – "Кривошеина, Нина Алексеевна, по важному делу, очень прошу его спуститься ко мне".

Мне кажется, я жду очень долго, и вдруг Гаврилов уж передо мной – всегда поражалась, как это они умеют так внезапно и неслышно входить? Подходит ко мне вплотную, лицо, как всегда, без всякого выражения... "Вы хотели меня видеть?" – "Да, и по важному делу, я вот пришла задать вам один вопрос" – "Да, пожалуйста?" – "Вот, я пришла, чтобы вас спросить: на что вы собственно поставлены? На то, чтобы арестовывать наших мужей и пускать нас по миру? Или еще для того, чтобы нас потом и защищать?"

Что теперь? Схватит, вызовет, чтобы меня арестовали за оскорбление?.. Он говорит: "Вас обидели?" – "Да, да, именно" – "Кто?" "Да ваш же, ваш же служащий..." – "Кто? Расскажите!" Я ему все рассказываю, все толково и даже спокойно. Кончаю словами: "Как же мне теперь быть? Не могу я комнату потерять, вы сами понимаете".

Пауза – и долгая. Гаврилов говорит: "Не волнуйтесь, комната останется за вами, можете быть спокойны". – "Благодарю вас, значит я могу не волноваться?" – "Говорю вам, комната за вами". И я выхожу на темную, плохо освещенную, очень широкую улицу Карла Маркса; Никита там, на той стороне, иду к нему. "Мама, что вы ему сказали?.." Но мы почти бежим домой, вон из этого проклятого места, я молчу, будто дар речи потеряла. Да, действительно: что же это я ему такое сказала, что это были за слова, почти дурацкие, почти бессмысленные? Я ведь, входя в проходную, просто не знала – как скажу.

На следующий день шофер появляется около полудня, он развязно улыбается. "Эх, – говорит он мне, – ну и шампунь же мне нынче задали – в жизнь такого не помню. Что ж это вы, Нина Алексеевна, так? Давайте по-хорошему! Я что? Да ничего я против вас не имею", – и долго несет такую пошлую галиматью. А я молчу, уж очень он был вредный; тогда он хватает меня за руку, все просит его извинить, и... батюшки, да что это! – становится на колени передо мной и целует подол моего платья... Ну, это уж слишком, что за пьеса!

Еще на следующий день особа из жилотдела ведет нас всех смотреть квартиру, расположенную за трикотажной фабрикой (фабрика размещается в Ильинском Соборе), – кухня с громадной русской печью, и из кухни прямо вход в комнату, размером около 9 метров. Тут еще живет Мария Федоровна, машинистка в Танковом Училище, – кстати, и оно не так далеко отсюда. Она хочет уехать к брату в Омск, так как ее муж вот уж три года в колонии для сумасшедших

под городом – но уж два раза убегал и, придя домой, чуть ее не задушил. Она боится его. Подала ли она все бумаги? Да, да. А кто живет в самой квартире? – Ведь это только бывшая когда-то кухня и прачечная при доме; тут в доме имеется отличная квартира, но теперь она совсем отделена, и там живет зав. финансовой частью Горсовета В.М. Михайлов, его жена и дочь с мужем и сыном. Жена – заведующая самой большой пошивочной мастерской в городе. Около дома, несколько метров дальше, громадный огород – уборная, конечно, во дворе. В кухне есть, однако, кран! Это важно, значит не надо бегать с ведром на колонку за водой – впрочем, на Рылеевой тоже был кран.

В тот же день иду в жилотдел к начальнику, чтобы подписать все бумаги и получить ордер на новое жилище по Советской улице, 26. Заведующий жилотделом, приятный, суховатый полковник Федоров, принимает меня очень вежливо; я все же немного сомневаюсь, уж очень эта кухня страшновата. Но Федоров настаивает, повторяет несколько раз: переезжайте, не ждите, переезжайте, и добавляет: "Тут будете совсем отдельно от соседей жить..." Его намек, наконец, доходит до моей усталой головы: "Это вы про моих соседей?" Он внезапно взрывается: "Да, ну конечно же, что вам мало, что один уже погиб?!" Стучит по ящику своего стола: "Хотите, я вам покажу все доносы, которые *он* на вас написал за это время? Вот они здесь у меня в ящике – пятнадцать, двадцать! Хотите прочесть?!" Говорю: "Нет, не надо показывать, зачем мне? Но так, скажите хоть про один – что же на меня можно доносить? Как будто просто нечего". Федоров: "Ну вот, первое, что помню: когда ваш сын приходит домой, вы с ним говорите в своей комнате по-французски, а он не понимает..." – "И что вы ответили... можно узнать?" – "Ответил: очень похвально, что эта женщина не дает сыну забыть французский, впрочем, будь она татарка или чувашка, вы бы и тогда не понимали бы..."

Все ясно, бумаги подписаны, получаю от Федорова ордер на новое жилище, крепко жму ему руку, говорю: "Спасибо вам за совет и защиту". Итак, надо переезжать с Рылеевой, и поскорсе. На меня находит столбняк, апатия, граничащая с болезненным состоянием; но приходят люди помочь: Таисия Прохоровна Бухало, приехавшая из Парижа в 1947 г., Сергей Фролов, приятель Никиты еще по той школе, высокий, статный юноша, он года на полтора старше Никиты, его отец был деканом в Пединституте – он один из всего класса продолжает дружить с Никитой после его перевода в вечернюю школу. А на чем же везти вещи? Ведь все-таки две кровати, большой шкап, три корзины, табурет; шофер говорит, надо грузовое такси... Это я тоже понимаю – до Советской улицы почти два километра... "Не могу я нанять грузовое такси – это не меньше ста рублей, у меня их нет..." – "А сколько есть?" – спрашивает Таисия Прохоровна. – "Да вот, рублей десять, не больше..." Шофер подходит ко мне и говорит: "Придется мне вам машину

достать со службы, иначе не получится, а вон время уж скоро четыре часа дня", – и он уходит.

Вскоре во двор въехал грузовик со знаком МВД и вторым шофером, и началась погрузка вещей; грузили Никита, Сережа Фролов и оба шофера. Раздался гром и вдруг обрушился дикий ливень. Грузовик уехал, а мы с Таисией Прохоровной остались переждать. Потом и мы побежали к новой квартире, вымокли ужасно – вещи уже были разгружены, шкап стоял во дворе, так как дверь в квартиру была очень мала; я вошла внутрь, все наши вещи были свалены на кухне, корзины, узлы с одеялами; жилица Мария Федоровна и две ее приятельницы сидели в комнате, а Никита и Сережа тоже вошли на кухню вместе со мной. Тут оказалась и служащая из жилотдела – словом, все были налицо. Сергей говорит Никите: "Идем ко мне домой, передохнешь и поешь, а утром вернешься сюда". Я киваю головой, и они оба уходят – и верно, Никита с утра ничего не ел и промок до нитки. Сажусь на какой-то стул рядом со служащей жилотдела: "Вот видите, как хорошо, – говорит она, – вот Мария Федоровна уедет, и у вас с Никитой будет своя квартира". Дождь барабанит с треском в маленькие оконца, но... Дверь со двора распахивается и появляется тучный полковник милиции, и с ним нижний чин, вроде вестового: "Ба, ба, ба! – восклицает он, как в старинном водевиле, – ну-у, опоздали! Говорил я тебе – потарапливайся, а вишь, место-то уже занято!" Поворачивается ко мне круто: "Это вы сюда въезжаете?" – "Да нет, – отвечаю, – я уж въехала". – "А ну, покажите-ка ордер?" Вынимаю ордер и держу его перед собой: "Да вот он – все в исправности". – "Дайте мне его, я погляжу". – "Ну, нет, – я говорю самым возможно советским тоном (а мнемонические способности у меня были неплохие) – может я вам и кажусь совсем дурой, но не настолько, чтобы мой ордер в руки вам дать!" – и прячу ордер в сумочку. Представительница жилотдела наконец поднимает голос: "Все в исправности, товарищ полковник, будьте покойны"... И они уходят назад на двор; значит, опять два ордера на ту же площадь... Еще полчаса, и эта квартира уже была бы у полковника милиции. А я? – да просто на дворе, рядом со шкапом... У меня больше нет сил, все уходят, Мария Федоровна дружелюбно угощает меня горячим чаем, я валюсь на кулек с одеялами и засыпаю как убитая.

Окончательное внедрение в кухню-квартиру на Советской – в дом, где когда-то проживал настоятель Ульяновского Храма, прошло не так-то легко: подводные рифы и тут нас чуть не потопили... Жилица Мария Федоровна и виду не подавала, что собирается в Омск, – все вздыхала: "Ехать – не ехать?" А мы с Никитой ютились на кухне в невозможном хаосе... Время шло, а вот и еще одна неожиданная новость: муж Марии Федоровны внезапно скончался в колонии – как оказалось, покончил с собой... Тут она легко вздохнула и говорит: "Мне теперь и уезжать нечего, ведь это я его

боялась, а теперь…" Мы еще и не "заняли" площади – площадь, это комната, но она нас туда не пускала. Я опять впадаю в отчаяние; наш шкап все еще стоит во дворе, денег нет совсем – решаю его продать; приятельница Марии Федоровны, энергичная молодая особа, секретарь Первого Танкового Училища, достает Никите ручную повозку и дядю Мишу – истопника из Училища; они грузят шкап, и Никита везет его в комиссионку продавать, но шкап у него буквально с руками вырывают еще на улице – и он возвращается, получив за него 600 рублей… Никому в голову не приходит узнать, почему шестнадцатилетний мальчик везет продавать шкап – а его нигде ведь просто не сыскать и не купить! – Может быть он его украл? И кому он отдаст 600 рублей?

От этой продажи временно становится легче, мы получше питаемся… Встречаю на улице преподавательницу из Пединститута. Она меня расспрашивает: как же мы живем? На что же, в конце концов? Отвечаю ей: "Вот сейчас едим шкап!"

Боже мой, что же будет дальше? Однако та секретарша из Первого Танкового – Нина Дмитриевна, энергичная, деловая и еще при этом весьма симпатичная, вдруг играет свою коротенькую роль в нашей судьбе… У жилицы в комнате стоит чудесный старинный буфет, и она, решив ехать в Омск, еще в начале лета продала его Нине Дмитриевне.

Как-то жилица ушла на роботу в Первое Танковое, и часов в двенадцать внезапно появляется Нина Дмитриевна с дядей Мишей – дядя Миша сидит на дрогах, запряженных лошадкой; они вдвоем быстро и ловко выносят во двор буфет, и дядя Миша увозит его к Нине Дмитриевне. Я несколько смущена – как же это так без хозяйки? "Да буфет давно уж мой, – возражает Нина Дмитриевна, – я давно заплатила, вот только дядя Миша был занят… А вы не моргайте, – добавляет она внезапно, – место в комнате освободилось, и внесите туда свою кровать, да лягте на нее, скажите, что больны… А то совсем без площади останетесь…" Она уходит, и как только с завода появляется Никита, мы с ним дружно тащим кровать в комнату, раскладываем ее, и я стелю простыни, одеяла, кладу подушки. Вношу и чемодан. Вот и я заняла свою площадь, теперь уже со мной трудно будет спорить, да и у меня сын рабочий, мы так и говорим всем: "Кто вы?" – "Мы семья рабочего". Недели через две Мария Федоровна уезжает в Омск, и эта глава, как будто, окончена.

Еще немного про приемную МГБ – такую, какой она была в те годы, и про Гаврилова. После ареста Игоря Александровича я видела его всего раз в проходной, куда он мне велел прийти за полной описью задержанных вещей. Тогда я и попала впервые в проходную… А потом неоднократно ходила звонить по знаменитому телефону, украшавшему стену направо от входа – единственный рупор и надежда что-то узнать от вершителей судьбы, находившихся

где-то внутри большого каменного двухэтажного здания. Но узнать что-либо было пустой надеждой, единственный и привычный ответ на вечный вопрос было: "По этому поводу, к сожалению, ничего сказать вам не могу".

Впоследствии я Гаврилова больше не встречала, а с разными бумагами – вернее, с ответами на мои прошения, будь то Молотову или "президенту" Швернику – обычно появлялся Толмазов, хорошенький, подтянутый (тут он был всегда в мундире, тогда как при аресте все трое были в штатском). Толмазов щелкал лихо каблуками и в самой вежливой форме сообщал мне: "К сожалению, по этому вопросу ничего сказать не можем".

Главным начальством в МВД был в то время полковник Садовников – его я так никогда и не лицезрела, а только слыхала восторженные о нем отзывы Александры Федоровны Романовой; она восхищалась его наружностью, бравой выправкой и... красотой его жены. Последнее могу удостоверить – мадам Садовникова была очень эффектна, и ее мне раз пришлось увидеть в этой проходной; это случилось летом, вскоре после переезда на новую квартиру; я сидела и ждала очередного ответа, позвонив по телефону Гаврилову, сидела на узкой лавочке вдоль стены, а рядом со мной сидела молодая женщина, полная, с бледным одутловатым лицом, в скромном черном платке – хотя был жаркий день; через некоторое время она вскочила, подбежала к телефону и, сняв трубку, просила поговорить с полковником Садовниковым. После длительных переговоров ей разрешили с ним поговорить... Она начала быстро и почти бессвязно объяснять, что очень больна, что завтра ложится в больницу на тяжелую операцию и, может быть, исход будет смертельный: "Прошу, прошу вас, полковник, хоть на десять минут мне позволить свидание с отцом, ведь, может быть, я его больше никогда не увижу..." Ее монолог, изредка прерываемый какими-то краткими ответами телефона, длился долго, несколько минут; наконец, в полном отчаянии, она начала громко, без стеснения рыдать, и только повторяла: "Я умоляю вас, умоляю, ведь мой отец больной, сердечник, умоляю...", – но в трубке щелкнуло и слышно было и мне, и старухе с кульком, что Садовников повесил трубку, чтобы не терять времени... Женщина упала на скамейку и вслух рыдала и причитала, не стесняясь, потом резко вскочила на ноги и, злобно вскрикнув: "Да будь они все прокляты навеки!" – убежала из проходной на яркое июльское солнце...

Мы сидели молча, я и старушка. Время шло – там подчас приходилось очень долго ждать – это делалось нарочно, чтобы просителей совсем обезнадежить.

И вот в этот момент в этой тяжкой тишине к проходной подкатил огромный автомобиль, молодой и изящный офицер МВД ловко соскочил с места, которое он занимал рядом с шофером, с шиком открыл дверь и поддержал под руку выходившую из

машины красавицу. Она действительно была очень красива: высокая, худощавая, в отличнейшем цветастом платье из крепдешина, на голове широкополая соломенная шляпа – то, что англичане зовут *a picture hat* – да, в таком туалете по пыльному нищему Ульяновску тех времен безопаснее было ехать в мащине, чем идти пешком...

Она подошла к телефону, сняла трубку и сказала одно слово: "Садовникова", – голос оттуда сразу ответил, и через секунду она опять сказала: "Миша, ты?" – и далее: "Знаешь, тут мне принесли рыбу, – да, да, свежую... ну, осетрина, да вот большая уж очень... ну, как – брать?" После паузы: "Ладно, ладно, возьму уж". Треск, трубку на место, и она выпорхнула на улицу, обдав нас резким потоком дорогих приторных духов (не то "Красная Москва", не то "Серебряный Ландыш").

Еще про Ульяновск

Страшный город был Ульяновск в те годы – дома не ремонтировались больше тридцати лет, заборы и частоколы месяцами лежали, поваленные на тротуар, – приходилось обходить их, сойдя на мостовую, а там зачастую лужа по щиколотку... Во многих домах обрушились балконы; некоторые висели на металлической подпорке вдоль дома и покачивались на ветру. Все хозяйство города было в полном расстройстве; по две-три недели целые кварталы оставались без воды – не раз пришлось мне растапливать снег в ведре на кухне – и получалось четверть ведра грязной черной воды, ведь вся округа бывшего Ильинского Храма была на много сантиметров погребена под угольным шлаком, который день и ночь выплевывала двадцатипятиметровая труба, победоносно громоздившаяся над алтарем, – а ночью горела она тучками искр, вроде фейерверка в день салюта. Вторая труба вделана была внизу, прямо в алтаре, коротенькая, метр-полтора, и открывала она свою громадную пасть прямо на проходной двор – тупик позади храма, где и был расположен ряд домов, небольших, деревянных – а мы жили как раз в доме против трубы. Каждые двадцать минут труба эта с грохотом сотрясалась, и из нее вылетала громадная порция горячего шлака. Первое время я ночами не могла заснуть – все ждала: когда же опять загрохочет?..

В последнем доме нашего тупика жила Екатерина Николаевна Венцер, из старой купеческой симбирской семьи Волковых – о ней еще будет ниже; в ее дворе стоял небольшой дом, где жила просвирня – бывшая в прошлые времена горничной у матери Екатерины Николаевны... Характер просвирня имела грозный и держала себя

неприступно — но... каждый месяц ей привозили несколько мешков муки (откуда?) и дров у нее была запасено на целый год... К этой просвирне изредка хаживал в гости "поп-расстрига", я его несколько раз видела в нашем тупике: одет он был, как в Малом Театре в пьесах Островского купцы — синие брюки заправлены в высокие сапоги, синий армяк с кушаком, на голове картуз тоже матерчатый, синий с козырьком — борода длинная, седая, и походка легкая, быстрая, как у молодого... Идя к просвирне, он останавливался перед бывшим алтарем, перед шлаковой трубой, и долго молился, крестясь, вздыхая и причитая негромко. Молясь, снимал картуз и вдруг становился похож на священника.

Снабжение? Тут, собственно, два периода: вплоть до 1950 г. было очень неплохое — много свежей рыбы, колбаса разных сортов, украинское сало в колбасной, всякие конфеты в гастрономах. А на рынке всегда много мяса, отборная свинина, отличные овощи — и картошка... самая вкусная, какую ела за всю жизнь! Однако люди были разорены войной: они покупали , стоя без конца в очереди, жуткую ливерную колбасу, которую и не всякий кот бы съел, а на базаре, где было чудное мясо (по шесть-десять рублей килограмм), позволяли себе изредка купить граммов двести-триста на семью, чтобы сделать к картошке "соус"...

А начиная с указа "о понижении цен на товары" все более дешевое и доступное исчезло... и исчезло навсегда. И зайти в колбасную, купить на вечер докторской колбасы стало проблемой: цена на нее была не двенадцать или десять рублей — а...двадцать-тридцать пять! Почему же так, почему нет больше дешевой колбасы? Ответ был всегда один: "Этих сортов мясокомбинат больше не выделывает". — "Почему же?" — "Да вот потому". С хлебом и мукой было всегда плохо, очереди — часами, хлеб черный часто мокрый, тяжелый как камень. Вот когда и мы узнали, что это значит — купить есть что, но цена-то уже не для нас... Да и все, что продавалось в ОРСе было уж не для нас после исчезновения Игоря Александровича.

Помню, как мы с Никитой осенью 1950 г. в течение шести часов подряд, сжатые как в тисках, стояли под Октябрьские праздники в очереди, вившейся змеей за... килограммом муки... Отстояли все-таки и получили по кульку — это благодаря Никите — я одна не стала бы ни за что целый день проводить в этой злобной толпе. А военные калеки обходили нас, с рыком и бранью оголяли свои страшные культяпки, и их, конечно, пропускали без очереди. Это зрелище может как-то идти в пару с "Герникой" — такое же страшное, такое же уродливое.

Ну, базар — это было что-то иное, иной мир — мир, главным образом, бабий; редко-редко где старик торгует, вот тут правильно сказать — война. Базар был тогда вне города — кстати, рядом с заводом № 650; к базару надо было идти через мост над оврагом (овраг этот в тридцатые годы за ночь осыпался — был и широкий,

и глубокий, и долго еще полз; было несколько планов – как его засыпать, но так и не удосужились!), надо было круто повернуть налево к подходам к базару, и тут стояли всегда те же люди, те же лица – я их пять лет подряд видела на том же месте. Тут был и чистильщик сапог, который днем уходил в Гостиный Двор на Гончаровку; купить крем для чистки обуви или щетку негде было, и люди охотно чистили сапоги у этого чистильщика с удивительным азиатским лицом; на вопрос: "Кто же вы все-таки?" – он мне точно и убежденно ответил: "Я ассириец". – "Ну, а жена ваша?" – "Тоже, тоже ассирийка, и пишем по-арабски справа налево". У него было шестеро детей и, когда в 1952 г. его тоже арестовали "за шпионаж" (болтал, болтал с людьми, делал вид, что чистит им сапоги, ну, вот и шпионил!), они, бедные, заголодали, были еще совсем юные, а мать и по-русски-то почти не умела (его в 1955 г. отпустили и "реабилитировали").

На узкой панели слева всегда на одном и том же месте стояла слепая с клеткой – в клетке, покрытой черным платком, сидел попугай, который за рубль вынимал на счастье билетик с предсказанием. Люди не жалели рубля и многие брали билетик: слепую надо пожалеть, да и интересно: вдруг выдастся что-то особое, счастье и... можно будет его ждать и надеяться!.. Слепая была полная, лет тридцати или сорока, лицо изрыто оспой, и два страшных бельма придавали ей какой-то вещий вид, да еще с попугаем... Видела я раза два-три, как милиция ее гоняла: "Тебе пенсия идет, и нечего с попугаем стоять, иди, иди... " Но немедленно из-под земли собиралась толпа, которая угрюмо, но твердо защищала слепую, и подчас даже мелькало словцо "мильтоны"; милиция, постояв, уходила.

Особенно оживленное место на базаре была... уборная! Полное презрение волжан к этому необходимому для всех людей учреждению меня всегда поражало, я и до сих пор не могу без содрогания его вспоминать... А тут было всегда битком набито, кто по какой причине, главное же – тут торговали... Чем? – Да всем, чего в городе не купить – чулками, иголками, нитками, трусами... Главный же товар тут был – бюстгальтеры, вот их-то уж просто в продаже никогда не было.

Клекот стоял в уборной потрясающий – татарский, чувашский и русский сливались во всем понятном "воляпюке"; бюстгальтеры вырывали друг у друга из рук, женщины, не стесняясь, их примеряли, спустив ситцевую кофту; одни тут курили, другие выпивали с закуской! Словом, это был клуб, порожденный самой жизнью. Впрочем, милиция не дремала, подчас врывалась в это женское чистилище и всех разгоняла – но, конечно, не надолго.

У большинства ульяновских жителей была во дворе деревянная будка. В сентябре, этак в последних числах, люди выходили на улицу, стояли перед домом и... сторожили: не проедет ли "Самсониха"? Так называли ассенизационный обоз города Ульяновска, по фамилии

председательницы этого "института" товарища Самсоновой. Говорят, она сама была славная женщина средних лет, проведшая всю войну на фронте, награжденная боевыми орденами. Обоз же был в виде дрог, запряженных быком, на них бочка, а управлял быком и дрогами рабочий в клеенчатом халате с капюшоном, в высоких, выше колен сапогах и... с черпалкой и ведром в руках. Запись на "очищение" делалась в жилотделе, а вот когда бык к вам заедет, это уж совсем неизвестно, да и "Самсониха" увозила только одну бочку, и уговорить и умолить возницу заехать еще раз требовало порядочного бакшиша... О том, что едет "Самсониха", передавали друг другу из дома в дом, чтобы соседи не пропустили. Когда мы с Никитой уже жили на Советской, мои соседи, Валерий Михайлович Михайлов, председатель Финотдела Горсовета, и его супруга Мария Алексеевна – люди с большим достатком, наотрез отказывались заплатить за вторичный заезд к нам во двор "Самсонихи", и приходилось мне из моих жалких грошей это делать... А последние два года они и совсем отказались платить, сказав, что они "во двор" не ходят и, заметив мое удивление, пояснили, что у них в сенях "ведро".

Симбирск до революции насчитывал около сорока тысяч жителей; город был чистенький, повсюду деревянные мостки для пешеходов, славился яблоками, конской ярмаркой, мастерами-кожевниками и рядом прекрасных особняков, принадлежавших симбирским помещикам, таким богатым и родовитым, как Огаревы, Оболенские, Языковы, Орловы и др., владевшим в этой обширной губернии целыми латифундиями, и местному купечеству. В магазинах все было, и сам великий сексот Николай Васильевич Романов мне рассказывал, как он, возвращаясь со службы, где работал счетоводом, заходил на Гончаровке "к Елисееву" и покупал там зимой своим детям за пять копеек чудную грушу "дюшес".

Да был Симбирск тоже город ссыльных, за последние два царствования там осело вольных и невольных ссыльных поселенцев достаточно; они держались особняком, но все же как-то смягчали "глухость".

А было ли в Ульяновске хоть что-нибудь, о чем можно бы сейчас, через тридцать лет, вспомнить без отвращения и злобы, а с радостью? Во-первых, был там Венец и вид на Волгу, а она тут целый километр ширины! Город стоит на высоком берегу, сто десять метров над рекой, и эта ширь, этот простор, эти заливные луга (которых уже больше нет – их затопили Ульяновским морем в конце пятидесятых годов)... Когда уж становилось не под силу, я ходила посидеть на лавочке на Венец, и всегда там обретала успокоение, утешение и смирение. Особенно хорошо там было в конце июля, когда внизу, вправо от города, шел покос на заливных лугах – что это был за аромат! Сам Венец, высокая набережная над Волгой, в то время еще не был затронут современным строительством, дома

были небольшие, деревянные, с резьбой и наличниками, тротуар был совсем плох, мостовая и того хуже. Однако существовал скверик при входе на Венец из города, где был памятник воинам, погибшим во Вторую Мировую войну, и вокруг разбит отличный цветник, чистенький, посыпанный красным песочком — глаз отдыхал на этом скромном садике от уродства города, от его грязи и плакатов.

Второе — "Дворец Книги". Он и в самом деле был во дворце, когда-то построенном архитектором Коринфским; это — одна из самых богатых библиотек в советской провинции — раньше тут жил симбирский губернатор. Там я со многими подружилась и познакомилась, и, в первую голову, конечно, с заведующими иностранным отделом, а их за пять лет было три, и все по-своему милые, вежливые, приятные. Первая была немолодая — Ольга Васильевна Огарева, но она через год ушла на покой; ее сменила Мария Васильевна Любимова — однако она совсем не знала иностранных языков, и при случае я ей помогала. Третья, совсем юная барышня Зоя, недурно знала французский, немного английский и немецкий, и долгие годы тут потом проработала. В иностранном отделе было около девяти тысяч книг — больше, конечно, французских, но и английских немало; все это было из симбирских дворянских гнезд — почему-то в свое время все не сожгли. Много было романов "Tauchnitz Edition", дешевые книги, которые читались в спальном вагоне по пути домой из-за границы, была и вся французская классика, и малые писатели начала века, вроде Пьера Лоти, Поля Бурже или Клода Фаррера; как-то я напала там на полное собрание журнала *L'Illustration*, с года основания 1857 и вплоть до 1916. Мы с Никитой брали их домой — по сорок-пятьдесят номеров, и по вечерам читали, любовались — когда-то на Кирочной мы аккуратно каждую неделю получали этот журнал!

Главный французский фонд был из библиотеки богача-татарина, владельца ткацкой фабрики, и на каждой книжке был его *ex-libris*. До войны было в иностранном отделе и множество немецких книг, некоторые даже ценные, но во время войны их изъяли, не то просто сожгли... Если и были какие-то жалкие немецкие книжонки, то главным образом учебные или там Шиллер, Гете — не более.

Директором Дворца Книги в те годы была очень дельная и активная особа, а прежде она тут работала уборщицей... Я к ней иногда заходила в кабинет, садилась, мы вели беседу и всегда расставались самым дружеским образом; у нее был талант администратора, сотрудников по библиотечному делу она подобрала на славу. Попасть на практику в ульяновский Дворец Книги мечтали все студенты Библиотечного Института в Левобережной под Москвой. Да и читальный зал был великолепен — громадный, просторный, с высоким лепным потолком; я нередко туда ходила посидеть, брала какую-нибудь редкую монографию по искусству армянскому, грузинскому, персидскому — что-то абсолютно вне ульяновской жизни, и отдыхала,

разглядывая рисунки и любуясь изредка из окон зала на чудесный пейзаж: Венец, Волга!

Конечно, были и в Ульяновске добрые отзывчивые люди; если бы их не было, ни я, ни Никита этих страшных пяти лет не выдержали бы. Эти люди лучше всего украшали Ульяновск – жесткий, неприветливый, замусоренный волжский город сталинской эпохи.

Одни

Начался второй год нашего одиночества и, казалось, худо-плохо, но мы с Никитой получили свой угол и чудом отделались от ненавистного соседства с четой сексотов Романовых; тут, за стеной, тоже были соседи, много выше по советской "табели о рангах"; они активно нам не вредили – но ненавидели или, вернее, презирали нас. Что про них сказать? Сам В.М. Михайлов, инспектор финансов в Горисполкоме, меня вообще не замечал – будто и не видел. Его жена – "Салтычиха", как все ее в городе звали, – сперва даже была со мной любезна; верно, и она думала, что у мсня еще сохранились "парижские вещички", и их можно будет задешево приобрести. Но вскоре она от меня отвернулась и больше со мной не разговаривала. Ее дочь Нина Валерьевна была вторично замужем за агрономом Василием Ивановичем – первого мужа, офицера, потеряла в первые дни войны. И был еще ее сын Олег, мальчик лет 11-ти, милый, воспитанный. Василий Иванович был лет на 25-30 старше своей жены; человек старого закала, он пасынка своего отлично воспитывал, а тот тоже любил его и слушался. Все хозяйство вела старшая сестра Салтычихи – старая дева Агриппина Алексеевна, черствая, озлобленная, жившая тут из милости и весьма побаивавшаяся своей сестры. Все мои объяснения или малоприятные пререкания по поводу... моего кота Васьки или не выгребенного снега во дворе, по поводу Самсонихи, ну, и так далее – все у меня было именно с ней, сухонькой Агриппиной Алексеевной в постоянном, неизвестного цвета халате до пола; в Ульяновске считалось приличным, чтобы старухи были так одеты. Но, конечно, иногда возникали вопросы поважнее – в первые 2-3 месяца нашей жизни в бывшей кухне-прачечной Горсовет два раза грубо и не скрываясь, наступая тяжелыми орудиями, всячески пытался меня оттуда выселить... Но я, ощерясь, как голодный пес, защищалась, будто не чувствуя страха перед властями – страх остаться с Никитой "без площади" и быть выселенной в ближний колхоз был много сильнее. Да я уж в это время отлично поняла, что мне надо постоянно отругиваться, говорить дерзко, кто бы там

ни был, нападать: "Ну, не на такую напали!!" – или же: "Не такая я дура, как вы думаете".

Я была вечно насторожена, всякий день ждала откуда-то нового удара. Я уже тогда стала много курить, ну, а дальше – больше, докурилась чуть ли не до смерти!

Первое нападение произошло очень быстро, недели через три после отъезда Марии Федоровны в Омск: мне сказал кто-то, может быть в Переселенческом Отделе, что маленькие, нерентабельные жактовские дома "решено" продать жильцам. Часов в одиннадцать утра постучали в дверь, я вышла в сени и увидела группу из четырех человек, и во главе их стоял... сам председатель Горисполкома – каким-то образом я его знала в лицо. Он все же слегка приподнял фетровую шляпу и сразу заявил: "Я к вам по делу, вы, верно, знаете, что решено продать жильцам площадь с низкой квартплатой... Вот эта комната как раз и будет продаваться – что ж, думаете купить?" Я довольно долго молчала, и горкомовская делегация спокойно меня разглядывала...

"Ну что же, – ответила я председателю Ульяновского Горисполкома, – может, и купила бы... все зависит от цены и от условий". А в голове беспорядочно несутся отрывки мысли: что еще ответить, как их отвадить, как не уступить по-глупому это свое последнее убежище!

– Наша цена – десять тысяч и обязательный капитальный ремонт, – говорит мне председатель.

– Что вы, смеетесь?! Да кто же такую цену за эту развалину даст? – Посмотрите, вся завалинка провалилась, в сенях громадные щели – тут одного ремонта на десять тысяч!

– И сколько же вы предлагаете? – спрашивает он, вся их группа наполовину вошла в кухню и рассматривают покоробленный пол, почерневшую русскую печь, бревна, из которых выпал шпагат...

Говорю как можно спокойнее и равнодушнее: "Тысячи три можно... ну, конечно с рассрочкой, скажем, по тысяче в год – это я бы согласилась". Он разводит руками: "Да что это вы говорите, ведь это же почти центр города... нет, нет... ну, да у нас уже есть и другие, кто хотел бы купить!..."

Ага! Вот оно! Делаю шаг вперед прямо на него, меняю резко тон, почти кричу на него: "Вы, Алексей Семенович, и не думайте другим, я не допущу – я жила на Рылеевой – меня выселили ни за что, да хотели загнать на Свиягу, где и днем страшно пройти, не то что ночью! Нет, нет, вы, видно, думаете, что так и будете меня и сына катать, как в биллиарде шары из лузы в лузу – нет, вам не удастся! У меня сын работает на заводе, учится в вечерней школе – не хотите моей цены – не надо, я здесь живу, и никому другому продать не имеете права!!"

Председатель Горисполкома молчит, группа сопровождающих тоже – впрочем, я их голоса и вообще не слыхала... Он опять слегка

приподнимает шляпу и… они все уходят, калитка хлопает – и так никогда и не возвращаются…

Как будто все не так и страшно… через тридцать лет в Париже, конечно; тогда же казалось, вот "они" меня преследуют нарочно, именно меня; но вряд ли это так было; всюду, в любом городе в СССР в те годы жилая комната (не квартира, конечно, о квартире никто кроме аппаратчиков и не мечтал), всякая жилая площадь была объектом безжалостной борьбы.

Вторая попытка – на этот раз уж и против Михайловых тоже – случилась недели через две; В.М. Михайлову заявили в Горисполкоме, а потом о том же последовала и официальная бумага, что в Ульяновск выехала из Ленинграда археологическая экспедиция, пробудет там целый год, и ей отведен именно дом, где жили Михайловы и мы. Соседи мои напугались не на шутку, вели себя солидарно со мной, бегали подавать жалобу прокурору, я, впрочем, тоже; двери и окна держали крепко закрытыми, так же как и калитку во дворе… Суматоха эта длилась несколько дней и потом внезапно сама собой выдохлась – археологическая экспедиция до Ульяновска так и не доехала, и больше никогда о ней нигде не было сказано ни слова.

Стало холодать; сразу после Покрова я протерла три маленьких окна в моем жилище, проложила рамы кругленьким валиком ваты и тщательно обклеила их газетными полосами. В то же время во двор наш "завезли" с завода 5 кубометров дров. Надо было их распилить, наколоть, сложить: многое мы с Никитой сами пилили, но не все; колоть ни он, ни я не умели, и пришлось нанять мужиков. А складывала их в поленницу я сама – у Никиты с заводом и школой просто времени не было. В эту осень я все же запасла лук – училась плести его в косы и вешать на кухне, закупила "Геркулес" – ведь он имелся в магазинах только осенью в течение двух, трех недель.

Но не надо думать, что это я была такая догадливая и хозяйственная – всему меня научила милейшая соседка из дома рядом с нами, Екатерина Николаевна Венцер. Она сама как-то постучалась, вошла и сказала: "А я пришла к вам познакомиться, ведь мы соседи – вы ничего не имеете против?" Она жила в самом конце нашего тупика, и, как ни странно, сумела сохранить собственный дом, где занимала две комнаты и кухню, а остальные комнаты сдавала. С ней жили две дочки – Ирочка (Иродиада) и Марина; обе еще были студентками – Марина была миловидная, застенчивая, провинциальная девица; старшая же, Ирочка, была красавица – высокая, статная, голубоглазая блондинка, смотрела на всех с презрением и превосходством; окончив Институт молочного хозяйства в Казани и получив направление в Ульяновск, тут же вступила в партию и во всем держала себя с тех пор неукоснительно "партийно".

Я начала изредка заходить к Екатерине Николаевне и быстро заметила, что Ирочка чрезвычайно недовольна этим; а уж позже,

в 1953-54 гг. я просто избегала к ним заходить, когда она была дома. Екатерина Николаевна, кроме того, почти каждое утро приходила ко мне с двумя громадными ведрами за водой – ведь в моей кухне был кран; правда, зимой он аккуратно замерзал, и приходилось звать водопроводчиков, чтобы его оттаивать – но ведь это был люкс, иметь дома кран – ближайшая колонка, которая не замерзала, была в километре от нас... Почти каждое утро Екатерина Николаевна приходила за водой и вскоре начала каждый месяц давать мне 30 рублей – я сперва отказывалась, но пришлось согласиться, я поняла, что это какая-то, хоть и скромная, но все же денежная помощь, и нельзя ее обижать отказом.

Вот это знакомство было, пожалуй, единственным событием в однообразной, жалкой, какой-то мерзкой жизни, которая тянулась этот первый год на новой квартире; да и не только этот год, а и все темное время вплоть до смерти Сталина, казалось, так вот всегда и будет безысходно, безнадежно, и каждый день начинался одинаково: как, на что прожить этот день, куда пойти, кого умолить? – ответа не было. Эти годы у меня в памяти путаются, будто все они составили один длинный год; как писал Поприщин – "числа не помню, года тоже не было..."

Однако той осенью мы совершили с Никитой памятный поход – на прием к Прокурору войск МВД Ульяновской Области – мысль эта была не моя, а Никитина – он много лучше меня разбирался в том, кто есть кто, и почему-то знал, что можно без особого риска жаловаться Прокурору на страшных людей в мундирах и в штатском, которые год тому назад увели ни за что его отца, и уж вот год ничего мы так и не узнали – где же он, на какой срок? Словом, Никита меня убедил пойти, и мы пошли в какой-то очень старинный дом и записались на прием на следующий день. Когда пришли, немного подождали в приемной, и секретарша сказала: "Проходите". Мы вошли в громадный кабинет, где за столом сидел генерал в мундире, очень видный, ладный, по виду природный татарин, и фамилия его была тоже татарская – Мурзаев. На его вопрос : в чем собственно дело? – я ему ответила, что вот уж год, как мой муж задержан чинами МВД, и вот, несмотря на все мои запросы и хлопоты, я никак не могу узнать, где он, не знаю даже, жив ли он? Мурзаев, немного помолчав, сказал: "Словом, вы хотите сказать, что вот ваш муж был и нет его, взял и пропал, как иголка в сене?"

– Ну, я этого выражения не имела в виду, однако раз уж сами так говорите, то правильно: именно пропал, как иголка в сене.

Он встал – был грузный, но не толстый, и громадного роста, подошел к столу посередине кабинета, на котором стояло два или три телефона, покрутил какой-то номер и сказал внушительно: "Дайте мне... (фамилию не помню, к сожалению)... Послушай, тут у меня гражданка, она с жалобой пришла, Кривошеина Нина Алексеевна, говорит, что больше года не знает, где муж и что с ним".

Длинная пауза. – "Ну, значит исполнишь, а то так не годится", – и повесил трубку... Обернулся ко мне, на его скуластом лице с четко нарисованными бровями было скорее приветливое выражение, или, может быть, мне хотелось его таким увидеть? Из всех этих людей он первый показался мне обычным человеком, а не злым заводным автоматом.

Я встала: "Благодарю вас, значит я могу надеяться получить ответ?" – "Получите, получите очень скоро". Когда вернулись домой, было очень страшно – Боже, а что если "они" начнут нам мстить?

Через неделю приходит утром сотрудник МВД Давыдов, я и его уже тоже знала – пожалуй, один из самых противных; здороваясь, щелкает каблуками. "Что вам угодно?" – "Да вот, принес вам решение суда про вашего мужа и номер почтового ящика"... И, помолчав: "Что же это вы жалуетесь? Я вам уж раз извещение приносил, а вы говорите – ничего не известно!.."

"Нет, нет, это вы первый раз приносите, сегодня – оно и понятно, а раньше извещения не было". Давыдов очень настаивает: "Да нет, я сам приходил, а вас не было, и я под дверь сеней просунул". Тут я уж ему не спускаю: "Вы говорите что-то не то, разве такие бумаги подсовывают под дверь? Из рук в руки передают, вот как сейчас – а, впрочем, принесли, и все в порядке". Он недоволен, откланялся, уходит. Приговор – "лишение свободы на 10 лет".

Я чувствую себя абсолютно беспомощно, знаю, что это очень плохо, что это наклонная плоскость – вниз, вниз! А ведь необходимо поддерживать ритм каждодневной жизни, чтобы Никите казалось, что мы живем нормально, что у нас есть шансы и дальше жить... дожить... До чего, собственно? Вот дедушка Александр Иванович Угримов посылает нам из Майны, где он живет и работает на Селекционной станции, целых четыре мешка картошки, килограмм 80, может быть и больше. Посередине комнаты в полу подъемный люк с железной ручкой – внизу подвал. Сперва мы ставим мешки в кухне между окном и русской печкой, но в середине декабря я замечаю, что есть много померзших картофелин, и мы вдвоем таскаем нетронутую картошку и ссыпаем ее в подвал, он очень глубокий. Никакой лесенки у нас, конечно, нет; я туда прыгаю, и Никита сыплет мне картошку на ноги и на голову. Тут же я раскладываю 10 или 12 "вилков" капусты, авось и она там сохранится. Это, конечно, гадательно – ведь я первый раз в жизни проделываю такую операцию.

Утром, в темноте, бужу Никиту; он как куль валится назад на кровать – я его тереблю, тащу за руки, за волосы – ведь если он хоть на одну минуту опоздает на завод, ему грозит два года лагерей. Наконец, он одет, попил кипящего фруктового отвара с куском липкого черного хлеба (иногда удается достать маргарин – тогда хлеб мажу маргарином) и, шатаясь от недосыпа, выходит из дома.

Всю эту зиму мы ужасно мерзли в нашей девятиметровой комнате, где стояли две койки, колченогий стол и стул, табурет, еще изготовленный для нас ОРСом, а в кухне стояли одна на другой две плетеные корзины, к этому времени уж почти пустые, два чемодана – вот и все, чем мы владели. Окна были занавешены марлей, я ее изредка добывала в дружественной аптеке. В сенях были две полки для хранения продуктов в зимнее время. Бедно, это еще полбеды, а вот холод зимой в этой бывшей кухне был невыносимый. В январе-феврале часто в комнате бывало 5-6 градусов. В конце концов я не выдерживала и накидывала шубу, надевала валенки, дошло до того, что несколько недель подряд я просто спала в шубе, только валенки скидывала – на голове, конечно, теплый платок. Никита легче переносил холод дома; на заводе, в мастерской у станка было все же тепло в ватнике, вечером в школе тоже было хорошо топлено. А как мы прожили, как было с деньгами, откуда? 250 Никитиных рублей не могло хватать... Не знаю, ничего не могу вспомнить. Помню отдельные факты – вот как-то на базаре я подумала, что уж больше двух месяцев Никита не ел мяса, быстро подошла к мясному ряду и скорее, скорее, чтобы не передумать, купила хорошую отбивную котлету. Никита, придя с завода, сел за стол и, когда я ему подала котлету с жареной картошкой, оторопел, потом спросил меня: ”Мама, да это мясо?!” – Я говорю: ”Да, да ешь, хорошая свинина, так давно не ел”. Он посидел, закрыл лицо руками и начал громко плакать, плакал долго, котлета стыла... Потом он ее съел, выпил чаю, повалился на кровать и, будто в изнеможении от избытка пищи, проспал до вечера.

Было и что-то положительное в это скудное время: переход в Вечернюю Школу Рабочей молодежи (я уже про нее упоминала). Там неожиданно царила атмосфера взаимной солидарности – никто никого не ”подсиживал” – всем надо было доучиться. Директор Филиппов и все преподаватели старались помочь ученикам – ведь они приходили усталые, а некоторые и голодные, как и Никита. Оказалось, что таких, ”без отца”, было и еще несколько человек в школе – словом, все попали туда и по необходимости доучиться, и по решимости пройти эти три трудных года одновременного учения и работы. Пока Никите не было еще 16 лет и он был на заводе учеником – его не имели права назначать в ночную смену, но когда ему пришлось работать по ночам, спать днем, готовить уроки и вечером идти в школу, казалось, он враз все бросит, не пойдет ни на завод, ни в школу – а просто как следует выспится...

После моего неудачного появления в Управлении ночных сторожей я сама пыталась устроить себе регулярную работу, всюду сразу соглашались, но... через два дня всюду был одинаковый ответ: ”Жалеем, но место уже занято”. Этой зимой Золинова снова вызвала меня в Переселенческое Управление и предложила работать ночным

сторожем. Я сразу даже не поняла – как это? Ночью в тулупе и с ружьем? Да где же это? Оказалось, что она предлагает мне охранять самый большой универмаг Ульяновска, в здании бывшей немецкой Кирхи – громадном и уродливом.

Я не сразу ответила, чувствовала, что мне роют яму, потом заявила, что уж лучше умру от голода у себя на кровати, чем меня ножами будут полосовать хулиганы ночью в мороз – и добавила: "А тулуп я и одеть не могу, во первых, он мне велик и тяжел,... да и там вшей полно, я это отлично знаю!"

Через несколько дней стучат в сени, открываю – а, главный инспектор из Переселенческого, особа не более приятная, чем начальница. "Что, в чем дело?" – садится у моего колченого столика, вынимает какую-то бумагу: "Вот видите, вы на днях отказались от предложенного вам труда (именно "труда", а не работы, так она и сказала) – вот пожалуйста, распишитесь здесь", – и подсовывает мне листок.

Отталкиваю ее руку довольно резко: "Нет, нет, – говорю, и не уговаривайте, что ж вы думаете, я не понимаю, что вы потом мне предложите "труд" где-нибудь в колхозе – нет, это никак не выйдет". Она уходит, не попрощавшись, а я долго без сил сижу на стуле.

... Ту бедную старуху, много-много старше меня, которая пошла сторожить универмаг в Кирхе, через неделю ночью молодцы исполосовали пиками и поранили ножами, ключи у ней выхватили и немало награбили.

* * *

Весной кое-что оставшееся из платья и не вошедшее в опись продаю сама на барахолке... Продаю плохо, мучительно, все за полцены... Так уходит совсем новое парижское летнее платье, отличная, мягкой шагреневой кожи сумочка – больше уж ничего не остается. В мае неожиданно получаю от двоюродной сестры Игоря Александровича из Берлина посылку: шерстяной дамский свитер и... перевод на 200 рублей! От кого она про нас узнала – непонятно; и она, и ее муж Григорий Эрастович Тулубьев тоже высланы из Франции в 1951 г. (из-за советского паспорта – последствие холодной войны), в СССР их не принимают, и они оба отлично устроены в советских магазинах в Берлине... Свитер ужасного сиреневого цвета вырви-глаз, но... он шерстяной, и я в тот же день продаю его... Что ж, опять живем!

В июле Никите исполняется 16 лет, и он почти сразу уходит с заводской группой на уборку хлеба в недалекий колхоз, а я, найдя через жилотдел печника, занимаюсь переделкой печки, вторую зиму жить в таком холоде – и думать страшно. Жилотдел дает половину суммы на эту переделку. Печник Гриша, отличный мастер, сумел из колхоза удрать и прописаться в городе, и недавно даже

жену к себе выписал. Он работает быстро и ловко; в два дня старая печь разобрана, все кирпичи на полу. Гриша говорит: "А на улицу уж тащи все сама, я строить буду, а щебень убирать не обязан". Никита тяжело болен, пришел в начале августа из колхоза со страшнейшей дизентерией – приезжают за ним из больницы на Скорой помощи: он упирается, кидается в угол, кричит: "Не поеду, не поеду, боюсь в больницу!" У самого губы синие, лицо пожелтело, на ногах еле держится. "Ты, парень, не дури, – говорит медсестра, – знаешь, какая в области эпидемия? – А то с милицией вернусь!" Я с трудом уговариваю его. Через день иду его навестить, выходит в больничный сад докторша, говорит, что он не может пока встать, высокая температура, а в барак входить запрещено. "Приходите дня через два". – Теперь Никита, шатаясь, белый, сам выходит ко мне, ему уже немного лучше... Днем складываю кирпичи в мешок и таскаю их во двор; словом, времени размышлять и тревожиться – мало...

Еще встреча того времени вскоре после переезда: как-то иду, ни на кого не глядя, и сталкиваюсь с пожилой преподавательницей из Пединститута. Останавливаемся, беседуем, вдруг она говорит и видно, что стесняется: "Скажите, Нина Алексеевна, ну как же вы живете, на что?" – Отвечаю: "Да плохо..." – "Но что же вы едите? Как вы питаетесь?" – "Ну, сейчас, – говорю ей, – ничего, мы все еще шкап едим"... Она умолкает, видно не сразу поняла. "Но деньги есть у вас?" – Честно отвечаю: "Нет, денег больше нет". – "Нисколько?" Она нервно открывает сумку, роется, находит всего три рубля. "Боже мой, у меня с собой больше и нету – но можно вам хоть эти три рубля предложить?" Мы молчим, я протягиваю руку и отвечаю: "Да, да, конечно можно, спасибо". Она подает мне трехрублевку и мы расстаемся.

А вот я иду по Гончаровке, народу много, наверно в Гастрономе что-нибудь "выкинули"; кто-то хватает меня за руку – "Здравствуйте, здравствуйте!"... Это Зинаида Васильевна, я ее знала еще на Рылеевой, она жила против нас с сестрой своей – обе преподавательницы в техникуме. Она мне говорит торопливо и тихонько: "Идите на тот угол, вернитесь и сделайте вид, что только что меня увидали". В толпе на нас никто не смотрит: перехожу на другой угол, возвращаюсь, подхожу и громко вскрикиваю: "А, Зинаида Васильевна! Как вы? Вот как я рада вас встретить!" Она подает мне руку, крепкий *shake-hand* и... в моей ладони остается двадцатипятирублевка!... А я сразу и понять не могла – как это она догадалась вот так при людях сделать запретное, передать мне помощь?

В тот вечер, в ту ночь, был у меня великий спор с самой собой – как быть? Что же это: я принуждена на улице принимать милостыню – как нищие на паперти. Я поняла, что не только можно, но и должно принимать всякую помощь, что иначе я и не имею права. Оказалось, смирение и нищета идут всегда рядом, вместе. А горделивые свои

замашки и снобизм я спрятала в эту ночь далеко; я даже решила, что, если бы не Никита и его голодная, злая юность, хорошо иметь только кровать, стол, стул и две пустых корзины, ведь так можно долго жить, и удивительно легко!

... Уже под осень иду через мост; на панели весы, рядом мужик – взвешиваться стоит всего пятьдесят копеек... Становлюсь на весы – интересно, сколько потянет? Больше двух лет как не знаю, какой у меня вес. Оказывается – тридцать восемь килограммов, ну, да на мне шерстяной костюм и сапоги спортивные, еще парижские – значит, не больше тридцати шести... Недалеко до узника Бухенвальда! А если и еще так дальше, вдруг свалюсь и не встану? Чудный, прозрачный осенний день, мне холодно, страшно – значит я сама себя уже и не вижу!..

* * *

Но вот осень 1951 г.; правда, дрова запасены через завод, но денег нет; податься некуда, и я получаю от МВД через того же Мурзаева разрешение продать шерстяной отрез на мужской костюм, который тоже числился в описи при аресте. Долго отрез не залеживается, и я его продаю через ту же Александру Федоровну Романову – она снова ко мне повадилась, это уж, верно, по работе, или просто надеется, что есть еще у меня что продавать и что она поживится?..

Никита ведет со мной строгий разговор: "Купите на эти деньги пишущую машинку и будете печатать диссертации" – "Да ведь мы же погибаем, вот уж одно продали, другое – теперь этот отрез, а дальше что?" – "Ну, еще шуба моя осталась". Мы спорим полночи; я внезапно понимаю, что Никита не меньше меня встревожен, в ужасе – неужели ему не удастся доучиться? "Ну, как дальше, мама, как?" Иду на следующий день в канцелярию Пединститута, к милой секретарше Трегубовой; она качает головой – вряд ли это возможно. На пишущую машинку требуется разрешение (я этого не знала), да у многих в городе завелись трофейные – из Германии. "Да вот, – добавляет она, – пройдите к жене профессора Любищева, она стенограф и машинистка, все мужу печатает, она вам лучше посоветует". Я смущена, это неудобно; но Трегубова говорит: "Что вы, что вы, они чудные люди... Да вы скажите, что от меня".

Иду, тут недалеко – это тоже пединститутский Дом; до 1917 г. в нем было Епархиальное управление, а теперь, внизу громадная студенческая столовая, а наверху библиотека и рядом дверь – квартира Любищева. Долгие годы в этом доме размещалось ЧК Ульяновской области.

Дверь открывает пожилая женщина, но сразу выходит и сама Ольга Петровна Любищева: полная, одета в нарядный домашний халат – на вид лет пятьдесят пять; у нее ровная манера, да и картавит она по-петербургски, я быстро преодолеваю смущение и объясняю

ей, от кого к ней пришла и в чем дело. Она, видно, удивлена, но потом сразу понимает, что именно меня интересует. Покупать пишущую машинку, слегка подумав, не советует – просто нет смысла... – "Но вот вы ведь печатаете?" – "Ну, отвечает она, я жена профессора, заведующего в институте кафедрой, и вполне нормально, что мужу и его аспирантам печатаю работы, да и пишущая машинка у меня еще с фронта... Впрочем, вам и купить вряд ли удастся".

Раскланиваюсь, благодарю за совет – "Извините, что побеспокоила"... Она провожает меня до двери и внезапно спрашивает: "Простите, а как вас зовут, я что-то плохо расслышала?.." Отвечаю: "Меня зовут Нина Алексеевна Кривошеина" – "... Ох! Господи!" – и под это ее восклицание ухожу домой с тяжелым сердцем: нет, нам нет исхода, в голове все яснее стучит мысль – уж она не раз приходила – надо броситься в Волгу и обязательно с камнем, чтобы не было неравной борьбы с ледяной водой, чтобы поскорее... Ну, а Никита? Еще немного надо подождать, а ведь замерзает, уж не в прорубь же? А может обоим вместе? – Нет, на это у меня права нет, как-нибудь Никита выживет один...

Вечером все рассказываю Никите; он в полном отчаянии, но, главное, корит меня: "Мама, как же это вы незваная – к чужим людям? Ведь это ужасно – до чего мы дошли!" Подумаешь, какие уж тут приличия... Однако это тоже нелегко дается, так постепенно скользить под гору. На следующее утро ко мне в сени стучат –стоит полная, незнакомая особа, пожилая, круглолицая, одета более чем скромно – вечный серый советский берет на голове и темное осеннее пальто – говорит: "Я к вам по поводу уроков – вы ведь даете уроки французского и английского?" Ого, уж не подвох ли от фининспектора? Отнекиваюсь – нет, нет, это какая-то ошибка, никаких уроков не даю. Но она стоит упорно, не уходит и... глаза у нее серые, очень ласковые, да и все ее круглое лицо вдруг кажется таким хорошим... "Извините, – говорю, – кто вы?" – "Сестра Александра Александровича Любищева, вы ведь вчера у нас были, да меня, верно, не заметили. Я вот вам принесла сто рублей, это от Оленьки, от жены брата, в счет будущих уроков французского..." И она замолкает.

"Каких уроков? Об этом не было речи вчера, за что же эти деньги?" Но она сует мне сто рублей в руки, приговаривает: "Берите, берите, а то Оленька обидится. Да, я чуть не забыла, приходите к нам завтра, в воскресенье, обедать, ровно к двум часам, мы все вас ждем... Значит, до завтра". И она быстро уходит.

На следующий день вхожу в уже знакомый мне подъезд, поднимаюсь по старинной чугунной лестнице, но вхожу не в правую дверь (а я ее хорошо знаю, там две библиотекарши, и мы давно дружим, они мне второй год дают даром все учебники для Никиты, а я им перевожу заголовки и примечания к иностранным книгам). В этот раз звоню в дверь, где была позавчера "незваная", и сразу,

войдя, знакомлюсь с самим Любищевым. Меня уже ждут, стол накрыт. Из кухни выходит та дама, что вчера была у меня – ее зовут Любовь Александровна.

Все так просто, так приятно, снова по-человечески сесть за стол, беседовать с людьми на знакомом мне языке, быть в настоящей квартире... Но и люди чудные – каждый по-своему. Я понимаю, что они все про нас знают. Александр Александрович даже и упоминает, что вчера вечером "случайно" встретил Надежду Яковлевну – "Вы ведь с ней знакомы?" – "Как же, как же, но... сейчас редко встречаемся, это когда работала в Пединституте"...

Знакомство, а дальше дружба с Любищевыми сделались не сразу; первое время они ко мне присматривались, разбирались, что это за подстреленная птица влетела к ним, не постучав, в окно? Ну, это и понятно – иначе было бы неестественно, такое было время... А я? Я трудно сходилась с людьми, не то, что пуд соли вместе съесть, а, пожалуй, и побольше! Однако я поверила своей вечной примете: точно и ясно составить себе мнение о новом мне человеке при первом рукопожатии. Думаю, что никогда не обманулась. Все Любищевы мне сразу пришлись по душе; скоро это знакомство мне стало казаться естественным. А то, что я пошла к ним в дом не своей волей, со временем стало казаться событием особенным, чуть ли не сверхъестественным. Тут был брошен якорь, и судьба медленно, будто и нехотя, менялась, будто хотела стать милостивее...

*

Мне бы хотелось подробно написать про Александра Александровича, постараться воссоздать его образ... Какой он был приветливый, какой особый! Подчас смешной, веселый, чудачил охотно; любил показаться совсем простым, незатейливым; внезапно загорался, доказывал, грозно обличал и... весь преображался. Как он настойчиво и прилежно работал – это был основной стержень всей его жизни, он свою науку яростно защищал*.

Иногда Александр Александрович начинал сам расспрашивать про все, что я видела и пережила за 25 лет эмиграции и чего он не знал. Его интересовало все: люди, города, путешествия; особенно же война, участие Игоря Александровича в движении Сопротивления во Франции, мои хождения в Гестапо, оккупированный Париж, освобождение Парижа – он слушал внимательно, запоминал: про лекции Бердяева, про мать Марию, про балет Дягилева. А мне было приятно все ему рассказывать: про нашу жизнь в Париже, про моего отца, словом, многое из того, о чем я уже упоминала в этих записках.

---

*) см. *ВЕСТНИК РХД* № 133, 1980 г. – Н. Кривошеина: "Нежданные встречи в Ульяновске"

У Любищевых я часто встречала Надежду Яковлевну; иногда мы с ней вместе ходили в баню – там можно было спокойно поговорить: мы брали номер, и в нем, к счастью, стояла ванна, где я и мылась, положив в нее сперва чистую простыню, как это нарисовано на старинных французских эстампах! – Сесть на "лавку" и так мыться я никогда не решилась! Помимо Надежды Яковлевны были и многие другие друзья Любищевых, с которыми я более или менее близко у них познакомилась, так что я попала в круг людей образованных, и они, знакомясь со мной у Любищева, относились ко мне хорошо – однако, никто из них никогда ко мне в мою кухню не пришел.

*

Поздней осенью Никита поехал в Москву с целью добиться свидания с Игорем Александровичем – он прикопил немного денег из своих заработков, а ночевал в Москве у двоюродного брата Игоря Александровича, Геннадия Тимофеевича Карпова; это – один из пятидесяти кузенов, внуков Марии Федоровны Морозовой; был он музыкантом и преподавал в музыкальной школе имени Дунаевского; женился поздно, на провинциальной актрисе – дочке его Маше тогда было пять лет. В юности он был "лишенцем", доучиться по-настоящему не смог; отец его, Тимофей Геннадиевич, погиб в ссылке в начале революции, он жил в полном страхе всего, поэтому все хвалил и всем восторгался – это было принципом его существования; понемногу он стал алкоголиком... Так, видимо, ему было легче. Из всей обширной родни Игоря Александровича, проживавшей тогда постоянно в Москве, он один открыл нам двери, и Никита поехал к нему по следу Игоря Александровича, который еще зимой 1949 г. побывал в Москве в командировке и остановился именно у Геннадия; в ту пору Министерство Электростроения ласково принимало Игоря Александровича – его работу хвалили и обещали, что вот-вот, скоро, его переведут в Москву... Но вышло иначе, Игорь Александрович в Москву не попал, а оказался в знаменитом теперь Марфине под Москвой, о котором рассказал А. Солженицын в романе *В круге первом* .

Как только он туда попал, он смог нам написать и дать свой адрес: п/я 68, Московский почтамт. Никита решил, что он поедет к нему и добьется свидания с отцом. После нескольких дней мытарства по разным приемным Никита получил разрешение на свидание, о чем написал мне сразу же; вечером я пошла бросить ему письмо и зашла к Любищевым; все рассказала и уже торопилась уйти, как вдруг Александр Александрович меня остановил и крикнул вслед: "Скажите, фамилия Беклемишевы вам что-нибудь говорит?" – "Как же, это лучшие друзья всех Кривошеиных, особенно старших братьев Игоря Александровича – Олега и Васи, да и много лет они жили на даче рядом с ними в Лососно под Гродно... " – "Давайте,

давайте мне скорее письмо, я припишу Никите, чтобы он пошел к ним познакомиться, Владимир Николаевич так будет рад!.." Он быстро чиркает на моем письме, и я бегу опустить его... Думаю, что мой ответ был важен – пожалуй, до этого Любищевы не совсем были уверены, кем был отец Игоря Александровича, и кто же мы точно.

За день до отъезда из Москвы Никита успел зайти к Беклемишевым. Он вернулся полный рассказов про Кузнецкий мост, где тогда находилась приемная МВД, про Бутырку, где было свидание; про отца сказал, что тот выглядит неплохо, в посылках не нуждается, свидание шло в особом помещении, сидели через стол; вертухай, конечно, тут же рядом.

Уже после Нового Года Ольга Петровна предложила мне стать чтецом у двух слепых студентов Пединститута – они оба были на историческом факультете, о них заботился особо Амусин – платили они из своей особой скудной стипендии всего 200 рублей в месяц, работа же была страшно утомительная. Они приходили ко мне не менее пяти раз в неделю, и, бывало, я им читала с 6-ти дня до полуночи, а во время экзаменов и много больше того – ведь для них-то ночи не существовало!

Настя была сибирячкой, дочерью шофера на большом заводе; не знаю, когда она ослепла, кажется лет 6-ти. Лицо у нее было сплошь изрыто оспой, один глаз зажмурен, а второй широко раскрыт и с громадным бельмом; она, конечно, страдала от своего убожества; ходить одна так и не научилась, и даже в моей маленькой комнате ее приходилось за руку подводить к столу. Зато ума палата: блестящая память, понимала все с лету и буквально всем интересовалась. Отец еще в детстве возил ее в Одессу к знаменитому Филатову, но и тот ничего не смог сделать; однако остаток зрения в открытом глазу еще оставался: когда гасло электричество, она сразу замечала, тогда как Костя и этого не мог.

Костя был здешний, ульяновский, его отец работал на Володарском заводе на том берегу Волги, имел там казенную квартиру, – кроме Кости было еще пять человек детей – младшему было два года. Про то, как он ослеп, стоит рассказать: мать его была женой младшего сына в большой крестьянской семье, все жили вместе, неделенные. Жены старших сыновей, золовки (почему-то всегда злые и в сказках, и в жизни), помыкали ею, держали ее в черном теле. Косте было года полтора, когда в конце июня разразилась гроза и на лестнице ветром выбило окно. Старшая золовка велела ей подобрать битое стекло и вымыть лестницу. "Ты хоть мальчонку-то возьми, а то как мне тут с ним" – "Ничего, – грубо ответила та, – небось и с мальчонком управишься"... И пошла к себе наверх. Шура – Костина мать – принесла тряпки, швабры, ведро с водой и начала уборку, а Костя начал карабкаться вверх по лестнице, споткнулся и упал лицом вниз; в правой руке у него был зажат

длинный осколок от разбитого окна – он упал на руку, и осколок вырезал ему правый глаз. Шура плакала, золовки кричали и упрекали ее, но потом успокоились. Наступил сентябрь, Шура пошла в огород собирать помидоры на соленье, у Кости был маленький складной стульчик, и она его посадила недалеко от себя, но вдруг из соседнего огорода выскочил пятилетний мальчик и принялся прыгать вокруг маленького Кости, пританцовывая и крича: "Калека, урод, безглазый!" – все, что слышал дома от старших. Он подскочил к Косте, держа в руке острую палочку для подвязывания помидоров. Внезапно он бросился вперед с криком: "Вот, на тебе, на тебе!" – и этой палочкой со всей силы выколол Косте здоровый глаз.

Когда Шура мне это рассказывала, она всегда плакала: как же это, хороший, здоровый мальчик и вот так за лето ослеп?! За что же это? Ответа не было. По праздникам Шура, возвращаясь домой из церкви, заходила в буфет, один, другой – дома у них никто не пил, муж не позволял, ну, а когда одна в городе... Трудно было удержаться.

Чтение слепым продолжалось до 1954 г. – кроме, конечно, летних каникул. Удивительно ловко Настя записывала по Брайлю, а раз записав, все помнила наизусть. На третьем курсе она готовила курсовую работу на тему "Экономическая жизнь в Греции по произведениям Ксенофонта", "О Пунических войнах" и "Отступление десяти тысяч" – так я и узнала основательно Ксенофонта, дважды прочитав все его произведения Насте вслух! На Настин доклад собралась полная аудитория, пришли, конечно, и Амусин, и Любищев – бедная Настя так дрожала от волнения, что ей пришлось руками вцепиться в стол, чтобы начать доклад... Она, несомненно, могла бы стать талантливым историком, но... кто мог ей помочь дальше развиваться и работать? На вторую зиму, что слепые ко мне ходили, как-то Настя мне пожаловалась, что у ней очень сильно болит голова и тошнота; я немедленно их отправила домой в общежитие с тем, чтобы Костя сразу вызвал Скорую помощь.

Ее увезли в больницу; той же ночью у нее лопнул глаз, который еще был открыт, и тоже закрылся. Настя была в отчаянии, хотела покончить самоубийством; я вызвала к себе Амусина, который страшно взволновался; пошла сама в общежитие к девочкам, с которыми она делила тесную комнату. Костя, конечно, следил за ней неотступно. Он был не очень-то замысловатым, Костя, но, никогда не знав света и солнца, не был ни озлоблен, ни надорван и судьбу свою нес легче. Он ходил с легкой светлой палкой, никогда не опуская ее на землю, – нес перед собой, как антенну. Ни разу в жизни он не споткнулся, не задел кого-нибудь на улице – казалось, он ходит лучше зрячих. Я читала Насте много больше, нежели ему, и тогда он шел во двор и колол мне дрова, разбивая аккуратно, с точностью до миллиметра, бревно на четыре части; или чинил мне электрическую плиту, и отлично умел чинить. Со временем я начала

им давать во время чтения паузы минут на пятнадцать-двадцать, чтобы они отдохнули, и читала им что-нибудь занимательное. Что им нравилось? – Ну, *Двенадцать стульев* совсем не нравились, не смешили их, та эпоха им была просто незнакома. Еще хуже был провал с пьесами Козьмы Пруткова – язык непонятный. Зато неожиданно веселые новеллы *Декамерона* их искренне потешали; Костя хохотал, хлопал себя по ляжкам, захлебывался – некоторые новеллы я им читала по два раза; но лучше всего, по-настоящему, нравились им старинные французские сказки, книжка сказок в издании *Bibliothèque Rose* случайно попала ко мне от Екатерины Николаевны, и я им читала, переводя прямо с текста; они оба замирали, расспрашивали, обсуждали: а это разве возможно, а каков замок – большой, каменный, а почему принцесса сразу не поняла, что он ее любит, что он добрый?! Лучше всех нравилась сказка про Белую Кошечку (*La Chatte blanche*) – верно, они ее на всю жизнь наизусть запомнили. Не раз приходили они ко мне в воскресенье днем послушать радио, особенно если шла вечная постановка *Стакан Воды* Скриба из Малого Театра, запись, которой уже тогда было много лет.

Они были ужасно недоверчивы, все прислушивались – не скоро я удостоилась их полного доверия, настолько даже, что Настя стала оставлять зимой у меня в сенях пакеты с провизией из Сибири, от родителей... Они оба понемногу курили, что для слепых редко – они ведь лишены всего обряда закуривания, не видят даже маленького огонька спички. Костя был разговорчивее и, садясь, ежедневно говорил мне: "Вот я вам скажу, Нина Алексеевна, какой я сон сегодня ночью видел! Просто удивительный сон!"... Как знать, что это были за образы? – Никак он не мог толково рассказать про эти сны.

По окончании Пединститута Костя и Настя поженились; сперва они получили назначение в большое село Ульяновской области, но вскоре их перевели назад в город, и они поселились вместе с Костиной семьей – без присмотра и ухода они не могли провести и дня! Они мне долгие годы посылали милые письма, оба научились писать крупными печатными буквами, преподавали Древнюю историю в местной средней школе Володарского района – конечно, на этих уроках всегда присутствовали воспитательницы, а то весь класс играл в крестики или в гуся, а отвечали урок на "отлично" – два-три ученика готовили уроки поочереди...

У Насти с Костей родилось четыре сына, все с отличным, нормальным зрением – они все жили очень дружно.

*

Весной 1952 я сама себе устроила "замену" в Городском Саду имени Свердлова, и целое лето там проработала кассиром на аттракционах; тут были Гигантские шаги, комната смеха (кривые зеркала), биллиарды и, самое главное, тир; я приходила к шести часам вечера,

получала в конторе от старшей кассирши книжку с билетами и садилась в сторожевую будку с маленьким окошечком. Домой возвращалась после часа ночи, после того, как приедет за выручкой инкассатор, окруженный вооруженной стражей. До чего было жутко одной бежать домой! На гигантской площади Ленина еще было ничего — в двух концах ее стояли конные милиционеры, но когда свернешь с площади на пустую и безмолвную улицу — сердце сразу обмирало. Идти было минут десять, и вдруг — шаги за спиной, трудно было не побежать... Но я не позволяла себе и шла размеренно. Кроме ключа и платка у меня с собой никогда ничего не было, но ведь шпана этого не знала. Хуже всего было в нашем темном тупике, который освещался только фонарем во дворе фабрики КИМ в бывшей Ильинской церкви — открыть калитку, а вдруг там поджидают... И тут с громким приветствием мне вскакивал на ногу мой друг Васька, он часто меня ждал у сеней, и мы вместе входили с ним в мою комнату — скорей, скорей замок. Васька кидается к своей чашке, где для него всегда свежая вода и быстро, мелко лакает.

Свердловский Парк Культуры

Таково было официальное название этого парка, старинного, шедшего уступами вниз к Волге, со скамейками, беседками, валунами и пресловутой танцплощадкой, где происходили внезапные и жестокие побоища между курсантами Первого Танкового и будущими летчиками из Авиационной школы.

Директором этого парка стал бывший директор Кукольного театра; я его немного знала — в этом театре оформлением ведала жена доктора Провальского, и я иногда к ней в театр заходила — в парке, перед самым открытием, заболела кассирша, и он через Провальскую предложил мне поработать, пока та не выйдет из больницы.

Открытие намечено было на 1-ое мая, а до этого все служащие плюс сторожа и сторожихи должны были приходить по утрам расчищать дорожки и беседки — что ж, я тоже пошла, и оказалось, что это очень тяжелая физическая работа: вырывать сорняки, выгребать из полумерзлой земли камни на дорожках. Я пыталась делать как все; заложив руки в брюки, за мной присматривал молодой и весьма занозистый ЗАМ, т.е. заместитель директора. Я сразу поняла, что настоящий хозяин — он, директора менялись, а он сидел крепко, и жена его тоже. На третье утро у меня случился резкий сердечный припадок — приходилось все утро нагибаться, тащить корзины

с торфом, переставлять опрокинутые скамейки... ЗАМ посмотрел на меня, вздохнул и сказал: "Уходите лучше домой, сами понимаете, это не по вам работа, приходите тридцатого днем", – и я с трудом доплелась до дома глотать валидол. Это было очень трудное лето: Никита ушел с завода после 1-го января и целыми днями зубрил к выпускным экзаменам; он твердо решил уехать в Москву и там пытаться поступить... на исторический факультет. Я всячески его убеждала, что лучше куда угодно, только не на исторический – его туда никто не примет... Утром я готовила ему какой-то обед, а потом к пяти шла в Парк; состояние у меня было совсем неважное, я курила все больше и ела все меньше, страх остаться одной меня томил... А в Парке все уж было готово, и развешивались на громадных полотнах лозунги – я пришла к открытию 1-го мая пораньше, и в конторе пропагандистка, отставляя пальчики, угодливо показывала директору избранные ею надписи: "Вот тут, справа от входа, у нас будут слова товарища Кагановича, а слева изречение товарища Берия... Вы, надеюсь, одобряете? Это уж окончательная редакция?!" Директор одобрительно мычал, и дюжие молодцы несли приколачивать полотна с лозунгами вокруг входа. Я посмеялась над этими тщетными усилиями любви; с утра температура была +1°, а к двенадцати уже стало –2°, пошел снежок, а дальше и просто повалил густой снег... Однако открытие – значит открытие, все пошли по своим местам, сторожа, уборщицы, кассирши встали у входа; вдоль главной аллеи по обе стороны росли могучие кусты сирени; сразу открыли торговлю: четыре киоска с водкой и закуской, ресторан в середине Парка начал продажу чудного Мелехесского пива, и я, раба Божия, получив в конторе книжку с отрывными билетами, забралась в свою будку около самого тира и... застыла там – холод в будке был непереносимый, и закуталась я, конечно, недостаточно. Подошел ко мне заведующий ружьями и патронами для стрельбы – оказался угрюмый мужчина, впрочем, мы со временем с ним подружились; прибежала от Гигантских шагов прелестная Валя, женщина лет 30-ти, изящная, белокурая, с детской улыбкой, синими глазами, всегда милая ко мне и приветливая; зашел ко мне и сам ЗАМ: все ли в порядке?? – Да, да, как будто. Но ни водка, ни даже пиво (пиво в Ульяновске было совсем редкостью) не прельстили жителей Ульяновска и, кроме двух-трех мальчишек, перелезших через забор, никто в парк на открытие не пришел...

Парк снова открыли через неделю, и тут не только стало теплее, а сразу наступила ужасная жара, и я в своей будке задыхалась, растворяла дверь – что было совсем непростительно, ведь любой юный хулиган (а они около злосчастных "аттракционов" толкались вплоть до позднего вечера) мог подбежать и выхватить у меня деньги. Дней через пять-шесть, в воскресенье, когда Парк был открыт целый день, часов около 11-ти утра ко мне подошел ЗАМ и положил через окошко на мою тетрадь с билетами какие-то бумажки.

Я совсем не поняла, что это, но, взяв одну в руки, увидела, что это оторванные билеты, уже проданные... Испугавшись, что я делаю что-то не так, я его спросила: "Это откуда же билеты? Они не мои – вот, посмотрите: у меня все в порядке". Он наклонился к окошечку и тихонько стал говорить: "Дело такое, у нас в кассе дефицит, вот вы, как подойдут, делайте вид, что отрываете эти билеты от корешка... ну, а деньги потом мне отдадите. Не волнуйтесь – я рядом постою, я ведь всех в лицо знаю..." После долгого молчания я, наконец, поняла, в чем дело, и ответила также тихо: "Вы, верно, понимаете, что это деньги казенные, и что за это можно десять лет получить?..." Он нахмурился, пожал плечами и... спокойно стал поодаль. У меня не хватило воли устроить ему скандал, или просто эти бумажечки вторично не продавать...

Однако никогда больше он ко мне с такими просьбами не обращался – и без меня было достаточно своих верных работников! Я приходила домой без сил, почти ничего не евши целый день, выпивала несколько чашек чая и... курила. А Никита уж спал, да у него в конце мая начались экзамены. К Любищевым я в это время заходила редко, но кое-что им рассказывала про Парк так называемой Культуры, где на моих глазах погибло немало молодежи... А как они гибли? Да ужасно просто: погуляв или даже потанцевав на площадке, шли к буфетам – а там водка или пиво... Пиво в жару, пожалуй, еще хуже... Так закладывали раз, другой и... сразу, из-за слова, из-за любой глупости начинались дикие драки – с криком, с глухим битьем. Милиция не дремала – всех в холодную, и протокольчик. Перед закрытием Парка всех в закрытой машине отвозили из холодной в милицию – и каждый получал два года "принудработ". Иногда тут были совсем юные, еще неопытные по питьевому делу; так за лето и набиралось немало здоровых работников на лесоповал. Это я быстро поняла: на первом же производственном собрании, после всяких казенных и благополучных высказываний, я встала и попросила у директора слова – он повел бровями от удивления; ведь я была временным работником, в штате не числилась... Однако вежливо сказал: "Пожалуйста, что хотите сказать?" И тут я услыхала свой голос, который звонко спрашивал: "Нельзя ли закрыть в Парке торговлю водкой? Из-за этого молодежь дуреет, идут драки, ну, и вообще... лучше, чтобы пьяных было поменьше, особенно в выходные... ведь на них жалко смотреть". Старшая кассирша, сидевшая рядом со мной, тянула меня за руку и шепотом твердила мне: "Садись, дура, садись, с ума сошла. Да замолчи же, вот дура, Господи!" Я, как начала, столь же неожиданно для себя умолкла, сев на скамейку (дело было в саду)... А директор, мягко и вежливо посмеиваясь, отвечал: "Буфеты держит не Парк, а гостиница Россия, вот к директору гостиницы и обратитесь, а я вполне с вами согласен и сочувствую".

За моей будкой, под деревьями, ставили два небольших биллиарда; на них играли больше всего ученики старших классов — многих из них я знала, и всякий неудачный удар сопровождался отборной бранью. Ни одного слова эти юноши не могли произнести без этих кратких и выразительных слов; правда, и вообще-то на улицах города царили те же слова: что и говорить, сильный русский язык! Но ведь эти ребята учились в школе, читали что-то... В 1953-54 г. "матерщина" звучала все больше и чаще — или это я прежде не замечала?

Несколько слов про Валю. У нее, оказалось, было два сына, первый — лет одиннадцати, от мужа, погибшего на войне, второй — всего трех лет, и ей было с ним очень трудно: оставлять его было не с кем, а из одиннадцатилетнего трудно сделать няньку. Как-то посреди лета она, очень озабоченная, подошла к моему окошку (я продавала билеты и на Гигантские шаги, у которых она стояла) и попросила, не могу ли я попасти младшего мальчика часа два-три? Увы, мне это было невозможно, вся касса была в моих руках, и оставить ей деньги я не имела права; но я, подумав, предложила, что сбегаю в контору — может быть кто из сторожих и согласится? Закрыла будку, деньги взяла в свою сумку и побежала в контору... А там как раз собралось несколько сторожих — тетя Маша, тетя Варя, еще кто-то; сидели и судачили с главной кассиршей парка, молодой особой, очень неглупой, деловой и вполне приятной. Я спросила, не может ли кто-нибудь присмотреть за Валиным мальчиком? Воцарилось молчание, столь долгое, что я даже подумала, что меня не поняли, и повторила, что... но тут тетя Маша, женщина всеми уважаемая, шеф всех сторожих, работавшая в Парке годами, — словом, местный авторитет — закричала: "Ты что ж думаешь, мы этой проститутке мальчонка пасти будем? — Тьфу! Что придумала! И как язык-то ворочается?!" Тут, однако, и я взорвалась: "Почему вы Валю так называете? Она честно работает, всегда аккуратная, вежливая — как вы смеете про нее говорить "проститутка"! Как вам не стыдно?!" Тут поднялся общий гомон, и все Валю ругали... Я молчала, наконец все же возразила, сказав то, что обычно говорят: "Ну, мальчик-то ведь тут неприччем!" — "Ох, да что же это! — крикнула тетя Маша, — да ведь он с красной чертой, не понимаешь, что ли?" Я не только не понимала, но даже растерялась — что это, болезнь такая — "красная черта"? И где же она у мальчика — на лице, на теле? Наконец, спросила: "Да где же она, эта черта? Это что, заразное, что ли?" Последовал общий взрыв хохота, и тетя Маша, уж совсем давясь, выкрикивала: "Господи! Да что же это за женщина? Где черта?! — Да на метрике, небось!" Я была потрясена: "И что же, большая черта?" — "Ясно, большая, — уж совсем торжествуя, объяснила тетя Маша, — прямо с одного угла в другой, насквозь, да в палец шириной!"

Такая метрика "с красной чертой" поразила мое воображение: это казалось непостижимым... Я стала всюду осторожно расспра-

шивать, да, да все было так, и вплоть до последних лет властвования Хрущева обязательно выдавалась такая метрика с красной чертой из угла в угол для внебрачных детей! Словом, в Свердловском Саду можно было многое узнать и понять, понять, почему люди такие жестокие... Действительно, было от чего. Тетя Маша была не злее других, только язык у нее был лихо подвешен, и на все у нее был ответ; да и в тот день именно она пошла "пасти" Валиного мальчика.

В Парке Культуры бывали на открытой сцене концерты, плясали "народные ансамбли", иные вечера народ валил валом – ведь ничего другого летом не было – а зимой был открыт театр, где ставили пьесы Островского и Горького, но там обычно было мало зрителей – уж очень нудно играли.

За это лето, наблюдая жизнь из "будки", я узнала одного мальчика – ему на вид было лет четырнадцать, но он клялся, что ему уже шестнадцать... Звали его Богдан, и он появился перед моим окошечком еще в день открытия – заглянул и сказал: "Тетенька, дайте билетик на стрельбу". С этого началось, а потом он стал появляться все чаще, иногда и поздно ночью. "Сколько тебе лет? – корила я его. Ведь ты в этот час один не имеешь права быть в Парке!" Но он клялся, что ему шестнадцать, а, главное, всегда просил покурить.

Нет, я ему ни разу не дала папиросы, а изредка все же "билетик пострелять" давала, и честно клала в кассу свой рубль. Он иногда пытался меня расспрашивать, где я живу, еще что-то; но я отвечала уклончиво; как-то он ко мне пристал, и я ему сказала: "Больно ты любопытный – если бы хорошо жила, не сидела бы здесь до часу ночи – ты думаешь, это легко? Да и домой идти страшно". Он одно время исчез, я думала, его выгнали из Парка, но дней через десять вдруг как из-под земли вырос перед моим окошечком: "А вот и я". Я даже обрадовалась, увидев его уже знакомое, сильно азиатское лицо... Понемногу я стала замечать, что, когда я ночью выходила из Парка, за моей спиной раздавался особый, условный посвист, заворачивала на улицу Труда опять свист, так иногда до нашего тупика. Становилось невыносимо страшно... В черной безмолвной тишине раскаленного города этот свист меня с ума сводил.

Парк Свердлова закрылся 25-го сентября, а в конце августа были ограблены четыре киоска, торговавшие водкой и закуской на главной аллее; на пятом киоске милиция поймала взломщиков – это были знакомые мне юные игроки на биллиарде, а среди них и мой дружок Богдан. Подробности этого дела я, конечно, узнала много позже. Больше всех пострадал Богдан, он был самый молодой, и его допрашивали первым. Что мог сделать такой юный мальчик? – Ясно, он назвал всех участников... Их всех, человек тридцать, судил трибунал малолетних, процесс длился долго, и всех приговорили к двум годам исправительной колонии. Они долгое время сидели вместе в одной громадной комнате... Что там творилось... ужасно!

Про Богдана эти молодчики быстро узнали, что он раскололся, и в отместку выжгли ему папиросами вечное пятно на лбу, так, чтобы уж куда бы в лагерь не попал, все бы сразу знали, что он доносчик. Сажали его на раскаленную печку, которая отапливала это громадное помещение, да и всякие другие виды мучения, обычные в преступной среде применяли... (Его мать действительно была проституткой, и каждую ночь Богдан принужден был гулять на улице до 3-х, 4-х часов утра...) Наконец, уже осенью 1953 г. всю эту компанию повезли на вокзал для посадки в теплушку, и далее, по этапу – но... внезапно на платформе появился комендант города Ульяновска, всех выстроил в ряд и торжественно прочел им текст "Ворошиловской Амнистии", поздравил их с волей и милостью...

Они трижды прокричали "Ура!" и вернулись по домам. Родители встретили их без особой радости, а некоторых отцы и просто не пустили в дом.

Много позже я встретила Богдана на улице – он был бледный, угрюмый, вырос за это время; отвечал нехотя, односложно; потом вдруг сказал: "А помните Парк Свердловский? – и, помолчав, – ведь свистел-то тогда я, у нас уговор был, чтобы вас не трогать и не пугать". Он криво ухмыльнулся и, не попрощавшись, пошел дальше...

*

В июле 1952г., после выпускного акта Вечерней школы, Никита уехал ночным поездом в Москву, прихватив с собой тощий чемоданчик. Сказал, что в Ульяновске, постылом и ненавистном, ни за что не останется; что ехать учиться в Казань, где у нас были близкие друзья, тожс нс хочст, одним словом – "в Москву, в Москву!", и это – не теряя минуты, чтобы в случае неудачи еще попасть учиться в какой-либо другой город, хотя бы в ту же Казань.

Поездка в Москву для свидания с Игорем Александровичем

Никита с большим трудом устроил свою судьбу в Москве. Сперва он жил у Штранге, где у него был диван в столовой и утром чашка кофе с куском хлеба – весь день он блукал по городу и старался подготовить себе поступление в какой-нибудь ВУЗ – экзамены начинались в августе. Как-то утром он увидел, что остается тридцать копеек и, внезапно решившись, пошел в Издательство Иностранной Литературы и спросил, нельзя ли получить переводы на французский или с французского? Так вышло, что он сумел пробиться к самому заведующему французской редакцией Кристаловскому; тот понял,

что Никита прекрасно знает французский и велел ему прийти вечером, а вечером дал небольшой перевод.

Вскоре последовал и второй заказ. Никита, бегая по всем учебным заведениям, ночью делал переводы и так прожил до экзаменов в августе. Но получилось все, как и можно было ожидать: его всюду ждал отказ. – "Вы сами понимаете, молодой человек, ввиду положения вашего отца – мы вас принять не можем" ! В последний день приема бумаг он с отчаяния пошел в Институт Иностранных языков на Маросейке и там, опять получив отказ от директора Пивоваровой, учинил дикий скандал, кричал, что она не имеет права, бил кулаками по столу и, встав, заявил, что идет подавать на нее жалобу в ЦК. И вдруг она согласилась, приняла от Никиты бумаги и сказала ему: "Ну, подожди, щенок, ты уж больно прыткий, а вот как будет распределение на работу после окончания – я тебе такое дам направление, куда Макар и телят не гонял!!"

Так Никита попал на Французское отделение студентом, что было полной нелепицей – ясно, что он знал язык несравненно лучше всех тогдашних преподавателей. Сперва он поселился за городом у сварливой родственницы Беклемишевых – вставал в пять утра, почти ничего целый день не ел, и затемно вернувшись, валился спать. Наконец он не выдержал и пошел в Переселенческий отдел, к Пронину (я про него мельком уж писала – он был приятнее и человечнее нежели его провинциальные подчиненные, вроде Веры Григорьевны Золиновой), и тот быстро устроил Никиту в общежитие Института, в Петроверигском переулке. Началась нормальная жизнь студента, живущего на скудную стипендию. Таких, как Никита, было немало, однако большинство студентов хоть малую толику все же получали ежемесячно из дому.

В начале октября 1952 г. Никита мне написал, чтобы я все сделала, чтобы приехать в Москву и добиться свидания с Игорем Александровичем: после приговора я имела право на такое свидание, а в свое время его не получила. Вскоре пришло письмо от Владимира Николаевича Беклемишева; он писал, что если бы я надумала приехать в Москву, то их дом – мой дом, могу у них прожить сколько понадобится. Письмо было самое дружеское; я пошла к Любищевым его показать и... неожиданно, вдруг решила, что поеду. Такая поездка была явлением, казалось бы, простым, но меня это тогда потрясло, что вот я... и поеду в Москву! Провинциальная рутина и меня затянула, и горизонт мой ограничивался хождением к Любищевым, чтением слепым и сидением в моей мрачной хибарке за Ильинским Собором...

Билет в общий вагон мне купили Любищевы; я, конечно, предупредила Беклемишевых о своем приезде, и вот вечером, часов в одиннадцать, очутилась в вагоне, а платформа вокзала была буквально запружена ульяновскими барышнями, провожавшими целый выпуск молодых офицеров из Первого Танкового училища: слезы,

песни, цветы, бокалы шампанского. Так случилось, что полковник, сопровождающий весь этот выпуск до места первой службы – на чехословацкую границу, в местечко Чоп, сидел напротив меня, и все эти юные курсанты, только сегодня днем произведенные в первый чин, прибегали к нему из соседнего вагона, дежурные что-то ему докладывали – словом, этот отъезд оказался веселым. Кругом меня в вагоне все были возбужденные молодые лица, поразительно вежливый полковник, который стал меня занимать разговором почти салонного типа... Я уехала в Москву на свидание в тюрьме под крики: ”Ура, ура! – Пишите!” У всех моих спутников в вагоне были умильные и, казалось, славные лица. ”Эх, полковник, а вы и не знаете, зачем я еду...” – ”Зачем?” – ”Да вот сын студент, еду его навестить...” – ”А, это хорошо, что студент; ах, чудесная у нас молодежь!”

Так я еду незаметно и даже в отличном расположении духа в Москву; Никита меня встречает на Казанском вокзале. Огромный, украшенный фресками Лансере зал набит, как улей; всюду люди, авоськи, солдатские лари, одеяла в ремнях – гомон, шум, крики, милиционеры снуют между скамьями, кого-то у меня на глазах тащат. Толстая баба в вязаном платке на голове и в ватнике, надрываясь, орет, что вот этот сейчас ее обокрал; дети спят повсюду, на руках, на лавках... Никита говорит: ”Это всегда здесь так, идем, идем, нам еще далеко до Сокола”; и правда, путь в метро далекий, но вот и Сокол, а тут за углом Первая Песчаная, дом 3, квартира 100; дом громадный, с большим внутренним двором; внизу парадной сидит суровая вахтерша; подымаемся на лифте на пятый этаж, и дверь нам открывает сам Владимир Николаевич; видно, он уже нас ждет...

Он громадного роста, седой, статный, красивое лицо, манеры и говор вельможи – неужели такие люди еще остались?! Он держит адресованную мне краткую приветственную речь, потом, помолчав, добавляет со смешком: ”Предупреждаю: пока вы у нас, меня во всем слушаться, я ведь для вас старший в роде, как вы знаете и как подтверждает сам Ключевский”. Выходит его жена, милейшая Нина Петровна (про нее особо знаю от Любищева, он ее просто боготворит, говорит, ”такой второй женщины на свете нет”). А в столовой ждут сыновья Беклемишева Тин и Митя – старшему двадцать пять лет, младшему года двадцать два. Они оба еще много выше, нежели отец, и я внезапно конфужусь, проклинаю свой маленький рост. Садимся ужинать за круглый стол в большой столовой – все чинно, но не натянуто, все вкусно, все отлично приготовлено и красиво подано домработницей, словом – ”все, как у людей”... Тут у них еще живет дальняя родственница, Александра Николаевна Любимова – старая девица, когда-то близко знавшая всех Кривошеиных, из них особенно любила и знала она Ирину, старшую вдовую сестру Игоря Александровича. (Ирина давно скончалась, я ее не знала, а, видно, она была и умная, и добрая. Но... когда-нибудь про Ирину особо).

В свободное время я гуляла по Москве, по улице Горького, по Арбату, да и по Ленинградскому проспекту тоже. И вокруг дома на Песчаной. После грязных улиц и жалких витрин Ульяновска Москва казалась каким-то высшим достижением шика и *prosperity*: я любовалась бесконечными сортами хлеба у Филиппова, входила внутрь — нанюхаться чудным ароматом хорошо выпеченного теста, подробно изучала витрину небольшого продуктового магазина неподалеку от дома Беклемишевых — а там была всякая всячина: семга, икра, судаки, фрукты, вина и даже несколько бутылок лучшего оливкового масла! Я была потрясена — значит, это только в Ульяновске ничего нет? Контраст был ошеломляющий.

Поразительная была атмосфера в этом доме — главным образом исходила она от самого Владимира Николаевича — а он вполне мог внушить некий трепет; его беседа за ранним ужином велась будто и в обыденном тоне — однако его природная и незаметная вежливость прекрасно воспитанного человека, его полная осведомленность во всех областях жизни, будь то биология, литература или живопись — делали очевидным, что говорит он не только иначе, чем все остальные, сидевшие за столом, а и в одному ему присущем высшем регистре. При том, что знаменит он был работами по борьбе с малярией, он был из тех русских образованных бар-либералов, которые, казалось, все читали, всем интересовались, про любой предмет могли говорить авторитетно и увлекательно — думаю, век их кончился уж лет пятнадцать тому назад, эдак в 1965-70 гг.

В Беклемишевском доме все протекало чинно, без ухабов — казалось, ничто из окружающего в их обиход не проникало; а ведь они все четверо по мере сил и таланта работали усердно и с увлечением — и в том мире, вне квартиры, то одному, то другому приходилось преодолевать серьезные препятствия.

Конечно, можно сказать, что талант В.Н. все же был оценен: был он членом Академии Наук, имел ордена — два ордена Ленина, еще какие-то советские, два высоких ордена персидских; их мне показывала Нина Петровна и объясняла, когда и за что Владимир Николаевич их получил.

Персидские ордена были тоже связаны с борьбой против малярии; в 1942 г. Владимир Николаевич был командирован Советским правительством в Иран (Персию тогда) с научной задачей и имел при себе некую "буллу", дававшую ему диктаторские права — т.е. он мог входить в любой дом, в мечети, в бани, в частные поместья — и там искать очаги комаров; ему была дана стража, конвой — не то черкесы, не то казаки.

Все, кто бывал у Беклемишевых, — а это все были ученые (их дом был кооперативный — Дом Ученых, первый кооперативный дом вообще в Москве, только что отстроенный архитектором В. Афанасьевым), и все их соседи собирали "чагу"; это было всеобщее увлечение: наросты на осинах и березах будто бы излечивали рак. Даже

Беклемишев искал чагу вокруг своей дачи в лесу. Все сушили чагу, делали опыты, как ее заваривать, сколько пить…

Погода стояла неплохая, сухая, не очень холодная. Как-то я заметила небольшой зеленый переулочек, вроде аллеи, там стояли лари и торговали всякой ерундой. Я решила разориться – до того у меня было твердое решение ничего себе в Москве не покупать – к чему мне было? – Но тут купила ваксу, черную и коричневую, шнурки для ботинок и, кажется, несколько мотков штопки; прошла еще подальше, и внезапно зеленая аллея открылась, тут была небольшая площадь, и с левой руки выросла передо мной чудесная ярко-белая церковь; было около шести вечера, шла вечерня; на ступеньках сидели нищие.

Я была поражена: так близко от громадных домов, магазинов, троллейбусов – и такая очаровательная церковь, а у Беклемишевых мне никто про нее не рассказал…

Я вошла в церковь, все внутри было в отличном виде, стиль постройки, лепки алтаря – все было позднего рококо, золото так и сияло на ярко-синем фоне; молящихся было довольно много. Я побыла почти до конца вечерни, но, боясь опоздать к ужину, вышла; старая нищенка молча протянула руку, я ей положила какую-то монету, она внезапно схватила меня за рукав и как-то очень быстро проговорила: "А ты не тужи, не бойся – вернется, вот увидишь, сбудется…" Конечно, в эти годы это чуть ли не безошибочно можно было пожелать почти любой женщине, но я испугалась внезапности и резкости ее слов и скорей побежала на Песчаную… Я потом еще несколько раз заходила в эту церковь; у Беклемишевых я узнала, что это "Багратионовская церковь". Ее собирались в шестидесятые годы, при Хрущеве, отдать на слом, но ее отстояли.

На Кузнецкий Мост мы почему-то пошли не сразу, а через день после моего приезда; особенного впечатления эта Приемная в памяти не оставила. Сперва ждали в обширном помещении, где были такие же люди, как в Ульяновске. Какие-то старушки в бесцветно-скудной одежде, мужчина средних лет сидел неподвижно, будто больной… Мы с Никитой мало себя проявляли, как и прочие "чающие". Но вот наш черед; в сравнительно небольшом кабинете нас принял очередной полковник – сперва не хотел обещать свидания, все повторял: "У вас нет вызова", – Никита убеждал полковника, что свидание после приговора является законным, и что в свое время я его не получила. Это обсуждение длилось минут десять – полковник куда-то уходил внутрь здания, но, вернувшись, твердил все то же. Наконец он умолк, давая понять, что пора уходить. Но теперь я тоже подала голос и, не торопясь, объяснила полковнику, что живу в Ульяновске, что специально для свидания с мужем приехала в Москву, а это очень дорого, денег нет, и пришлось взять взаймы, и что же? Почему он мне отказывает? Полковник взял мое прошение и мрачно заявил: "Ждите, ответ будет не раньше, чем через неделю, ничего не обещаю".

Ответ пришел через десять дней, и там было сказано: "Свидание завтра в Бутырской тюрьме, явиться ровно к 10-ти часам утра". Перед выездом из дому глотаю чашку горячего чая, Нина Петровна сует мне в сумочку коробку сахара, пропитанного валидолом, мы с Никитой едем в метро. Станция Новослободская...

Входим в старинное здание тюрьмы, просмотр бумаг – проходите. Направо от входа большая комната – светлая, громадное окно с тяжелой чугунной решеткой; вдоль стены, под окном и до входной двери – скамейки – тут уже много народа, почти полно, но мы находим себе место под окном. В глубине помещения, слева, установлены решетки, через которые происходят свидания, – а в правой стене, в глубине – оконце, из него дежурный выкликает фамилии; ему и надо отдать вызов на свидание. Из окошка голос говорит: "Ждите". Сажусь опять рядом с Никитой.

Через полчаса торопливо входит молодая женщина, с ней девочка лет пяти – они обе вклиниваются рядом с нами на скамейку; молодая дама, очень приятная на вид, идет к дальнему окошку и дает там какую-то бумагу, ведет переговоры с вертухаем и опять садится рядом со мной; но вот справа от длинной скамейки, на которой мы все сидим, внезапно открывается малюсенькое оконце – я его раньше просто не заметила; внутри кто-то стучит пальцем по деревянной раме и вызывает кого-то; молодая дама встает, вынимает из сумки паспорт и делает шаг по направлению к оконцу – но внезапно девочка прыжком следует за матерью и дико, нелепо, громко кричит, захлебываясь от страха и волнения и складывая молитвенно руки: "Мама, ма-а-а-ма!! Не давай *им* паспорта, не давай, не давай, *они* не отдадут, мама, мама! Не давай, не давай!"

Бедная мама, бедные мы! Мать старается ее успокоить, говорит не очень громко, но так, чтобы все слышали, ведь ее ответ и служащие слышат: "Нет, нет, Наташенька, не бойся, ничего не будет, паспорт отдадут, вот ты сама увидишь, не бойся, не бойся".

Она усаживает девочку назад на скамейку, подходит к тому малюсенькому окошечку, куда с трудом проходит рука, просовывает паспорт. Оттуда голос тихо произносит: "Положите сто рублей". Сто рублей у ней зажаты в руке, и она их продвигает внутрь оконца.

Значит есть заключенные, имеющие право получать из дому деньги? Этого я тогда не знала и была поражена.

Время идет, скоро двенадцать, кое-кого из сидящих начинают вызывать на свидание к решетке, стараюсь не смотреть в ту сторону – что-то вроде зоологического сада: "Рук за решетку не просовывать, зверям в клетку ничего съедобного не давать"...

Пятилетняя Наташенька притулилась к матери и подремывает – ей, видно, все ужасно надоело, скучно, хочется домой; она вдруг встает и, неожиданно выступив на середину комнаты, потягивается и внятно произносит: "А хотите, я вам скажу стихи?" Все молчат, легкие улыбки и... Наташенька мило, ни капли не стесняясь, читает

какие-то детские стихи, не то про котят, не то про медвежат. Надо сказать, она отлично, по-детски и без всякого кривляния читает стихи, и когда ей все чуть-чуть потихоньку аплодируют, изображает маленький реверанс. Она улыбается, ей весело, и объявляет всем: "Сейчас я вам станцую танец!" – и начинает танцевать – наверно, ее в садике учили. У ней очень хорошо получается. Общее умиление, какая милая девочка, и как она у всех на минутку сумела отогнать черные мысли...

Танец кончается, но девочка все стоит посередине комнаты, и вот она принимает позу: изящно отставляет одну ногу назад, поднимает руку и, показывая пальцем на то малое окошко, особым каким-то шаманским говорком протяжно выкрикивает: "А в этом ящике живет мой папа! Там его квартирка! Это мой папа живет в этом ящике!" Мать вскочила, лицо белое, сажает девочку назад на скамейку – воцаряется тишина...

Свидания продолжаются уже второй час, скоро конец приема... а нас не вызывают; молодая дама с девочкой тоже уходят, дама мне слегка кивает головой на прощание.

Иногда из сеней проходят по коридору военные, двери щелкают, закрываясь, и они уходят внутрь здания, позвякивая ключами; мы с Никитой сидим, не двигаясь, как в злой сказке... Но ведь ноябрь, день короткий, начинает смеркаться, по приемной ложатся легкие тени, уж почти пять часов дня. Я вскакиваю, быстро подхожу к окну в дальнем углу, стучу – дежурный нехотя открывает: "Послушайте, тут какое-то недоразумение, у меня на вызове сказано – быть точно в десять утра, вот уж семь часов, как мы ждем, узнайте, в чем дело. Скоро начнут закрывать – что же мне делать?" Он не сразу отвечает: "Раз назначено свидание – значит, будет". "Прошу вас справиться, узнайте, вам начальство скажет, в чем дело" Он говорит: "Сидите и ждите". Еще проходит время, уж седьмой час, зажигают на потолке скудные лампы, все чаще из коридора доносится звон ключей – Хлоп! Дверь закрылась, звон медленно и гармонично уходит далеко, внутрь Бутырки...

Становится страшно – Что это? Капкан? Да кому он нужен? Но ведь уже пора домой – верно, Беклемишевы с ума сходят от волнения; встать и просто самим пойти к выходу? – Но там все закрыто...

Из окошка доносится голос: "Подойдите к окну, гражданка", – это я, никакой другой гражданки в приемной давно уже нет. Он мне говорит: "Да, тут чего-то напутали, через полчаса свидание будет". Что же дальше? Еще минут десять, из коридора входит офицер: "Это вы Кривошеина? " – "Да, да". – "Идемте со мной".

Он нас выводит в сени и оттуда в тот таинственный коридор – щелк, дверь закрылась, потом открывает дверь направо в коридоре, зажигает свет. "Входите", – мы с Никитой входим в совершенно

пустую обширную комнату, даже ни одного стула нет. Офицер (очень молодой и аккуратненький) говорит: "Какие-либо вопросы будут?" – "Да, отвечаю, – скажите, здесь есть поблизости уборная?" Он верно ожидал, что я стану требовать, возмущаться – столь тривиальный и, верно, необычный для него вопрос его смутил, но он сразу спохватывается: "Вот здесь, в глубине". Он ждет меня, Никиту. – "Вас позовут, еще минут десять..." Козыряет и уходит назад в коридор – щелк! Дверь за ним закрылась; смотрю на часы, уж без четверти семь, тихо, ничего не слыхать – мы с Никитой остаемся вдвоем, запертые внутри тюрьмы, в жутко холодной комнате. Меня сразу берет озноб; хожу, чтобы согреться, из угла в угол, время тянется невозможно. Мы молчим. Еще проходит двадцать минут – дверь открывается, какой-то дежурный говорит: "Идите на свидание, ваш муж прибыл", – и мы идем по коридору в помещение для свиданий. Длинный узкий стол, стулья по две стороны стола. "Садитесь, руки держите на столе, никаких рукопожатий, ничего не передавать". Через минуту входит Игорь Александрович в сопровождении стражника и садится против нас по ту сторону стола, стражник садится неподалеку у стены на табуретке...

Что сейчас сказать про это единственное за пять лет свидание? Оно прошло уныло, в состоянии полной растерянности всех троих; оно принесло с собой лишь еще большее опустошение и отчаяние. Как только я села за этот стол – сразу почувствовала, что все, что я хотела сказать, рассказать – за десять часов ожидания в приемной из моей головы вылетело; я болезненным усилием пыталась восстановить все те фразы, которые, казалось, ловко заготовила вчера вечером... нет, ничего не являлось. Я решила не говорить о том, что нам туго и тяжко живется, что у меня нет постоянного заработка; говорить "о деле" было запрещено, называть знакомых, пожалуй, лучше не надо... Я все же сумела в путанной и бессвязной беседе через стол сообщить Игорю Александровичу во-первых, что мы побывали с Никитой в Новодевичьем на приеме у митрополита Николая Крутицкого, что он обещал немедленно хлопотать "и очень обнадежил" нас; второе, что наш ближайший друг по парижской жизни – Григорий Николаевич Товстолес вернулся на родину "на двадцать пять лет". Я знала, что Товстолес в 51-м году был во Франции арестован и выслан, попал в советский сектор Берлина, через два дня очутился в тюрьме Моабит, где и был военным трибуналом приговорен на двадцать пять лет как бывший участник "Евразийского Объединения" и вывезен в скотском вагоне куда-то в дальние лагеря.

Конечно, тогда я и предположить не могла, что через несколько лет, в 1956 г., милый Гриша Товстолес прямо из Тайшета явится к нам в Москву, где и мы только-только зацепились жить по "временной прописке". Не знала и того, что в тот день свидания Марфино забыли предупредить, и только уж в пять часов дня туда позвонили из Бутырки – а дело было в субботу, в Марфино всех повели в баню,

и вот уже в седьмом часу Игоря Александровича начальство выхватило из бани, одело в какой-то костюм и помчало в "воронке" в Москву – все это узналось потом, через целых три года.

Мы вернулись на Песчаную к десяти вечера, там были смятение и страх – искать ли нас, а если и утром не вернутся? Тин слабо пытался острить что-то за столом пока мы с Никитой ужинали, но Нина Петровна на него взглянула, и он умолк.

*

Я прожила тогда в Москве шестнадцать или восемнадцать дней и уехала не сразу после свидания в Бутырке... Внезапно для меня появилась какая-то надежда на более успешные хлопоты, и это-то, главным образом, меня и задержало... В эту же вторую часть моего пребывания на Песчаной я продала свою шубу. Беклемишевым про эту продажу не говорила, боясь, что они постараются ее купить подороже, чтобы мне "подкинуть деньжат"...

Новые хлопоты, по иному, неожиданному для меня руслу, подсказал Никита. Оказалось, до меня приезжал в Москву из Одессы, где он жил с 1947 г. и работал там в Семинарии, Николай Алексеевич Полторацкий, друг Кирилла Кривошеина, бывший председатель Фотиевского Братства в Париже. Он Никиту знал еще мальчиком в Париже, свиделся с ним у кого-то из общих друзей и повел его с собой в Новодевичий Монастырь на прием к митрополиту Николаю Крутицкому. Как заведующий Иностранным Отделом Патриархии митрополит Николай отлично знал и про другого брата Игоря Александровича, Василия, который жил в Оксфорде и недавно до этого был возведен в сан иеромонаха. Владыка Василий провел на Афоне более двадцати лет; он уже в те годы был известен своими богословскими трудами, в особенности про Григория Паламу, – однако священнический сан долго не решался принять: во время отступления Белой Армии в 1919 г. у него были отморожены, а потом и отняты два пальца на руке, и он считал, что из-за этого не имеет права стать священником. Но Московская Патриархия, которой он всегда оставался верен, предложила ему принять священство невзирая на увечье, и Николай Крутицкий являлся прямым его начальством.

Словом, пойти на прием в Новодевичий вполне стоило, и ничего дерзкого тут не было, но я боялась (а мне ведь следовало или всего бояться, или же, наоборот, не бояться ничего). Когда мы с Никитой подходили к монастырю, все казалось каким-то наваждением – идти в знаменитый монастырь, куда когда-то многие боярские и царские дочери попадали не по своей воле и до конца жизни, без надежды когда-либо освободиться от черной скуфии и мантии...

Большая лестница, длинный коридор или галерея, под сводами все чисто побелено, стулья и диванчики около дверей; у одной из

них много ожидающих: священники в рясах и в штатском, две женщины неопределенного вида... Служитель в темной куртке, с большим и бледным лицом, не без самоуверенности, даже, пожалуй, не без наглости...

Я к нему подошла, тихо (ведь монастырь) спросила, где подождать на прием к Владыке Николаю, и мы с Никитой сели на диванчик.

Прием посетителей шел тягуче, чрезвычайно медлительно — прошло около получаса, а из кабинета Владыки вышел только один человек; я наклонилась к старенькому священнику, сидевшему рядом с нами, и спросила его: "А вы, Батюшка, давно ждете?" — "Да вот уж шестой день, — со вздохом ответил он, боюсь, что так и уеду восвояси, мне долго отсутствовать невозможно!" — "Мне ведь тоже невозможно, — шепчу Никите, — пойдем, все равно нам не попасть, я не хочу больше стеснять Беклемишевых — а тут и края не видно..."

Проходит еще какое-то время, и Никита тихо шепчет: "А вы подойдите к этому служке и скажите ему, что вы родственница дяди Гики (Владыку Василия в детстве звали почему-то в семье Гика) и что просите, чтобы вас сразу приняли. Не уходить же так... Надо решиться теперь, а то он вдруг уйдет на обед!" Не решаюсь никак, и вдруг, а ну-ка, и вот уж встала и быстро подхожу к служке в куртке и слышу, как говорю резко и слишком громко: "Будьте добры, прошу вас доложить Владыке Николаю, что я близкая родственница Иеромонаха Василия Кривошеина, который живет в Оксфорде, и что прошу меня принять... Я приехала издалека, мне трудно долго ждать". Моментальная пауза раздумья, и он говорит: "Сию минуту, как выйдут, сразу доложу". Так оно и случается, минут через десять выходит очередной посетитель, служитель скользит в кабинет и, выйдя, подходит ко мне: "Проходите в кабинет, Владыка вас ждет"... Мы с Никитой входим в заветную дверь, на секунду у меня дурнота и почти обморок, но вхожу — и сразу с собой совладела: только много не говорить и ничего лишнего!.. И спокойно.

Подходим под благословение, садимся: Владыка Николай первый заговаривает со мной, расспрашивает, как живу, где — умолкает. Я начинаю говорить: приехала получить свидание, надеюсь скоро получить разрешение, на все мои вопросы и прошения в высшие инстанции всегда ответ один — осужден справедливо по статье такой-то... Про себя говорю как есть: постоянной работы получить не удается, а ведь год, когда я преподавала в Пединституте, в общем дал результат положительный, и я могла бы там понемногу укорениться — студенты мои вполне успешно учились, я знаю отлично три иностранных языка, могла бы и переводить и преподавать... Умолкаю.

Владыка Николай говорит что-то вроде: "Не отчаивайтесь, все еще наладится..." А через некоторое время он как бы внезапно поворачивается в кресле ко мне и говорит совсем уж иным тоном:

"Не торопитесь уезжать; пойдите домой, спокойно сядьте и напишите прошение на имя Шверника – главное, напишите все подробно".

Конечно, я верила, что Владыка Николай чем-то сможет нам помочь, а может быть, не признаваясь себе вслух, просто надеялась получить от него денежную помощь. Ведь он кое-кому щедрой рукой давал деньги, особенно тем из приехавших с Запада, кто к нему обращался, об этом я еще в Ульяновске слыхала.

Но имя Николая Михайловича Шверника* меня почему-то удивило – ведь он, собственно, был Президентом Республики; разве он имел какое-либо отношение к лагерям, к миллионам осужденных на даровую каторжную работу? Я не знала, что право помилования было в ведении Президиума Верховного Совета СССР.

"Простите, Владыка, почему именно Швернику?" – "Да я его прекрасно знаю и часто вижу, – ответил Владыка Николай, – я при следующем свидании передам ему ваше прошение в руки. Напишите, и в следующий приемный день принесите мне – я скажу, чтоб вас сразу пропустили... Да пишите подробнее, я очень надеюсь на Николая Михайловича..."

Благодарим за внимание, за сочувствие – благословение и... мы оба уж снова в белой галерее, где все так же безмолвно и скромно провинциальные батюшки чают приема.

Наступает день приема в Новодевичьем, и я снова с утра еду туда; в сумке – подписанное прошение на имя Шверника. У меня появилась искра надежды, раз Владыка сам предложил и близко знает Шверника... Вхожу в галерею, где все так же сидят ожидающие, служка мне кланяется, говорит негромко: "Сейчас доложу про вас", – потом подает мне легкий знак, и я бесшумно, как и все, что происходит в этом фетровом царстве, вхожу в кабинет Владыки. Почему-то я одна – мы, видимо, решили, что Никите на этот раз меня сопровождать не следует. Все идет чин-чином, после благословения сажусь и... умолкаю. Владыка спрашивает: "Что же, принесли прошение?" Подаю ему конверт; он молча и слегка нахмуренно все целиком читает. "Ну, что же, прекрасно, – говорит Владыка, – отлично написано, завтра увижу Николая Михайловича и передам". И, помолчав: "Николай Михайлович хороший человек, очень добрый, хороший друг, я с ним на ты. Да, да, близкий друг". Я благодарю, спрашиваю: "Когда же можно надеяться на ответ?" – "Вряд ли долго придется ждать, – говорит Владыка, – а вы скоро Москву покидаете?" Отвечаю: "Да уж через два дня, мне неудобно долго жить у знакомых, а там меня мои слепые ждут, они иначе учиться не могут". Внезапно Владыка спрашивает: "А вы какие языки преподавали? Расскажите подробнее!" Рассказываю про Пединститут и как меня сняли с

---

*) Николай Михайлович Шверник – председатель Президиума Верховного Совета СССР с 1946 до 1953 г., затем председатель ВЦСПС.

работы за две недели до ареста Игоря Александровича. А теперь учеников совсем нет, люди предпочитают ко мне своих детей не посылать.

Владыка Николай говорит, помолчав и, видно, что-то обдумав: ”Вот что я могу вам предложить – хотите переехать жить в Одессу? Там нужны люди, хорошо знающие языки, особенно французский – я говорю про нашу одесскую семинарию, они вам дадут ставку, чтобы вы были все же обеспечены, а обстановка у нас в семинарии приятная, мирная... А вы уже французский язык преподавали?”

Я совершенно смущена, ведь французский язык вот уж пять лет как преподает в семинарии наш друг Полторацкий, он же для семинарии делает и переводы с французского... ”Но мне казалось, что там Николай Алексеевич, ведь он, надо думать, обеспечивает все классы... что же он... как же это? А в Ульяновске я преподавала немецкий и английский...” Владыка Николай меня перебивает: ”Ничего, ничего, я слыхал, что вы прекрасно знаете языки, справитесь, конечно, да и если что, Николай Алексеевич поможет, ведь это такой милый человек... Ну, вот что, возвращайтесь в Ульяновск, но уж понемногу начинайте готовиться к переезду в Одессу, я вас немедленно извещу, вот адрес ваш тут есть – а вам уж в Одессе придется сразу приняться за дело – там по языкам иностранным у нас недохват... Ну, вот, так и решено, вам в Одессе будет много лучше жить.”

Я до того смущена, до того огорошена... Владыка Николай это, конечно, замечает: ”Да вы не смущайтесь переездом, у вас ведь будет в руках вызов на работу, увидите, все будет отлично – главное, духом не падайте”...

Я ухожу, произнеся все формулы благодарности, подобающие в таком положении – неужели я покину ненавистный Ульяновск, его хмурое, всегда глядящее исподлобья население?

Отъезд из Москвы происходит под знаком идиотского события: решаю кутнуть и покупаю билет в ”мягкий” – ведь я продала шубу, мне можно разок поехать в мягком... Из Беклемишевых меня никто не провожает – только Никита и две приятельницы. Увы, оказывается, что Никита разорвал посадочный талон... Без него ни в один вагон, даже самый жесткий, не пускают; бегаем вдоль состава, умоляем впустить в поезд – нет, ни за что. Неужели возвратиться на Песчаную? Я от отчаяния даже не ругаю Никиту; до отхода поезда остается четыре минуты, мы все стоим печальной, поникшей группой – вдруг из тамбура вагона, как раз надо мной, молодой голос мне говорит: ”Садитесь в мой вагон, гражданка, так хоть уедете, а там, может, и место вам найду”. Милая проводница помогает подхватить мой багаж, да и меня подтаскивает вверх по ступенькам вагона; обращаясь к Никите, говорит: ”Эх ты, парень, ты что же это, всегда такой?” Но вся группа вздохнула свободно, свисток, еще,

еще, и поезд двигается – машу рукой из тамбура... вот и едем. Вхожу в вагон – о, ужас! Все, все занято, на всех местах сидят военные моряки – этот вагон идет до Владивостока, отпускники возвращаются на свой тихоокеанский флот, им ехать девять дней и они уже начинают устраиваться. Все же сажусь и сижу молча, на всех столиках начинают вырастать литровые бутылки водки, круги украинской колбасы, кирпичи черного хлеба, фляжки и стаканы, махорочный дым уж заволакивает вагон. В углу против меня сидит полковник – что это мне везет на полковников? – Он наклоняется ко мне и чрезвычайно учтиво (наверно на Казанском вокзале наблюдал в окно, как мы вперед-назад бегали!) спрашивает, куда я еду. Качает головой: "Что вы, да вы и не представляете себе, что тут будет твориться через часа два! Нет, нет, вам нельзя, вы просто не выдержите, да и вообще... мало ли что!" Помолчав, добавляет, что сам едет до Рязани и там мне передаст свое место, так что хоть сидеть где будет, но это же не решение вопроса: ищите скорее другое место. Я его благодарю, сижу, оцепенев от обиды и несправедливости судьбы, булькает водка в первых стаканах... Меня дергает за рукав та молодая проводница: "Идемте, идемте скорее, я все вагоны избегала – нашла вам место, неважное, ну, да хуже чем здесь нет". Она подхватывает мои вещи и ведет через весь поезд в вагон "матери и ребенка"... Это далеко не идеал, но все же; хочу ей сунуть в руку десять рублей, но она не берет ни за что – "Нет, нет, что вы, ведь вам помочь хочу!"

Понемногу и в этом вагоне становится тяжко, "матери" без конца и громко рассказывают друг другу историю своей жизни – все, все подробно, и про мужа, и про золовку, и, конечно, про аборты, про гадалок, про гада-начальника, который строит мужу козни. За Рязанью резко холодает, говорят, тут уже до 20° мороза; девушка поддает в топку угля, и понемногу жара в вагоне становится невыносимой – выхожу в тамбур покурить, там после дикого пекла кажется холодновато. Тут какой-то высокий человек лет тридцати, в кепке, видно рабочий, курит свои козьи ножки; мимо нас раз и два проходит молодая женщина с громадным, туго набитым мешком, потом она возвращается в обществе начальника поезда. Тот ее чему-то наставляет тихим голосом – глядите, ведь поезд стоит всего минуту, ступеньки обледенели; а за мешок не бойтесь, я вам брошу.

Начинает темнеть, снаружи поземка, и вот поезд снижает скорость, все медленнее... Остановился. Смотрю в окно: пусто, плоско, серый снег хлопьями – та молодая женщина и начальник поезда уже тут, в тамбуре; он открывает дверцу, холод обжигает нам лицо, женщина собирается выходить из поезда почти на ходу, но начальник ее придерживает за рукав зимнего толстого пальто; но вот она прыгнула вниз... "Есть?" – кричит начальник. – "Да, да, стою", – кричит женщина. Он со всего маху кидает ей мешок, свисток, мы

уж двигаемся – внезапно из мглы вырастает деревянный полустанок, совсем пустой, никого; я вдруг читаю почему-то вслух: "Потьма", поезд набирает скорость, кругом снег...

Обращаюсь к рабочему: "Это куда же она, тут будто и дома-то ни одного нет, такая молодая, одна, с этим громадным мешком, да и буря". Он смотрит на меня равнодушно, говорит: "Ничего, тут поселок есть, только он с той стороны, его и не видно..." Что же это за название странное – Потьма?... Татарское, что ли?" Рабочий объясняет: "Нет – Мордва тут, тут ведь Мордовия..." А... что это? Ведь я что-то должна знать, что-то должна понять... Но нет, никак. Мы стоим и курим до утра, в вагоне + 32°, дети, очумев от жары, в одних рубашонках – плачут, капризничают...

Меня встречает Ольга Петровна Любищева, везет домой в такси – они из первых, что появились в Ульяновске; вечером иду к ним, все подробно рассказываю, и про Бутырку, и про Новодевичий – одесский проект здесь, в Ульяновске, звучит малоубедительно... На следующий день валюсь в дикой простуде, с жаром и удушающим кашлем на целый месяц, докторша убеждает меня лечь в больницу. Нет, ни за что – меня лечит Екатерина Николаевна, моя соседка, учит мазать нос перьями свежего лука, и на ночь дышать отваром картошки в шелухе – читать слепым я не в состоянии, а ведь у них скоро сессия...

Это уж декабрь 1952 г., надвигается грозный 53-ий... Тянется дело врачей, Надежда Яковлевна покидает Ульяновск, Амусин ходит, как пришибленный, молчит – от него ни слова не добьешься. Безобразные эпизоды–анекдоты постепенно сходят на нет, но гуща населения твердо и уж навсегда усвоила, что знаменитые кремлевские врачи – да и не одни жиды только, а вот и Виноградов с ними был!! – за доллары продавали что-то или кого-то, отравляли или отравили кого-то там наверху, кто в Кремлевке лечится, а у нас в Ульяновске, вы думаете нет? Да и у нас тоже, вон у Степановых теща ослепла, а ей глаза как раз жид лечил, вот вы и понимайте, что к чему...

Жид, жид – да что же это за наваждение?? Вот почему у нас очереди, почему нет муки, почему нет... Итак... *Juden raus!* – Опять! Но Боже упаси это вслух сказать, да неужели же вы с Гитлером сравниваете? Ведь там фашизм был... это-то вам ясно или нет? Да, да, все ясно, а впрочем, я вот тихо, тихо живу в своей кухне-прачечной и помалкиваю, я уж почти и не дышу...

Солнце светит по-весеннему, черный шлак из жерла фабрики КИМ, покрывающий крепкой коркой весь наш квартал, поблескивает, и Васька веселится во дворе – приходит Екатерина Николаевна за водой с двумя громадными высокими ведрами... Молча разворачиваю перед ней последний номер Правды – почти вся первая страница бессовестно и безудержно покрыта потоком приветствий,

пожеланий и благодарности "нашему отцу, учителю, самому мудрому и доброму человеку, любимому Вождю и Учителю всего народа... и желаем ему здоровья, счастья, надеемся еще долго жить под его мудрым руководством... вечной, вечной ему жизни!" Тут и из Тюмени, и из Оренбурга, из Кишинева, из Черновиц, да разве перечесть!

– Екатерина Николаевна, да что же это? Ведь дальше уж слов не хватит, и все в превосходной степени, все выше и выше забирают! Что будет, что будет?..

Она шепотом отвечает: "Да, ужасно и безумно страшно... Я и сама уж больше ничего не пойму". – "А Ирочка?" – "Что Ирочка, молчит, и лицо каменное, и говорить с ней боюсь".

Так жизнь идет, все на месте, слепые приходят, исправно учу их немецкому языку, объясняю им про ионические и коринфские колонны в Греции, читаю вслух Ленина – это теперь часто приходится, хотя многое и есть на Брайле – бесконечные периоды в полстраницы, где *zu* "на концу" очень утомительны, да я и вообще начинаю быстрее уставать.

Поиезжает на февральские каникулы Никита: веселый, с отекшим лицом – в общежитии питается одними пельменями, по две пачки в день. Да у него уже любовь – "предмет" удивительно неудачный, и чуть ли не сразу мне понятно, что это неспроста, девицу Никите грубо подкинули, у нее в Институте слава вполне определенная. Пытаюсь хоть немного раскрыть ему глаза, но, конечно, тщетно; мать, увы, всегда бессильна.

После моей поездки в Москву ко мне какие-то люди начинают заходить чаще. Вот Вера Михайловна Еленевская – когда-то в первый год мы с Игорем Александровичем у них бывали, нас познакомила Вера Александровна, сестра Угримова, которая тогда жила под Ульяновском, в Майне. Сам Еленевский – профессор какой-то сельскохозяйственной науки, партиец. Его начальник сам Красота, тот, который нападал на Любищева. С тех пор, как я осталась одна, Еленевский ни разу не поклонился мне на улице – перебегал на другой тротуар.

Я уже не лежу, и кашель начинает затихать; в сенях стучат в дверь, входит Вера Михайловна – в хорошем пальто, в отличной меховой шапочке; ей все идет, у нее прелестное петербургское лицо, манеры, говор, она умница, беседы о музыке и концертах между нами, кажется, никогда не иссякнут... А ведь я не видела ее больше двух лет! С ней Джим, роскошный пойнтер – протягиваю руку, чтобы его погладить, три года назад он был мне закадычным другом...

"Нет, нет! – шепотом говорит Вера Михайловна, – отнимите потихоньку руку, у него тяжелый авитаминоз, и мы боимся, чтобы он не наделал какой беды". Джим кладет тяжелую деревянную лапу мне на колени, но я не смею его погладить.

Вера Михайловна оглядывает мой "дом" и... мы очень быстро и вполне естественно начинаем беседу про все: про Никиту – как он

в Москве? ”Говорят, вы добились свидания?...” Потом, так же просто переходим на музыку, и про давние концерты, а вот она была в Ленинграде и там слушала Баха в чудесном исполнении, вдруг все снова просто, этих двух лет будто и не было... Да и на кого я имею право сердиться или обижаться?!

Но вот она смотрит на золотые часики: ”Ой, пора, пора домой, а то ведь Семен Николаевич и не знает, что я к вам пошла, он может вдруг забеспокоиться”. Она вынимает из сумки 500 рублей и мне подает: ”Только не отказывайтесь, я знаю как вам надо, я давно бы принесла, но... сами знаете, как жизнь...” Вера Михайловна с Джимом уходят.

А вот и другой друг, нежданный и негаданный, доктор Александра Александровна Греч; она работает в той поликлинике, где я не бываю, потому мы и не были знакомы до того времени, как она сама на улице со мной не познакомилась. Это было осенью 1950 г., она меня остановила на улице громким восклицанием: ”Здравствуйте, здравствуйте, Нина Алексеевна, что это я вас так давно не вижу!” Но я не знаю ее, вижу в первый раз, не знаю, кто она, и смущенно, с опаской пытаюсь улыбнуться этой незнакомой, полной, стареющей даме. Она, однако, опять восклицает: ”Да вы, я вижу, меня не узнаете? Я ведь доктор Греч, Александра Александровна, как же так вы меня забыли?”

Нет, я ничего не забыла... Через несколько дней она ко мне приходит часам к пяти дня, приносит мешок сладких булочек и сушек – сушки особенно трудно добыть – и располагается посидеть, почаевничать, поговорить. Так оно и началось, и сделалась настоящая дружба – она всю войну прошла врачом, побывала и в Югославии, и в Чехии, рассказы про войну у ней не иссякают. У нее хорошая комната в ”военном доме” на окраине Ульяновска – она меня к себе никогда не приглашает, однако...

Продолжают ко мне изредка заходить и некоторые Никитины друзья по вечерней школе – одни пытаются учиться дальше, другие счастливы, что хоть десятилетку одолели, очень немногие начинают проходить курс ВУЗа заочно.

Словом, немало у меня было друзей в Ульяновске – много больше, чем следовало ожидать; в этом глухом городе, который одной ногой стоит в Азии, всем про все известно, устная газета работает бойко; здесь дружат через дом – с ближайшими соседями своими обычно никто не разговаривает, а то и просто не кланяются (впрочем, во французской провинции так же), ну, а по вечерам, идя с работы, стоят у сеней и шепчут – и что было в татарском квартале: ”а он его поджидал у дверей и ножом под живот и полоснул, ну и кишки вон”; или ”как жених стал радиоаппарат-то чинить, а сам его и не отключил, ну, вот, подумай, так парень и прилип, а она, Галина-то, как бросилась его тащить и... сама прилипла... вот тут уж мать подумала, да рубильник выключила, а оно уж поздно...” Вот

в эту же категорию диковинок попадала и я: моя фигура с Ульяновском никак не сливалась, кое-кого моя судьба ужасно раздражала... Эту мысль весьма ярко и точно выразила однажды моя соседка Салтычиха; как-то она с Агриппинной Алексеевной стояла у моего открытого окна и что-то хозяйственное громко с ней обсуждала – а тут как раз, стараясь быть совсем скромным, появился рядом с ними мой Васька. "Ах! Паршивый кот!" – нарочито громко воскликнула Агриппинна. "Да что уж говорить, – поддержала ее Салтычиха, – известно, что хозяева – то и их животные..., – и, помолчав, добавила, тоже громко, четко (это привожу дословно!), – вот надо же, – приехала к нам эта проклятая аристократка с голоду подыхать!"

Однако и среди будто "своих" тоже были такие, которые активно проявляли свое недоброжелательство. Незадолго до нас приехали в Ульяновск некая Madame Marie, совсем простая француженка, и ее муж, русский, попавший во Францию сразу после Гражданской войны. Он проработал рабочим на каком-то заводе на Севере, там познакомился с Madame Marie, детей у них не было, и он решил вернуться домой. Я ее как-то встретила в Переселенческом Отделе, а позже она раз или два появилась у меня – сразу после нашего переезда в прачечную-кухню. Несколько позднее она опять зашла, сказала, что они с мужем покидают Ульяновск и уезжают на Украину; и вдруг с негодованием начала мне толковать, как она вот уже месяц пытается собрать для меня денег, обошла всех "реэмигрантов", предлагая им, чтобы каждая семья хоть по десять рублей в месяц для меня сохраняла... – "Pensez, pensez donc, Madame, on me dit d'aller chez cette grosse mémère, la Katchva – là. Je me présente chez elle gentiment, et qu'est-ce qu'elle me sort? C'est interdit, tout à fait interdit... Mais qu'est-ce qui est interdit? D'aider cette malheureuse dame? Mais c'est pas possible!! Que si, elle me fait, son mari est condamné par un tribunal soviétique, c'est qu'il est coupable et on n'a absolument pas le droit d'aider sa famille. Mais vous risquez les pires ennuis, chez nous il n'y a que les coupables qui sont condamnés... Donc moi je m'y oppose formellement, à cette collecte, et je préviendrai tous les autres!"

Тут Madame Marie расплакалась, повторяя на своем ломаном русском: "Что с вами теперь будет! Что делать?" Я ее благодарила, сказала, что раз говорит жена Качвы, то она уж знает, что говорит, что верно, все так и есть... – "Ah, mais quel pays, Madame, mais c'est pas humain des choses pareilles!"

Она ушла и через неделю с мужем уехала; через год, как я потом узнала, они сумели вернуться во Францию.

А выступление Елены Никифоровны Качва меня мало удивило: ведь ее муж был главным секретарем в Париже на *rue Galliéra*, когда там только начал зарождаться Союз Советских Граждан во Франции, сам был он с Украины, смазливый, бабник – все и вся знал, и вел тут дело крепко, решительно и... всегда с ласковым своим тенорком

вырастал из-под земли, как тень. Он работал шофером такси в Лионе много лет, а тут сразу оказался при таком деле, в Париже – вел себя в общем неглупо, хотя образования у него было – ноль.

За последние годы, уж здесь, в Париже, нам пришлось прочесть несколько американских книг про КГБ и советских шпионов на Западе – в списке, приложенном в конце одной из них, на букву К значился КАЧВА, многолетний агент КГБ во Франции.

*

Среди фигур, прошедших в те годы рядом с нами, даже как-то вклинившихся в нашу семью, оказались Гораций Аркадьевич Велле, его жена Фанни и двое их сыновей – Юрий и Вовка. Они познакомились с Никитой чуть ли не на улице (это было в конце 1951 г. или зимой 1952г.). Были они во Франции коммунисты, смутно существовали какой-то семейной трикотажной мастерской, а Фанни, очень привлекательная, а временами и просто красивая, была коммивояжером у парфюмерной фирмы *Docteur Payot*, которая тогда только начиналась. Страх попасть в немецкую дьявольскую печь кинула их всех куда-то в горы, в *maquis*, но, слушая Горация, можно было подумать, что они, собственно, одни и руководили во Франции движением Сопротивления. Удивительный сам он был Хлестаков, пускал в Ульяновске всем пыль в глаза: он, мол, и писатель, и герой. Любимый рассказ его был, как он вдвоем с Юрой, которому тогда было 18 лет, освободили в 1944г. от немцев город Ля-Рошель. Грубо картавя, он всем давал понять, что так, как он, никто из приехавших в Ульяновск "реэмигрантов" не говорит по-французски... Фанни – милая и добрая женщина, которой тогда было всего сорок лет, – была, увы, сумасшедшей: первые признаки безумия обнаружились сразу после окончания войны. А когда она приехала в Ульяновск, ей стало хуже, она неоднократно попадала на месяц-два в психдиспансер, во главе которого стоял замечательный врач, знавший свое трудное дело психиатра до тонкости и всегда благожелательный – Александр Иванович Скипетров; я от него видела много добра и внимания к себе, хотя до психдиспансера сама и не дошла, – а ведь в 1954г. и я была от него недалеко; но это он меня удержал на поверхности, когда я вдруг начала тонуть...

Семья Велле кружила вокруг нас еще долгие годы; они никак не хотели выпустить нас из своей орбиты – впрочем, дурного замысла у них не было. Бедного Горация еще в Ульяновске в сорок четыре года хватил "кондратий" – они жили втроем (Юра уж был в Москве) в чуланчике четыре метра на два; Фанни с утра уходила работать на фабрику "КИМ" рядом со мной, а я в течение месяцев двух-трех ходила к Горацию, кормила его с ложечки, резала ему кусочками хлеб, давала пить из стакана – правая рука у него была парализована. Словом, их жизнь в Ульяновске была не сахар, но, когда я болела, они тоже старались мне помочь.

Наступил март 1953 г. В этот день я куда-то ушла с утра, не успев утром послушать Москву; вернулась домой к часу и тогда только включила приемник... На меня волной хлынула траурная музыка; наверно, я ошиблась станцией, не ту кнопку нажала... Нет, музыка эта лилась на всех советских волнах. То Реквием Моцарта, то ноктюрны Шопена, то Лунная соната Бетховена, то Чайковский – Пятая симфония. Днем я все же пошла к Екатерине Николаевне: "Что это? В чем дело? Слыхали что-нибудь?" – Она шепотом ответила: "На базаре говорят, что Сталин заболел..." Эти слова иначе как шепотом невозможно было сообщать, еще вчера, пока не началась эта надрывная музыка, их вообще нельзя было не то, что сказать, но и подумать... Не мог же Сталин, как прочие люди...! умереть!

Часам к шести я зашла к Любищевым, у них было тихо, никого чужого, и уж было понятно, что вот-вот тарелочка на стене что-то скажет, оповестит всех о случившемся, и от этой надрывной музыки останется страшный след. Ольга Петровна утирала глаза, на скрывая: как многие, прошедшие всю войну в мундире и на фронте, она преклонялась перед Сталиным, и это было у нее искренно, она верила, что он гений, что он обо всех заботится, что он великий государственный человек, что это он был победителем в войне... Сколько же я их таких видела, добрых, милых, всегда готовых помочь другому, людей! А я? Разве я знала про Сталина хоть часть правды тогда? Ведь мне, прожившей двадцать пять лет в Париже, могло бы быть понятнее... Но я тогда еще считала во всем виноватым Берию, мне казалось, что это он злой гений, а не Сталин... Я знала, что в стране происходило и произошло много лет тому назад нечто ужасное, собственно еще никому не понятное до конца; многие сумели устроиться, примениться к дикому устройству жизни, да и оно даже было удобно: "наверху сказали", "наверху решили", "наверху думают, что...", "руководство считает...", "начальник приказал", "начальник требует", ну, а мы ничего, мы исполняем, мы докладываем. Дети, те искренне верят, что жизнь стала краше, жизнь стала веселей!

... На следующий день встречаю на улице Любовь Александровну, она утром была в церкви, и там без конца подают записки священнику "О здравии болящего раба Божия Иосифа", а после обедни служили молебен с хором "о здравии".

... На улицах наскоро установлены громкоговорители, и печальная надрывная музыка объемлет весь город, весь транспорт, все заводы... Боже! Сколько же еще времени это возможно?..

Иду в дом к Екатерине Николаевне, к прелестной старушке, снимающей у нее комнату, с которой у меня дружба. Мария Федоровна – ей тогда уж минуло восемьдесят – сидит в своей чистенькой комнатке, вяжет крючком скатерти на круглый столик для продажи, и "тарелочка" изливает на нее траурные звуки. Она заваривает мне

чай, но, заметив, что я от этой музыки морщусь, предлагает ее выключить. "Да, да, прошу вас, Мария Федоровна, вторые сутки подряд, я просто не могу этого выдержать – дома у себя наглухо выключила". Она качает с опаской головой – как же это вы так? Мы садимся пить чай с какой-то сладкой булочкой; Мария Федоровна улыбается, у нее светятся при этом еще яркие и умные глаза. "А вот, – говорит она, – вчера с утра как слушаю, а с обеда прямо поставила стул поближе, вяжу да потихоньку плачу... И первого мужа вспомнила, и второго, и сына единственного, убитого в войну... Вот так вяжу себе и всех вспоминаю, и мне теперь так легко на душе, так легко..."

На следующий день, 5-го марта, когда объявляют о смерти Сталина, меня опять дома нет. Жаль! Зато днем, часов в пять-шесть, включаю Францию (мой малютка-приемник совсем особый, он отлично ловит внутреннюю французскую волну – чудеса, но правда...). Попадаю сразу на общее годовое собрание французской компартии в Обервиле, где она годами царит в мэрии...

Слышен отлично гомон голосов – это люди входят в зал мэрии... Какое-то замешательство, голос заявляет: "Мы принуждены задержать начало заседания минут на десять". Проходит четверть часа, возобновляются шаги, движение, слышно, как кто-то поднимается на трибуну, сразу раздаются аплодисменты: "Bravo, Duclos! Vive Duclos!" Видно, он жестом просит полной тишины и начинает, еле произнося слова: "Camarades, je viens vous annoncer une atroce nouvelle", – и внезапно замолкает, и мне четко слышно, как он безудержно плачет... "Nous venons de recevoir confirmation de la nouvelle de la mort du Camarade Staline"... Голос у него обрывается, и почти сразу другой голос говорит: "Dans quelques minutes le camarade Duclos va prononcer l'éloge funèbre du grand disparu"... В приемнике – абсолютная тишина... Наконец опять Duclos, он с трудом говорит, почти все время, не стесняясь, громко плачет, то тут, то там в зале мэрии раздаются рыдания, возгласы: "C'est terrible, quelle perte! Adieu, Staline". Duclos, кончая, предлагает почтить память "du grand Staline, notre maître à tous". Все встают, долго, несколько минут, слышны плач, рыдания... Они, видимо, назначили годовое собрание французской компартии, еще не зная о болезни Сталина; впрочем, откуда они могли узнать? Ведь об этом в течение целых трех дней советское радио ни разу ничего не заявило – даже им, очевидно, тоже ничего, а ведь они – самая значительная компартия в Европе! Не до них было!

Передают по радио похороны Сталина, слушать передачу ко мне приходят Гораций и его старший сын Юра, которого уж в начале дела врачей выставили с московского радио, где он работал переводчиком. Опять бесконечная музыка, траурный марш Шопена и... начинают речи с мавзолея – вот это интересно послушать! Сперва что-то маловнятное читает Маленков, а вот и Молотов – тот самый,

которому я написала столько прошений подряд... Он уж и так не Демосфен, а тут уж совсем заикается, повторяет деревянным голосом слова, потом совсем замолкает – нет, опять поехал. А вот, наконец, и Берия; что ж, этот говорит более внятно, в каждой фразе есть какой-то смысл – он надеется, что великая фигура ушедшего вождя поведет страну вперед...

– Ну, и кто же лучше всех сказал? – спрашивает меня Гораций.

– Кто? Ну, ясно, Берия, у него все же что-то цельное, как-то речь построена, подготовил.

– Да, – тянет Велле, – он, видно, меньше смущен, а те просто дрожали от страха.

Кончается Великий Пост, вызывают Амусина в комитет антирелигиозной пропаганды. Ему предлагают на Страстной прочесть ряд антирелигиозных лекций в городах и селах вокруг Ульяновска – но нет, он не уступает, говорит им: "Ведь вы отлично знаете, что я еврей, и хотите, чтобы я на Страстной вел в провинции антирелигиозную пропаганду? Помилуйте, да они меня там не то что яблоками, а камнями закидают! Ведь это уж граничит с провокацией".

Они, наконец, соглашаются – в самом деле как-то неловко... Да и откуда-то тянет иным духом внезапно!

Да, так оно и есть, в субботу на Страстной все громкоговорители в городе сообщают, что произошла нелепая ошибка, что доктор Лидия Тимашук, единолично поднявшая дело врачей, всех грубо обманула, что арестован Рюмин (насколько я помню, начальник следственного отд. МВД), что всех арестованных врачей выпускают и... восстанавливают в должности... Что за бесстыжая петрушка!..

В Пасхальное воскресенье иду к Любищевым к двум часам дня обедать; Любовь Александровна отстояла заутреню и обедню в единственной церкви Ульяновска; куличи у нее вышли отличные, есть и мазурки, пасха с бумажной розой красуется на столе; Любовь Александровна сияет от счастья – опять пришел любимый праздник! Сам Любищев взволнован: "Вы слыхали? Слыхали? Вот так дела!" Мы еще ждем Амусина, за стол без него не садимся. "Где же он? – волнуется Ольга Петровна, – всегда такой точный!" Наконец, звонок, входит Амусин; он ужасно бледен, говорит: "Извините за опоздание, вот стоял под столбом на улице, слушал..." Он закрывает лицо руками, беспомощно опускается на стул и плачет – столько времени держался, а тут вот конец наваждению.

Но Пасха, как всегда, берет свое. Когда принимаемся за куличи и кофе, у всех радостные лица. Жаль, Надежда Яковлевна уехала, как-то она сейчас в Чите? Она писала – к ней там хорошо относятся, но климат дьявольский, уж нелетают бури песка и навоза – дышать подчас нечем.

Столько потрясающих событий сразу обрушивается на страну... А что же отъезд в Одессу? А где же ответ от Шверника? Сколько же лет я все еще буду верить обещаниям – французы их зовут "des

promesses gratuites"? Однако вопрос остается, и ответа на него я до сих пор не нашла.

Кроме как с Любищевым, ни с кем об этом всем не говорила... Ну, да Александр Александрович после первых моих слов по приезде из Москвы мало выражал надежды... Но... Как же это так, все же?

*

На весь июль месяц ко мне уж второй год приходит ученица, Лиля Абрамова, студентка в Ленинграде на Медицинском факультете; на лето она приезжает в Ульяновск к матери. Она приходит ко мне ежедневно на полный час: чтение, пересказ, беседа на тему по-английски. Никто ее не заставляет, она сама меня нашла и усердно относится к нашим урокам. Она родилась в Хабаровске, ее отец занимал видный пост на Китайско-Восточной железной дороге. Мать Лили работает бухгалтером в женской школе, и у ней там неплохая комната; она, после того, как Китайско-Восточная железная дорога снова отошла от Китая в ведение СССР, провела десять лет в лагерях. Лилин отец погиб в лагерях очень быстро, ее с четырехлетнего возраста воспитывала бабушка, здесь, в Ульяновске; фамилия бабушки Пфеферкорн, она из волжских немцев, но каким-то чудом ее из Ульяновска в Сибирь не вывезли.

Мне очень нравится Лиля, она делает заметные успехи по-английски, всегда чистенькая, приветливая, деловая. Знакомлюсь с ее матерью. Высокая, с прекрасной фигурой, прелестное лицо, горделивая посадка головы. Дома, почти не переставая, курит махорочные козьи ножки. Как-то раз вдруг начала сама мне рассказывать свою жизнь, показала молодую карточку своего мужа. Ужасная судьба – вот встречали их всех, служащих КВЖд, с шампанским, на станциях играл оркестр, всем подносили букеты, а через год все уж были в лагерях, кто на десять, кто на двадцать пять лет! Это тридцать первый – или тридцать третий год. Работа в лагере? Она только руками машет: "Нет, не надо вспоминать!".

В середине августа ко мне более или менее неожиданно приходит жена председателя Союза Писателей Ульяновской Области, Кожевникова: кто ее направил ко мне? Ее зовут Бэтти, она – удивительно красивая еврейка – как это я ее до сих пор не встречала на улице? У них квартира в общежитии Désинститута, она приглашает меня учить ее двоих детей английскому. Условия: приходить к 10 ч. утра, заниматься с дочкой Таней, которой тринадцать лет, потом с маленьким Андрюшей – шесть лет... Так как ни она, ни муж дома не обедают – то обедать с детьми и в два часа домой; Таня уйдет в школу, а она сама вернется. Оплата – триста рублей в месяц!

Я чувствую себя как молодой Ротшильд – триста рублей в месяц и каждый день обед – ай да Бэтти! Про обед все понятно – ей хотелось бы, чтобы, сколь это возможно, я научила детей "манерам": как сидеть за столом, как и чем есть...

В начале июля – еще одно предложение покинуть Ульяновск – тоже ехать на юг, в Кутаиси; еще в 1949 г. случайно завела знакомство с молодым сапожником – он чинит подметки и каблуки в городской будке. Сам он грузин лет тридцати; понемногу наши беседы становятся все более дружескими, а вскоре после ареста Игоря Александровича он сам со мной заговаривает, спрашивает: как же это я живу? Он болеет душой за Никиту – Никита всегда дружил с грузинами, так вот и с этим Володей Шавулидзе. Володя уехал из дома, поссорившись с отцом, когда тот в семьдесят лет в третий раз женился; жил в Казани, там женился на местной татарке – у них уж две маленькие дочки.

Как-то Володя, очень учтиво и стесняясь, приглашает меня прийти к нему домой; он купил развалюху и своими руками все там отремонтировал, покрасил – просит прийти поглядеть, как он живет. Они с женой принимают меня с обычным ритуалом и почетом, как полагается в Грузии – дом устроен с большим вкусом, чистота в нем потрясающая – на столе богатое угощение, пироги, булочки, варенье – все домашнее... Теперь Володя помирился с отцом, тот его зовет вернуться, ведь Володя – старший сын, будущий глава семьи.

Он приходит сам ко мне – чего никогда себе не позволял, хотя я и его жену, и его не раз к себе звала; Володя говорит: "Едем со мной в Кутаиси, я вас привезу с собой, как члена своей семьи, и вам будет от всех там почет – у нас это так и по сей день. А учеников там будет, сколько нужно, и на английский, и на французский. А потом не забудьте, у вас имя Нина, а это уж значит, вы – наша... Ну, и Никита будет нормально жить и учиться. Думайте, думайте крепко, через две недели мы едем. Я уж и дом продал, вот купил за шесть тысяч пять лет назад, и теперь продал за двадцать пять!" Передо мной мелькают дыни, абрикосы, виноград, теплый климат, жизнь среди людей иной цивилизации, море, горы... Кажется, уедешь из Ульяновска и убежишь от своей судьбы – может, там все и будет иначе?!

Мучаюсь этим вопросом ужасно – ведь это неожиданно, не подарок ли судьбы?.. Как быть? Неужели отказаться?

И все же отказываюсь. МГБ меня так легко и не выпустит, да к тому же тут ко мне все уже привыкли, а там я опять стану белой вороной... Любищевы считают, что соблазнительно, но... Володя одно, а его кутаисская семья – кто ее знает, что она скажет... А если, не дай Бог, Никита там что-нибудь не то скажет про Сталина? Ведь в Грузии Сталин вроде божества, особенно теперь, когда он умер!! Володя с семьей уезжает, дает мне точный адрес в Кутаиси: "Если надумаете приехать – дайте телеграмму, будем вас ждать на вокзале!"

Помимо всех событий этого лета есть еще одно, может быть самое для меня тяжелое и почти непереносимое, и это – фантастическая жара и засуха. С конца мая и до начала августа не упало ни капли дождя, суховей дует и обжигает на своем пути все и вся;

с семи утра жара становится непереносимой, а наш старинный квартал, весь деревянный, с высокими деревянными заборами, в буквальном смысле слова горячая сковорода, которая за ночь не успевает даже немного охладиться.

Земля трескается от жары, через всю громадную площадь Ленина тянется трещина сантиметров в пятьдесят, клубы белой пыли поднимаются и кружат по ней, как в пустыне, у нас во дворе 60° жары; в колхозах под Ульяновском рабочие закапывают в землю яйца, и к обеду они уже сварились вкрутую. Мне иногда кажется, что это навсегда, я не сплю, не ем, занавешиваю свои маленькие окошки мокрыми тряпками, поливаю деревянный пол – все равно, зной невыносимый, блеск от иссохшей земли тоже, ад какой-то!

Как-то иду к Екатерине Николаевне – что это? Барометр стоит на буре! Глядите, глядите! К ночи будет гроза и дождь! Но Екатерина Николаевна только усмехается – барометр стоит на буре вот уже второй месяц!

Старожилы вспоминают, что даже в голодный 1921 г. и то не было такой жары и засухи.

Время идет, ничего не меняется – правда, вдруг исчез Берия: что, когда? – Вот так фокус! Лаврентия Павловича будто и не было, а был... некий никогда и никем не уличенный английский шпион! *Sic transit*... Ну, а дальше что же? Да вот ничего, все как-то само продолжается, выходит, что и без Сталина можно прожить и... даже без Берии. Наша переписка с п/я №68 на Главпочтамте в Москве продолжается – и тут все как было, тоже ничего не меняется.

Тяжело мне дается это лето, начинают у меня силы снашиваться, у меня больше уже нет того, что англичане зовут *punch* – задор, ответный удар или, когда надо – резкое нападение... Да и жара меня доканала, начинаются удушья от сердца, полное отвращение к пище – иногда думаю: вот зайду, куплю себе "сто грамм" столичной; соблазн подчас выше сил... Ну, нет, нет, ни за что! Ведь раз "вкусив", пожалуй уж и не остановишься... Курю ужасно, по две пачки "Парашютиста" в день, летом дешевые папиросы в Ульяновске исчезают, есть только дорогие – "Казбек" или "Ява", да и то не каждый день... Бывает, что поздно вечером вдруг замечаю, что дома нет курева и тогда, несмотря на страх перед хулиганами и грабителями, бегу по пустым улицам в магазин – купить поштучно 3–4 папиросы, кладу их рядом с кроватью, вдруг захочется курить и... часто просто их не трогаю. Но дома есть, это главное! В городе царит настоящий психоз страха – молодчики Ворошиловской Амнистии гуляют, хотя, конечно, не в одном Ульяновске; вот Александр Александрович едет, как каждое лето, в Ленинград читать курс лекций – поезд из Свердловска приходит поздно, около полуночи, и на вокзал его провожают трое друзей: одному с чемоданом рискованно – могут и избить, и убить.

Осень 1953 года. Я очень занята: все утро на уроке с Таней и Андрюшей, после обеда легкий отдых, а там и слепые приходят, часто до позднего вечера; они уже на последнем курсе, работаю с ними все больше.

В конце октября валюсь в страшной дезинтерии, меня увозят в больницу — почти на месяц.

По возвращении домой, где меня встречает Екатерина Николаевна, спрашиваю: "А письма мне от Игоря Александровича были? Я ему из больницы три раза писала, может быть есть ответ?" Она молчит, и тут я вижу на столе стопку писем, почему-то ее сразу не заметила... Беру письма — а это как раз и есть мои три письма, все по тому же адресу: п/я 68, Главпочтамт, Москва, и на каждом конверте в левом углу сверху надпись: "адресат выбыл" и число.

Почему-то сразу в голове стучит, как молот: "В расход, в расход, в расход"...

Валюсь на кровать, и Екатерина Николаевна несколько минут приводит меня в сознание: кладет мне в рот сахар с валидолом — сразу полегче, но говорить еще долго не могу... Екатерина Николаевна повторяет что-то утешительное, надо подождать, надо еще узнать, ждать известий... Ну, конечно, конечно.

Я кричу: "Не стану здесь одна ночевать, хочу уйти, сразу, скорей, скорей!"

— Да куда же?

— К Любищевым, они что-то посоветуют, придумают.

Через десять минут Екатерина Николаевна присылает ко мне старшую дочку, я беру мешок с ночной рубашкой и туфлями, Ирочка все тушит, запирает дверь и ведет меня под руку к Любищевым; по дороге к нам пристает стайка юных хулиганов, стараются задеть Ирочку, толкнуть ее или меня, свистят, гикают — а один со злобой и каким-то рыком запускает по скользкому тротуару тяжелую железную трубку нам вслед, и она пребольно меня ударяет в ноги. Наконец входим в дом, где внизу студенческая столовая — они все влетают за нами и кидаются в столовую — прямо на буфетчицу, тетю Машу; ну, ее не очень-то напугаешь, и я слышу, как она сразу грозит вызвать милицию. Ирочка тащит меня вверх по чугунной лестнице и передает Любищевым.

Остаюсь у них на несколько дней — в полной растерянности, даже не думаю о том, удобно им или нет, что я ночую в столовой на диване.

На третий день звонит по телефону из Москвы Никита, Ольга Петровна меня зовет: "Скорей, скорей, это Никита — у него новости". Никита, оказывается, давно знает о том, что отца вывезли, говорит, что сегодня утром пошел в ГУЛаг и там узнал, что Игорь Александрович переведен в лагерь в Тайшет.

Эти неведомые слова, как из какого-то древнего заговора, вдруг входят в мою ульяновскую жизнь. Садимся обедать, Александр

Александрович доволен, что Никита так все сумел узнать и сразу позвонил – он очень любит Никиту и всегда его хвалит. Что за Гулаг? Это, наверно, не по-русски – что-нибудь калмыцкое, восточное? – Никто из нас этого слова еще не слыхал. А Тайшет? После обеда Александр Александрович тащит толстую, пухлую от времени книгу *Железнодорожный Указатель* и потирает руки: "Ну, поищем, где этот Тайшет?" Он обожает играть с указателем, ищет какие-то пересадки, новые и старые линии – жажда переездов всех русских людей из одной части громадной страны в другую и ему не чужда... Но Тайшет трудно дается, Любищев почему-то ищет его на Урале, или за Ташкентом, наконец говорит: "Что ж, надо в Сибири поискать" – и, полистав еще, находит Тайшет... Ехать туда чуть ли не трое суток, а ведь скоро-скоро мы все точно узнаем, что это за Тайшет, всего через полгода – а тогда, в ноябре 1953 г., никто не знал, хотя в то время в Тайшете было более 700.000 заключенных, и лагеря занимали громадную территорию в Красноярской Области. Как же это возможно, что никто не знал? Как это хранился секрет? Ведь у этих сотен тысяч заключенных были семьи, сослуживцы... Или тот, кто знал, от страха никогда этого слова не произносил?

Это время опять как-то путанно вспоминается; я пишу Игорю Александровичу, от него приходит ответ, я ему могу писать четыре раза в год, а от него, кажется, будет два письма... Он просит поскорее послать ему посылку с провизией; но не так-то просто найти в Ульяновске подходящие консервы или колбасу, сухари и прочее. Но мне помогают все набрать, что получше, и зашить пакет в суровое полотно. Первая посылка в Тайшет отбывает.

Вся моя жизнь нелегкой этой зимы складывается тяжело и уродливо; впрочем уроки у Кожевникова возобновляются, и Бэтти и дети очень со мной милы.

В середине декабря умирает от саркомы печени один из "реэмигрантов", приехавший на год раньше нас, Алексей Николаевич Никольский; мы знакомы с самого нашего приезда и продолжали у них бывать, но не очень часто. Алексей Николаевич корабельный инженер, был известен на Балтийском флоте, а во Франции жил годами на юге, в Ментоне, и на собственной машине возил по Франции американских туристов; жена его Евгения Николаевна не работала, занималась садом – говорит, сад был один из лучших на всем побережьи.

Очень приятный человек Никольский, видный, прямой – как сержант в строю, не лишен юмора, всегда ровный и приветливый, мы с Никитой очень его любим. Жизнь его в Ульяновске, однако, не легко складывается – но я не расспрашиваю, как и что. А теперь начинают копать Ульяновское море, и вдруг он понадобился – счастлив, что наконец при настоящем деле.

И вот внезапно, как подкошенный дуб, он валится – в несколько недель от этого исполина остается какой-то обтянутый темной кожей скелет, мучения страшные, зуд по всему телу – он с истерическими стонами расчесывает себе руки, ноги. Ужасно. Иду еще раз или два навестить его в больницу, но он, кажется, уже никого не узнает.

Алексей Николаевич умирает в то время, как я сама в больнице; в конце декабря иду к его вдове. Она уже записалась в очередь на место в старческий дом в Акшауте, это недалеко от Сызрани, в бывшем имении Поливановых, друзей Кривошеиных. Комната их стоит 300 рублей в месяц, жактовской так и не получили, и у Евгении Николаевны вопрос: как теперь целых полгода платить такие деньги? Через несколько дней иду опять к ней и предлагаю переехать на это время ко мне, только с условием выехать к друзьям на те две недели, что приедет в отпуск Никита. Она тут же с радостью соглашается, доживет этот месяц здесь, и в начале января переберется ко мне. Конечно, никакой платы я с нее не прошу, да и не приму.

Все оговорено, и я довольна, что нс буду больше совсем одна, мне вдруг это стало не под силу.

Ночь под Новый Год

Раз в Крещенский вечерок
Девушки гадали...
В. Жуковский

Прошлый Новый Год я встречала у Провальских, но в этом году благодарю и отказываюсь; во-первых, когда я шла к ним, то чуть не замерзла по дороге: я не посмотрела не градусник, выходя – оказалось, что было 37° мороза! На углу улицы Толстого и Гончаровки у меня внезапно почти отнялись ноги и я еле-еле дошла. Да и у них очень уж откровенно идут ссоры и столкновения, и Мишель Провальский с яростью обзывает жену дурой, уродом и чуть нс плюет на нее... а она при мне плачет. Они усыновили два года назад маленького чуваша, но от этого их жизнь пошла, пожалуй, еще хуже, и мальчик становится у них предметом раздора и столкновений.

Любищевы на Новый Год никогда никого не зовут; я решила, что хоть и в одиночестве, рано не лягу, устрою себе закуску – и дождусь поздравления Ворошилова по радио. Прошу моего слепого ученика Костю купить мне сто грамм столичной, покупаю какие-то анчоусы в вечном томатном соусе, немного колбасы, благо ее "выкинули" под Новый Год, сооружаю себе картофельный салат...

и красиво накрываю стол чистым полотенцем; ставлю себе тарелку, рюмку (серебряную, еще из Парижа, куплены были на знаменитом "Блошином рынке") и расставляю все в кружок не блюдечках, так, чтобы в наступающем году у меня это все было: есть тарелка с хлебом, белым и черным, с сахаром, картофельный салат, соленые рыбки, колбаса! Есть специально тарелка и для Васьки, и даже мне на десерт яблоко.

Настроение у меня неплохое, я уговариваю себя, что ведь это все же праздник, однако нервы перетянуты, мои медиумические силы опять меня захватили последнее время, и я вечно насторожена, боюсь что-то пропустить – какой-то знак, откуда – не знаю – надо слушать...

В половине двенадцатого сажусь за стол, устраиваю себе пыжик с анчоусом и... пью маленькую рюмку водки. Еще ем кусочек колбасы, несколько кусочков картошки – нет, больше уж ничего съесть мне невозможно – и я не притворяюсь больше, подумаешь, зачем этот "театр для себя"? Даю Ваське его порцию угощения, из радио льются вальсы и народные песни.

И внезапно решаю нарушить запрет, данный мной самой себе: вынимаю карты и... решаю себе погадать; полной игры класть не буду, а вот только девять карт, те, которые обычно кладутся в самом конце.

Выкинуть из колоды мелкие карты – двойку, тройку, четвертку и пятерку; остается тридцать шесть карт, как оно и полагается, как меня еще учила моя бабушка, Надежда Викторовна, когда мне было двенадцать лет... Закрываю глаза и тасую. И ложится: король треф, валет треф и... дама треф... Я потрясена – ведь это же мы, это наша семья! Ну, еще шесть карт – и вот рядом с дамой треф ложится туз пик, девятка пик и десятка пик... Нет! Нет! Дальше не надо раскладывать – и так все ясно: мы все трое в будущем году будем вместе, а вот мне, и именно мне, грозит смертельная опасность... она тут, совсем рядом со мной и, видимо, очень скоро.

Смешиваю карты, браню себя – зачем гадала? Ведь я могла бы и не знать, что меня скоро ждет что-то безмерно страшное. Живо убираю все со стола, наливаю себе чай – а вот и Ворошилов поздравляет всех, гимн и – скорее в кровать...

Долго ворочаюсь, слегка дремлю, а потом лежу с открытыми глазами – тревога у меня растет: это верно, где-нибудь мы соединимся (уж не в Тайшете ли?), а потом я сразу погибну.

Через неделю, 7-го января, ко мне переезжает Никольская, с ней большой сундук и чемодан, она устраивается на Никитиной кровати. Ей совсем недавно, во время болезни мужа, делали глазную операцию, и теперь запрещено нагибаться или подымать тяжелые вещи.

После новогодних каникул начинаю снова по утрам ходить к Кожевниковым; если только узнаю, что Игорь Александрович получил мою посылку, то в конце января опять пошлю...

Двенадцатого января утром на уроке Таня говорит мне, что две ее подруги в школе просят меня с ними заниматься английским и будут ждать после уроков у входа в школу. Чудный день, морозный, всего –15°, это теперь и для меня ничего, я как-то к морозу привыкла, а вот ночью был сильный ветер, и улицы совершенно обледенели. Почему я в этот день не взяла свою альпийскую палку? Ведь без нее зимой не хожу. Ну, верно, уж потому, что было суждено!..

Перехожу небольшую площадь совсем рядом с домом по пути в школу, на углу площади обычная картина: стоит вол, запряженный в особые сани, там бочка с керосином, и уж порядочная очередь с бидонами – возница только еще не спеша собирается начать продажу. Потом... Больше ничего нет – ни площади, ни очереди, и меня тоже нет; внезапно какая-то молния боли сотрясает меня, и я открываю глаза, надо мной голубое синее небо; я лежу на левом боку на снегу, сумка и книги выпали из рук, потом слышу стоны, сперва очень слабые, слышу говор из очереди за керосином... Нестерпимая боль в левом плече не дает мне двинуться, или хоть пошевельнуться... Не знаю, сколько это длится – хочу позвать на помощь, не получается.

Слышу, кто-то говорит в очереди: "Что это она так долго лежит?" И еще через некоторое время другой голос: "А может скорую помощь вызвать?" Но никто, никто из очереди так и не подходит на меня поглядеть – ведь не пропускать же керосин!

Я верно уж порядочно так лежу, слышу, как стону все громче... Неужели мне будет конец на льду, ведь когда-нибудь кто-нибудь да пройдет мимо меня? Вдруг надо мной появляются девичьи лица, это девочки из школы, куда я как раз шла; они бросаются ко мне, с усилием меня поднимают, подбирают сумку, книги. Видно, знают, кто я. Они ведут меня с передышками в тупичок, ведь я только вышла из дома; начинаю понемногу произносить отдельные слова: "ключи в кармане", "пойдите к Афанасьевым за два дома, там телефон, вызовите неотложку", "позовите поскорее в соседнем доме направо Екатерину Николаевну Венцер". Девочки все быстро исполняют, их милые лица меня немного утешают, однако я уж отлично понимаю, что это катастрофа, что могу остаться инвалидом, боль в плече все нестерпимее.

Прибегает Екатарина Николаевна, хочет снять с меня шубу – нет, подождем неотложку; передо мной на столе стоят часы, они у нас от отца Игоря Александровича, он их купил, когда еще не был женат... Ровно через шесть минут приезжает неотложка – быстро! Врач снимает с меня шубу, я кричу от боли – он говорит: "Плечо сломано, везти в больницу, без снимка ничего сделать нельзя".

Екатерина Николаевна едет со мной, больница далеко, почти у вокзала. Потом мы сидим в прихожей в больнице, и меня четыре раза водят на снимки, упирают сломанным плечом в ледяной мрамор, а снимки все не получаются. Наконец кто-то что-то решает, и меня ведут класть гипс. Хирург говорит сестре: "Смотрите, какой

перелом ужасный: это ведь вколоченный (?), это нелегко будет". Сестра не переставая дает мне нюхать нашатырный спирт. Наконец готово, и она говорит мне: "Что ж, поезжайте домой". Я ей объясняю, что живу одна, а сейчас со мной поселилась пожилая женщина – ей только что делали операцию глаз, и она ничего делать не может, и прошу меня госпитализировать. "Нет, – отвечает сестра, больница переполнена, свободных коек нет". Я протестую, наконец она говорит: "Знаете, если из-за каждой сломанной руки или ноги людей госпитализировать, так надо бы еще одну больницу построить".

Я ей злобно отвечаю: "Что же, это неплохо было бы, ведь эта больница еще при Александре Втором построена, а с тех пор больше и не собрались". Она ведет меня в коридор – там в шесть рядов стоят койки с больными и посередине узкий проход.

– Хотите сюда? – спрашивает она.

– Да нет, вы правы, пожалуй уж лучше дома.

Она дает мне две коробочки: в одной шесть таблеток морфия, в другой – шесть таблеток пирамидона.

– Вот, – говорит она, – принимайте аккуратно, а больше дать вам нечего.

Это – двенадцатое января; подробно описывать эту неделю?.. Да к чему, собственно? Всякий и сам может вообразить, как было; мороз лютый, почти –25°, через неделю –30°, –35° и так до конца февраля. – Кто приносит мне еду? Кто вносит дрова с улицы? – Не помню. Я почти не сплю, лечь на громадное сооружение из гипса, которое сковывает мне левую руку от кисти и дальше на спине ниже лопатки – немыслимо; лечь на правую руку – немногим легче; в неделю шесть таблеток морфия уже исчерпаны, остается пирамидон...

Двадцатого января вечером (в комнате лампа завешана каким-то красным платком, чтобы Евгении Николаевне не резало глаза) – я мотаюсь из угла в угол и курю. На улице вьюга, ветер в трубе подвывает... вдруг в сени стучат, а уж почти одиннадцать часов. Евгения Николаевна накидывает мне шубу на плечи, теплую шапку на голову, ведь в сенях холодно, как на улице.

– Кто там? – спрашиваю.

– Откройте, откройте, – голос женский.

– А что вам?

Голос отвечает: "Вам телеграмма".

Ну, нет, эти штучки мы все знаем: откроешь, а там два-три молодца и ножик в руке...

Говорю: "Если есть телеграмма, подсуньте ее под дверь, а то, кто его знает, может это и не так".

Женский голос наконец кричит: "Нина Алексеевна, да это я, Маруся, ваш почтальон, ужели и голос мой не узнаете?"

Я открываю, и впрямь это Маруся... она поражена:

– Что это с вами? Руку что ли сломали? А чего же так свет занавешиваете?

Она подает мне телеграмму, я расписываюсь и хочу ее скорей отпустить домой, она ужасно милая, Маруся, вот из-за какой-то несчастной телеграммы принуждена в такой мороз ночью ко мне бегать. Но она не уходит:

– Да вы телеграмму-то чего не читаете?

– Да не к спеху, Маруся, я ее прочту, а вы идите домой, ведь, верно, замерзли совсем?

Маруся вдруг каким-то особым голосом говорит:

– Ну, хотите, я вам ее прочту?

Как это не похоже на Марусю – она всегда со мной вежлива и деликатна... Отвечаю ей суховато:

– Да что вы думаете, мне ведь рука читать не мешает...

Однако беру у ней телеграмму и читаю вслух:

"Папа сегодня прибыл Лубянку пересмотр дела начнется немедленно завтра свидание письмо следует Никита".

Маруся кидается меня обнимать и даже плачет: "Я и завтра утром могла вам принести, да нет, решила, уж пусть Нина Алексеевна сразу узнает... Ведь я таких телеграмм не первую сегодня ношу!

Да, это все правда, вот так точно и было – случилось непостижимое...

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Париж
1977–1981

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Нина Алексеевна начала писать свои воспоминания, откликнувшись на призыв А.И. Солженицына. В 1977г. он просил всех тех, кому это посильно, записывать для использования в его художественно-историческом труде, для хранения во *"Всероссийской Мемориальной Библиотеке" (ВМБ)* и для возможного издания, все, что связано с историей России XX века.

В конце того же года Нина Алексеевна написала и отправила в *ВМБ* два отрывка – "25 октября 1917" и "Побег в декабре 1919г. из Петрограда".

По настоянию Солженицына Нина Алексеевна решила продолжить работу, в итоге написав около пятисот страниц. В *ВМБ* работа отправлялась частями, последняя бандероль была послана в июле 1981г.; к тому времени общее состояние здоровья Нины Алексеевны резко ухудшилось, и она свою работу продолжать уже не могла.

29 сентября 1981г. Нина Алексеевна скончалась в Париже на 86-ом году жизни. Она умерла в полном сознании после посещения священника, совершившего таинство соборования. Похоронена Нина Алексеевна в могиле своего отца на русском кладбище *Sainte-Geneviève-des-Bois* под Парижем.

Ее воспоминания обрываются 20-ым января 1954г., когда она в Ульяновске получает телеграмму из Москвы от сына Никиты с известием о том, что меня этапировали из Тайшетского лагеря на Лубянку для пересмотра дела; таким образом, в мемуарах не отражены последний год жизни в Ульяновске (1954), двадцать лет в Москве (1954-1974) и семь лет в Париже (1974-1981).

Попытаюсь кратко изложить, что произошло с нашей семьей за истекшие с тех пор 27 лет.

На первые годы приходится мое освобождение (после пяти лет заключения), "реабилитация" (30 июня 1954г.) и выбор новой профессии – будучи инженером, стал заниматься техническими переводами на французский язык; работа эта обеспечивала материальное существование.

Сперва долгая борьба за переезд из Ульяновска в Москву (проблема "жилплощади" и постоянной московской прописки). Все эти проблемы разрешились лишь в 1962г. Из комнаты, которую мы снимали в коммунальной квартире, мы переехали в однокомнатную кооперативную квартиру в Измайлове.

25 августа 1957г. произошел арест Никиты. Он только что окончил Институт Иностранных Языков и поступил на работу во французскую редакцию журнала *Новое Время*. Когда он прощался в саду Донского монастыря со своим другом, французским дипломатом, его арестовали. В ходе следствия КГБ выдвинуло обвинение в измене Родине и шпионаже (за публикацию в газете *Le Monde* заметки о советской интервенции в Венгрии). Дело было передано на рассмотрение (согласно пунктам обвинения) в Военный трибунал Московского военного округа. На закрытом заседании – благодаря некоторой независимости Военного трибунала от КГБ – 10 лет, потребованные "с учетом смягчающих обстоятельств" прокурором, были сведены к трехлетнему сроку в исправительно-трудовых лагерях. "Измена Родине" была переквалифицирована в антисоветскую пропаганду.

Никита отбывал срок в Мордовских лагерях. Таинственная станция "Потьма", мелькнувшая в окне поезда, когда Нина Алексеевна возвращалась в Ульяновск после свидания со мной в Бутырках, и была центром расположения этих лагерей.

В краткий период хрущевской оттепели режим в лагерях был сравнительно мягким. Я три раза ездил на "личное свидание" с Никитой. Посетителям разрешали провести с родственником двадцать четыре часа в отдельной комнате специального "гостевого" барака.

В мордовских лагерях были сосредоточены все новые политические заключенные этого периода ("дело Московских историков", первый срок Эдуарда Кузнецова и Валерия Мануйлова и др.).

Никита был освобожден весной 1960г.

Приехав в Москву в 1955г., Нина Алексеевна продолжила свои уроки иностранных языков (она не брала ни детей, ни начинающих), не столько для заработка, сколько для установления добрых отношений с культурной молодежью. Конечно, она не ограничивалась английским и французским языками – она открывала своим ученикам глаза на свободный мир, на жизнь по ту сторону железного занавеса, знакомила их с эмигрантской русской литературой; в частности давала им читать В. Набокова и многочисленные материалы Самиздата.

Мы общались с эмигрантами, вернувшимися, как и мы, из Франции; большинство из них постигла та же судьба, что и нас. Встречались и с товарищами по "шарашке" – среди них были Александр Исаевич Солженицын и Лев Зиновьевич Копелев; с солагерниками Никиты мы тоже дружили.

Особый круг друзей составляли "московские французы" — студенты, приезжавшие для совершенствования в русском языке. Среди них был Луи Мартинез, Жорж Нива и другие.

Объявились и мои родственники, которые приняли нас с осторожностью и не сразу. Возобновилось и общение Нины Алексеевны с некоторыми друзьями юности, например с семьей дирижера Сафонова. Младшая из его дочерей, Елена Васильевна, была талантливой художницей, ученицей Петрова-Водкина, иллюстратором и постановщицей. Старшая, Анна Васильевна Темерева, писала стихи. Она была гражданской женой А.В. Колчака, и после его расстрела провела, с некоторыми перерывами, 28 лет в лагерях и ссылках. Испытания не сломили ее, она сохранила гордое достоинство. Обе сестры скончались в Москве уже после нашего отъезда.

По освобождении из лагеря Никита не имел права жить в Москве; однако на переводческую работу в журнал *Новое Время* его взяли. Он прописался у знакомых в Малоярославце и якобы приезжал оттуда на работу.

На лето мы с Ниной Алексеевной снимали дачу под Москвой; особенно мы любили ту, где жили начиная с 1964 г., на Николиной Горе, на высоком берегу Москвы-реки. Мы подружились с хозяйкой этой дачи и ее другими обитателями. Снимали мы две комнаты и громадную "кривошеинскую терассу" — так называли ее друзья. Кого только мы на ней ни принимали! Много лет подряд я ездил осенью в писательский Дом Творчества "Коктебель", где еще с волошинских времен держалась совершенно особенная атмосфера. Именно там я познакомился с А.О. Кальма, В.П. Некрасовым, Б.Г. Заксом, Е.Г. Эткиндом и, конечно, дружил с А.Г. Габричевским, коренным коктебельцем, которого знал еще по Москве в 1918 г.

Ездил я также в Грузию, Среднюю Азию и на Север, в Вологду и Кирилло-Белозерский монастырь. К сожалению, все эти поездки были Нине Алексеевне не по силам. Побывать в Петербурге, где протекла вся ее юность, она категорически отказывалась.

В Москву, начиная с 1960г. к нам несколько раз приезжал мой брат, ныне Владыка Василий, архиепископ Брюссельский. До этого мы с ним не виделись более сорока лет; большую часть этого времени он провел на Афоне. Один раз приезжал и мой второй брат Кирилл (автор книги о нашем отце*), навестила нас и старшая сестра Нины Алексеевны, живущая в Нью-Йорке, а также другие мои парижские родственники.

Я много переводил (денег ради), а также, будучи консультантом при Академии Коммунального хозяйства, издал книгу по своей инженерной специальности; но в то же время полагал

---

*) К.А. Кривошеин – *А.В. Кривошеин (1857-1921). Его значение в истории России начала XX века*, Париж, 1973.

главнейшей своей задачей донести до моих соотечественников образы русских участников французского Сопротивления – Бориса Вильде, Вики Оболенской и других; а главное я хотел рассказать о Матери Марии (Скобцовой), погибшей в лагере Равенсбрюк. О них я писал статьи и делал доклады. Иногда удавалось устраивать посвященные им собрания, так что, пожалуй, эту задачу я в какой-то мере сумел выполнить.

Короткая хрущевская передышка окончилась. Режим в лагерях становился все жестче, возможность отправлять посылки резко сократилась. Помимо мордовских лагерей открылись для политических суровые пермские.

Два Никитиных солагерника – Эдуард Кузнецов и Федоров, посетившие нас как-то на "кривошеинской терассе" на Николиной горе в конце 1969 г., оказались участниками так называемого "Ленинградского самолетного дела", и Эдуард был приговорен к смертной казни. Только в самый канун 1971 г. пришла весть о замене смертного приговора пятнадцатилетним сроком. С этого момента резко участились отъезды евреев в Израиль; уезжали и многие из солагерников Никиты. Сам он ежегодно просил разрешения навестить в Париже своих родных, ему каждый раз отказывали.

В ноябре 1970 г. Никита получил очередной отказ. Два дня спустя мне позвонила из ОВИРа инспектор Акулова. Она вызвала к себе Никиту. "Зачем же? Отказ он уже получил", – сказал я. "Нет, нет, пусть непременно зайдет, я буду ждать его до семи вечера". Мне удалось связаться с Никитой. Вечером он пришел к нам из ОВИРа потрясенный и расстроенный. Акулова сказала ему, что хотя он родился в Париже и провел там детство, хотя там и живут его близкие родные, но в поездках туда ему будут всегда отказывать. Тут она сделала паузу и торжественным голосом провозгласила: "Но руководство поручило передать вам, что если вы подадите сейчас просьбу о выезде во Францию на постоянное жительство, то через две недели сможете уехать". – "Здесь у меня родители, семья, друзья..." – "Это вам наш совет и *указание*. Подумайте как следует, буду ждать вашего ответа в течение недели..."

Все обдумав с Ниной Алексеевной, мы решили, что раз наше возвращение из Франции в СССР не позволило нам обеспечить Никите счастливую юность там, и хотя его отъезд в страну, где он родился может означать для нас разлуку с ним навсегда – мы не имеем права подвергать его риску нового ареста и лишать его возможности построить свою жизнь в свободном мире.

Он должен уехать!

Не легко и не сразу Никита с нами согласился. Однако когда он подал заявление о выезде, благоприятный ответ пришел не через две недели, а... через восемь месяцев.

10 июля 1971 г. Никита простился с нами на Николиной горе.

Вскоре после отъезда Никиты я опасно заболел. Пришлось подвергнуться тяжелой операции. Выздоровление шло медленно. Только следующей осенью, почувствовав себя достаточно окрепшим, я решил попытаться посетить Никиту и брата в Париже, по их вызову. К моему удивлению разрешиние ОВИРа пришло сравнительно быстро. В конце октября я вылетел в Париж.

Никита работал синхронным переводчиком, ездил на конференции во все страны света. Эта работа шла хорошо и обеспечивала его материально.

Повидал я в Париже старых друзей и, главное, восстановил прежние связи с товарищами по Сопротивлению и депортации. Они приняли меня дружески, помогли мне утвердиться во всех моих правах и званиях. Это избавило меня от горького осадка, который оставался после высылки из Франции.

Никита и Кирилл настойчиво уговаривали меня вернуться с Ниной Алексеевной в Париж насовсем. Назрела необходимость принятия нелегкого решения...

*

Первая треть нашей жизни прошла в России и закончилась для Нины Алексеевны побегом из Петрограда, а для меня боями в рядах Белой Армии, гибелью двух старших братьев и эвакуацией из Крыма в Константинополь в 1920 г.

Вторая (27 лет) прошла удачно и счастливо в Париже. Она завершилась тем, что я стал "советским патриотом". Поверилось в возможность некоторых перемен в СССР (как и для многих эмигрантов, принявших активное участие в борьбе с гитлеризмом, это казалось совершенно логичным).

Мы с Ниной Алексеевной приняли советское гражданство. А в октябре 1947 г. я был в группе из 24 новых советских граждан выслан из Франции. Впоследствии высылка была официально признана необоснованной и отменена.

Третью (тоже 27 лет) мы прожили в Советском Союзе.

Начинать ли, так сказать, четвертую короткую "треть" нашей жизни в условиях эмиграции в Париже?

Когда в феврале 1973 г. я вернулся из Парижа в Москву, меня поразила многозначительная фраза, сказанная мне в ОВИРе майором, к которому я пришел сдавать заграничный паспорт: "Как? Вы вернулись?" – Мне стало ясно, что наш окончательный отъезд не встретит препятствий.

Почти год мы с Ниной Алексеевной обдумывали все более и более настойчивые уговоры Никиты – приехать. Когда мы наконец решились и подали заявление о выезде, то месяца через два, как раз в день высылки А.И. Солженицына, мы получили открытку с приглашением зайти за паспортами. То была полоса отъездов. Выехали

В.Е. Максимов и В.П. Некрасов, уезжали в Израиль многочисленные солагерники и друзья Никиты. Уехал и Андрей Волконский.

Мы стали готовиться к отъезду. Раздали библиотеку. Переправили через друзей семейные бумаги и единственный, оставшийся у нас от коллекции отца, любимый им портрет юноши кисти Тропинина и медальон с иконой и частицей мощей Св. Серафима Саровского, присланный Государыней моему отцу в 1918г. из Тобольска в благодарность за помощь, которую он тогда оказал царской семье.

18 апреля 1974г. мы с Ниной Алексеевной вошли на Белорусском вокзале в парижский вагон уходящего на запад экспресса.

Наша жизнь в Париже устроилась хорошо. Этому помогли многие как старые, так и новые друзья.

Мы не жалели о пройденном нами пути.

Милость Божия позволила нам пройти через все испытания, а их было немало, и не погибнуть.

Мне с Никитой посчастливилось съездить в Иерусалим поклониться Гробу Господню.

Работа над этими воспоминаниями увлекла Нину Алексеевну, заполнила и скрасила последние годы ее жизни.

И. Кривошеин
Париж 1983.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ III – СССР (1948-1974)

УЛЬЯНОВСК (1948-1954)

Imprimerie de la Manutention à Mayenne – 27 janvier 1984 – N° 8519

Серия "Наше недавнее"

Выходят из печати:

1. Н. В. Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии.
2. Н. А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни.

Готовятся к печати:

3. О. А. Хрептович-Бутенева. Из Польши в Сибирь.
4. А. В. Герасимов. На лезвии с террористами.

I.S.B.N. 2-85065-038-2